

ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ

ЗАПИСКИ

*Вестник литературоведения
и языкознания*

ВЫПУСК 27

Экзотическое и русская культура

Советские антипутеводители по Германии

Дар и сакральное

Герой и помощник в волшебном мире

ВГУ — 90 лет

2008

ИЗДАНИЕ ОСНОВАНО А.А.ХОВАНСКИМ В 1860 ГОДУ



ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ

ЗАПИСКИ

*Вестник литературоведения
и языкознания*

ВЫПУСК 27



ВОРОНЕЖ
2008

ББК 80
Ф54

Редакционная коллегия:

**А. А. Фаустов (главный редактор),
В. М. Акаткин, О. Ю. Алейников, А. Б. Ботникова,
Г. Ф. Ковалев, А. С. Крюков, А. Г. Лапотко,
О. Г. Ласунский, А. М. Ломов, Т. А. Никонова,
И. А. Стернин, С. Н. Филошкина**

Ф54 **Филологические записки. Вып. 27. — Воронеж: Воронежский университет, 2008. — 304 с.**

ISBN 5-86211-042-9

«Филологические записки» — продолжающееся научное издание, которое развивает традиции одноименного воронежского журнала (1860—1917). На страницах вестника рассматриваются актуальные проблемы истории и теории литературы, языка, литературного краеведения. Выпускается филологическим факультетом ВГУ.

Издание адресовано филологам-специалистам, учителям-словесникам, студентам, всем, кто интересуется литературой и вопросами языка.

ББК 80

ISBN 5-86211-042-9

© Составление, оформление.
Воронежский государственный
университет, 2008
© Авторы статей, 2008

СОДЕРЖАНИЕ

ЭКЗОТИЧЕСКОЕ И РУССКАЯ КУЛЬТУРА

Геллер Л. К описанию экзотизмов. Предложения	5
Фаустов А. А. Экзотическое и его семантика в русской литературе начала XX века	31
Вельмезова Е. <i>Экзотика и экзоты, экзотизмы и экзотическое</i> глазами русских лексикологов и лексикографов	44
Савинков С. В. <i>Женщина</i> как экзотический субъект и как объект экзотического переживания в русской литературе и культуре начала XX века	52

ЛИТЕРАТУРА В ДВИЖЕНИИ ЭПОХ

Пономарев Е. Р. Европейский антипутеводитель: Германия в советских травелогах первой половины 1930-х годов	66
Левин С. «Чужой» среди своих: к проблеме самоидентификации Лютова («Конармия» и конармейский дневник И. Э. Бабеля)	85
Вайнштейн О. Б. «Сладость и свет»: концепция культуры Мэтью Арнольда	104
Мельник В. И. Елизавета Гончарова и ее воспоминания («Четвертая тетрадь»)	117
Черашняя Д. И. К семантике «золотой заботы» и «двойных венков» (О. Мандельштам, «Сестры — тяжесть и нежность — одинаковы ваши приметы...»)	129

ВОПРОСЫ ТЕОРИИ

К 100-летию со дня рождения К. Леви-Стросса

Зенкин С. Н. Дар и сакральное	137
Рафаева А. В. Герой и помощник в волшебном мире	161

ЖИЗНЬ ЯЗЫКА

Чапига З. Роль девербативов с нулевым формантом в семантической организации предложения в русском и польском языках (на материале научных текстов)	180
Карасёва Т. В. Названия земноводных и пресмыкающихся в воронежских говорах	191

ИЗ МИНУВШЕГО: ВОСПОМИНАНИЯ, ПУБЛИКАЦИИ, СООБЩЕНИЯ

Из писем А. В. Дружинина. <i>Публикация и примечания</i> Н. Б. Алдоиной	202
Крюков А. С. Наставник	219

К 90-летию ВГУ: из недавнего былого

Веллас Г. Пока живу — надеюсь	240
-------------------------------------	-----

Слинько А. А. Полемиические передержки (По поводу одной статьи). <i>Предисловие и публикация М. А. Слинько</i>	246
Граф М. Владислав Анатольевич, человек полифонический. <i>Предисловие Н. М. Митраковой</i>	252
Иваньшина Е. А. Вспоминая Андрея...	256

УЧИТЕЛЮ СЛОВЕСНОСТИ

К 190-летию со дня рождения И. С. Тургенева

Тимофеева В. Г. И. С. Тургенев «в школе и дома»	261
Козюра Е. О. Жизнь на кончиках пальцев: к образу Базарова	268

АСПИРАНТСКАЯ ТРИБУНА

Кончакова Е. В. Пушкин... Моцарт... гробовщик...	275
--	-----

ФАКТЫ, СОБЫТИЯ, КНИГИ, ИМЕНА

Вахтель Л. В. По следам «отчужденного» я	280
Козюра Е. О. Поэтика грамматики	285
Тихонова О. В. Немецкая литература и немецкое сознание	287
Мегириянц Т. А. Живой голос С. Бройтмана	291
Бойков В. В. Памяти Б. М. Гофмана	296
Алейников О. Ю. Александр Солженицын. <i>In memotiam</i>	299
Наши авторы	302



ЭКЗОТИЧЕСКОЕ И РУССКАЯ КУЛЬТУРА

В последние два года филологи Воронежского университета принимали участие в разработке совместного с Лозаннским университетом проекта, посвященного феномену экзотического в русской литературе и культуре (кураторы проекта — профессора Л. Геллер и А. Фаустов). В рамках проекта 20—21 июня 2008 года во Франко-русском культурном центре в Москве состоялась конференция «Экзотизмы в российской культуре» (с участием ученых из Лозанны, Воронежа, Парижа и Москвы). Она подвела предварительные итоги исследованию этой пока еще почти неосвоенной русистикой проблемы и послужила поводом для оживленной и в целом плодотворной дискуссии между представителями различных ветвей и школ гуманитарного знания. Часть материалов, подготовленных за это время, будет напечатана параллельно на французском языке в вестнике Лозаннского университета и на русском языке в воронежских «Филологических записках». В настоящем выпуске «Филологических записок» публикация статей на русском языке начинается и будет завершена в следующем номере.

Л. Геллер

К ОПИСАНИЮ ЭКЗОТИЗМОВ. ПРЕДЛОЖЕНИЯ.

Это мир таинственной мечты,
Неги, ласк, любви и красоты.

*Шарль Бодлер
(в пер. Д. Мережковского)*

Там выглядело все, как таинственная страница
неизвестного языка, обведенная арабеском.

Александр Грин

І. Терминология экзотического

Вот уже три десятилетия, как западный мир занят отчасти спонтанным, отчасти вынужденным пересмотром истории своих отношений с окружающими его мирами. Новая тенденция нашла отклик во многих гуманитарных науках; книга Эдуарда Саида *Ориентализм* (1978), разоблачающая западные — якобы объективные — представления о Востоке, стала классикой. Постколониализм неразрывно связался с постмодернизмом и деконструкцией.

В искусство- и литературоведении его влияние оживило интерес к разным явлениям, казавшимся до сих пор периферийными; так в центре внимания очутился экзотизм.

В этом отношении русская культура может дать богатую пищу для размышлений. Независимо от постколониальной волны, в России издавна, в различных контекстах и масштабах изучались темы и мотивы «Востока», «Азии», «Севера», «дальних стран» и т.д. Однако все еще вполне не осознано, в какой мере разные *экзотизмы* участвовали в становлении русской культуры, в какой мере они продолжают участвовать в ее жизни. Насколько нам известно, в этой области обобщающих работ еще нет. Уточнить направления новых плодотворных разысканий, ввести в поле зрения новый материал и, главное, найти формулировку новым вопросам — эти задачи были поставлены в ряде наших работ¹ и в рамках воронежско-лозаннского проекта по теме *Экзотизмы в русской культуре*. Без претензий на полноту и учитывая в основном французскоязычные исследования, особо многочисленные в этой области, мы попытаемся обрисовать здесь нынешнее положение в изучении экзотизмов, с тем, чтобы уточнить методологическую и историческую перспективу, внутри которой наша проблематика обретает связность.

Начнем с выяснения отношений между *экзотикой*, *экзотическим*, *экзотизмом*. Оговоримся: здесь не будет речи ни о лингвистическом значении термина *экзотизм*², ни о переносно-разговорном употреблении, когда все пестрое и необычное приравнивается к *экзотике*³. Прежде всего, разведем по смыслу *экзотизм* и *экзотику*, вопреки некоторым словарям, усматривающим между ними синонимию⁴. Разницу раскрывает морфология. Будучи калькой с латинского или латинизированного немецкого⁵, *экзотика* именуется ряд предметов (как, например, «Россика»), окончание же *экзот-изма* придает слову абстрактно-идеологическую окраску. Французское существительное *exotisme* сочетает оба значения. Русский язык (как немецкий или польский) дает возможность ясной дифференциации.

Договоримся, что *экзотика* — это совокупность экзотических свойств некоего множества предметов и фактов. «Африканская экзотика» — те свойства явлений африканского мира, из-за которых наблюдатель воспринимает эти явления как *экзотические*. Говоря же об *экзотизме*, мы характеризуем не свойства предмета, а *отношение* к нему. Выражение «африканский экзотизм» — или африканизм — будет означать *увлечение* африканской экзотикой, способное породить вне Африки моду на расцветку тканей, новый вид романа или оплодотворить худо-

жественное течение. Так было в начале XX века, когда кубизм по-своему истолковал (и использовал) «негритянское искусство». Мы будем называть *экзотизмом* прежде всего установку творческого акта; при этом безразлично, идет ли речь о художественной вещи, философском трактате или рекламном лозунге, создается ли единичное произведение или часть цикла, жанра, течения: всех их может отмечать экзотизм. Рискнем квазитавтологию в качестве определения: акт постижения / описания / (вос)создания мира отмечен *экзотизмом*, если он *экзотизирует* свой объект, придает ему *экзотичность*, иначе говоря, приписывает ему черты *экзотического*.

В нашей группе терминов все — производные от *экзотического*. Что же в таком случае стоит за этим словом?

Согласно лексикографам, оно идет от латинского *exoticus*, основанного на греческом корне *exō* (вне) и означающего «инородный», «иностранный» (древнегреческая литература слова не знала, впервые оно замечено, кажется, у Плавта). Франсуа Рабле использует слово в его французской форме (*exoticque*), говоря о «заморских» товарах (*Четвертая книга*, 1548). По-английски слово отмечается у Бена Джонсона (*У каждого своя причуда*, 1599): тот называет магию экзотическим искусством (*exotick art*), что по смыслу кажется близким «эзотерическому», «тайному»⁶. Затем слово употребляется несистематически, и ему понадобится почти полтора столетия, чтобы получить официальное признание. Универсальный словарь английского языка Натана Бэйли (1756) фиксирует его в значении «привозной» и относит к растениям. Словарь Французской академии (1762) уточняет: «то, что не рождается в стране», и отмечает, кроме растений, «экзотические названия» (*termes exotiques*). В немецких словарях разные формы слова появляются рано, с XVII века, но нерегулярно и в основном в том же товарно-ботаническом смысле⁷. Слово есть у Даля: «Экзотический, чуже(ино)земный, из жарких стран, о растн.»

Понятие обогащается новыми смысловыми оттенками, внятными и в наши дни, примерно в конце 1850-х годов, благодаря французским поэтам и критикам — Бодлеру, Гюго, Готье, братьям Гонкурам; затем слово быстро расходуется по всей Европе, вместе с модой на экзотику. Слово *экзотизм* если и не рождается во Франции (в переписке герцога Карла Августа с Гете уже обнаружен *Exotismus*⁸), то, во всяком случае, получает право на жительство в парижских салонах начала 1860-х годов и входит в обиходную речь позже, к концу века. Гонкуры в своем дневнике говорят о *чувстве экзотизма*,

le sens de l'exotisme, причем уже придают выражению смысл «вкуса к экзотическому»⁹.

Если верить словарям, в русском языке *экзотизм* стал употребляемым словом в 1920-е годы, составив синонимическую пару с *экзотикой*. Брокгауз и Эфрон еще ничего «экзотического» не фиксируют.

Не успевает установиться мода на экзотические фантазии, как им подводит пародический итог в *Тартарене из Тараскона* (1872) Альфонс Доде. Мещанский Дон Кихот нового времени, Тартарен отлично чувствует себя в плену своих мечтаний. Его сад — коллекция экзотических растений (слово *экзотический* встречается в романе только в этом месте), его дом — коллекция оружия из далеких стран, его библиотека — собрание книг о путешествиях и об охоте на львов. Воображение Тартарена смешивает воедино индейцев сиу и туарегов, медведей гризли и абруцских бандитов, малайских пиратов и татар, негров и китайцев. В мире экзотики важна *атмосфера*, говорит нам Доде, конкретные детали полностью подчинены ей, они взаимозаменяемы.

Все то, чем насыщены были для читателей XIX столетия рассказы об открытиях, путешествиях, приключениях: тайна, ностальгия, любовь к опасности и риску, мечта об идеале и чистоте, мечта о власти и, главное, возможность безнаказанной трансгрессии (вспомним *Сердце тьмы* Конрада), — все это впитало в себя *экзотическое*.

К слову и производным от него постепенно примешиваются переносные значения загадочного, причудливого, эксцентрического, завлекательного и даже (в американском употреблении) гламурного. В отдельных сферах западной жизни экзотика стала синонимична *эротике*. Это касается, в первую очередь, кабаре и прочих увеселительных спектаклей, особенно «экзотических танцев», но фантазм свободно-беспечной, «природной» любви неизменно сопровождает представления об экзотическом.

Итак, несмотря на солидный возраст слова в его исходной форме, значение его долго оставалось очень узким, почти специальным. Богатство смысловых ассоциаций и нюансов приходит к нему лишь в XIX веке. Тогда утверждается обратная связь (экзотическое распознается благодаря «чувству экзотизма»), последнее растет в меру открывания экзотического), — и эта связь начинает действовать с полной силой в особом семантическом поле, образовавшемся в эпоху модернизма.

II. История экзотизмов

Тем не менее, многие специалисты считают, что многообразное явление, на которое термин указывает вот уже полтора столетия, известно с древних времен. Бывает, что история экзотизма ведется с античности: Цветан Тодоров называет первым «экзотистом» Гомера¹⁰. Порой возникает впечатление, что всякий отчет о путешествиях или о далеких странах может рассматриваться как проявление экзотизма.

В принципе, античность не должна была знать экзотизма в современном смысле хотя бы потому, что греки и римляне свою цивилизацию ставили настолько высоко, что все другие, варварские народы и земли вряд ли сильно их привлекали. Но ведь именно влечение к Иному, желание бежать из своего мира составляет суть «чувства экзотического».

Однако другой важный аспект экзотизма хорошо знаком античной культуре. Присутствие Иного в ней ощущается постоянно. Этот аспект унифицирован (все Иные — варвары), но и разнообразен: близкий, средиземноморский — египтяне, финикийцы; и менее близкий — персы, скифы; далекий — например, индусы; и еще более далекий — гиперборейцы или те невиданные народы, которые открыл Александр, или те, что описал Плиний Старший (безглавцы с лицами на груди, песьеглавцы и т.д.). Греки и римляне очень интересовались чудесами, тем, что в природе и мире достойно удивления (*thaumata, mirabilia*). Мифы, легенды, опыт путешествий, войн, торговли, интеллектуальные экстраполяции — все учило: существуют удивительные страны, народы, формы жизни, и они достойны описания. Иногда стоит даже перенимать чужие верования, учения, умения. Этот принцип останется. Жанровые каноны и топика путешествий и встреч с чудесным продуктивно просуществуют до наших дней. Готические драконы позаимствуют свой облик от китайских. Образцом пластического и поэтического орнамента на века станет арабеска¹¹. И когда начнется эпоха великих открытий, и позже, когда будет разыгрываться колониальная драма, а рядом с ней пойдет эпопея завоевания мира с ее тропическими, полярными, подводными, космическими эпизодами, ткань репрезентаций сохранит следы древней основы, контраста между влечением и отталкиванием, любопытством и страхом, тенденцией к унификации Иного и искушением его многоликостью.

Но не забудем: экзотизм не свойство, а отношение, и зависит от многих условий — в первую очередь от его интенциональности.

Можно ли назвать экзотическими путешествия Лукиана или Гулливера? У них другая функция — сатирическая, моральная, наконец, пародическая; игровая интенция преобладают в них над задачей открытия невиданного. Вместе с тем, эти произведения, во-первых, используют контекст интереса к Иному, а во-вторых, могут способствовать (и способствуют) разжиганию этого интереса, даже если это не их доминантная функция.

Возьмем пример. Один из крупнейших французских античников, Пьер Видаль-Наке, исследовал миф об Атлантиде, рассказанный Платоном¹². Платон, говорит Видаль-Наке, описывал отнюдь не Атлантиду, его намерением было дать аллегорию упадка Афин. В рамки повествования об Ином он построил умозрительную экстраполяцию Своего. Казалось бы, говорить об экзотизме не приходится. Но мифу суждено было прожить вплоть до наших дней и в своем качестве мифа, и в качестве шаблона для описания Иных, экзотических миров.

Два ключевых для истории экзотизма момента — открытие Америки и век Просвещения и кругосветных плаваний — потрясли европейскую культуру, но ни та, ни другая эпоха не связала своего отношения к открытым мирам с тогда уже известным словом *экзотическое*. Франсуа Артог расследовал эти моменты с точки зрения дискуссий, которые вызвало появление перед пораженной Европой «дикарей» — американских индейцев, полинезийцев, африканцев. Принадлежат ли дикари к потомству Адама, т.е. к человечеству, или к миру животных? не представляют ли они собой «детства человечества», продолжая жить так, как жили европейцы в древние времена? не являются ли они лучшей, избежавшей разложения частью человечества, а значит, и образцом для человека будущего? — эти вопросы были предметом горячих дискуссий. Вокруг них определялись позиции в споре «Древних» и «Новых», который длился века и формировал многое в европейской мысли¹³. Вокруг них родились в XVIII веке концепции «человека природы», «благородного дикаря», родилось понимание времени по аналогии с пространством. Участники спора положили фундамент под развитие экзотизма в следующем столетии. Но Энциклопедия Дидро и Даламбера относит слово *экзотическое* только лишь к терминологии садоводства.

III. Теория экзотического: модернизм

Первым, по-видимому, обратил внимание на экзотизм в искусстве и литературе философ Жан-Мари Гюйо в книге, имевшей большой успех, *Искусство с точки зрения социологии* (1887)¹⁴. В то время, к концу века, во Франции, где уход ре-

ализма со сцены сопровождался жестокой борьбой, остро ощущался художественный кризис, средством преодоления которого казался, и в большой мере действительно стал экзотизм¹⁵.

Гюйо видит в картинах Делакруа, в рассказах о далеких странах, начиная с Бернардена де Сен-Пьера, автора *Поля и Виргинии*, и кончая Пьером Лоти, одновременно и способ спастись от пошлости (*trivialité*) повседневной жизни — социальная функция экзотизма, и способ поэтизации мира — эстетическая его функция. Гюйо считает главной чертой экзотического *живописности* (*pittoresque*), позволяющую целиком обновить видение вещей. В начале XX века от взглядов Гюйо отталкивается ряд литературоведов, превращающих экзотизм в тему академических исследований; они подчеркивают эстетическое значение увлечения экзотикой¹⁶. В частности, сочетание ониричности в восприятии неизвестного, чужого, и умения точно его уловить и закрепить в красочных, наглядных деталях составляют специфику экзотического письма. Это объясняет значение последнего для искусства, обновляющего традиции реализма, и дает залог его современности.

В разгар авангардистской эпохи влиятельный критик Жак Ривьер призвал отказаться от статических описаний быта и внутренних переживаний и оживить литературу приключенческой динамикой (*Роман приключений*, 1913)¹⁷. Ривьер, один из популяризаторов Фрейда во Франции, не отрицает психологию, он предлагает воспринимать события духа и ума как приключения, и повествовать о них соответственно — находя экзотику в самом себе.

Наконец, с 1904 по 1918 год поэт и путешественник Виктор Сегален, нашедший на Таити и спасший после смерти Гогена несколько его знаменитых полотен, автор статей о Гогене и «таитянского» романа *Незапамятные* (1907), составляет заметки к широко задуманному *Эссе об экзотизме*¹⁸. Заметки будут собраны и опубликованы только в 1978 году (в одно время с выходом из печати книги Саида) и обратят всеобщее внимание на тему. Мнения Сегалена были известны при его жизни, после публикации они повлияют на все французские концепции экзотизма последней четверти века. Книга замечательна по четкости и остроте формулировок. В ней предсказан, между прочим, глобальный туризм, несущий неизбежную смерть всякой экзотике. Различая точки зрения наблюдателей иных миров, Сегален противопоставляет друг другу *туриста-потребителя экзотических продуктов, фольклориста*, который изучает, силится понять и объяснить экзотическое, и путешественника-«экзота»¹⁹. Экзот, собиратель *разнообразия*

(diversité), относится бережно к экзотическому, признает за ним неповторимость субъекта, избегает сводить к понятности и общедоступности. Сегален как бы предваряет мысль философа Эмманюэля Левинаса: «если все в Другом можно вывести путем дедукции, тогда Другого не существует»²⁰.

Так на почве французского модернизма, под пером ряда авторов, практиков и теоретиков, оформляются взгляды на экзотическое. Из них можно вывести вполне связную базовую теорию экзотизма в искусстве. В целом она не потеряла своей силы и сегодня. Например, когда Цветан Тодоров упоминает о «философии разнообразия» в подзаголовке своей книги о *Нас и иных* (1989), он отсылает к Сегалену, а когда в другой книге объявляет начало новой эпохи всеобщего диалога, он явно констатирует Бахтина с Сегаленом: «открывается... новая экзотопия (говоря по-бахтински)²¹, утверждение внешнего бытия иного, и одновременно его признание в качестве субъекта»²².

Сделаем в нескольких пунктах примерную реконструкцию теории.

1°. Увлечение экзотикой есть явление социального эскапизма, в новое время — это побег от бодлеровского сплина, от монотонии и машинальности буржуазного / городского быта. Несколько позже, в 1920 году, немецкий теоретик, говоря об «экзотизме чувств», опишет вкус к экзотическому как психофизиологическую необходимость (согласно закону Вебера-Фехнера) все более острых впечатлений в условиях современной «скуки»²³.

2°. В то же время поиск экзотического можно назвать эстетическим активизмом, это — борьба против стереотипного видения вещей, обновление мира путем его поэтизации. В этом плане экзотизация есть одно из мощных средств художественного *остранения* (мысль об аналогии с понятием из словаря русских формалистов принадлежит нам; она не высказывалась ни авторами, о которых идет речь, ни современными критиками экзотического, — но нам кажется, что сопоставление не искажает концепции Гюйо и не лишено смысла в качестве приглашения к дискуссии).

3°. Экзотическое остранение в борьбе против быта может быть обращено на самый этот быт, на привычные вещи, превращая их в нечто невиданное, живописное, монументальное: такова была программа орнаментальной прозы 1920-х годов, наиболее ярко осуществленная, пожалуй, в рассказах Исаака Бабеля. Тут мы экстраполируем Гюйо с помощью слов его современника Мопассана (их приводит французский специалист по экзотизму Жан-Марк Мура), о том, что неизвестное и необычное способно открыться в любой повседневной детали²⁴.

Аналогичному превращению подвержен и сам субъект экзотической проекции; например, *Котик Летаев* Андрея Белого прекрасно толкуется в ключе экзотизации собственного внутреннего мира.

4°. Экзотическое не существует вне восприятия его наблюдателем; причем оно зависит не только от его аффективного состояния, от его восприимчивости и чувствительности, но и от культурных привычек и рассудочных схем, настраивающих его на восприятие нового. Американские индейцы, например, были восприняты европейцами не сами по себе, а как живые схемы, служащие подтверждению или отрицанию уже существующих теорий²⁵.

5°. И наоборот (этот тезис Сегалена — основа его этики — стал одним из главных положений сегодняшней этнологии): появление наблюдателя само по себе меняет экзотический мир, который сначала перестраивается для приема пришельца, а потом долго, если не всегда, хранит следы посещения.

6°. Годоров говорит о внутреннем парадоксе экзотизма: экзотику хвалят, не стараясь узнать; однако похвала требует предварительной оценки, нельзя оценивать, не зная²⁶. Парадокс не кажется неразрешимым. Будучи проекцией, экзотизация есть игра, она направлена как на показ, так и на сокрытие своего предмета (постмодернистская практика видеопроекции на бытовые постройки — хорошая тому иллюстрация). В этой игре, смысл которой состоит — для экзота, конечно, не для туриста или фольклориста — в предохранении инаковости, в сохранении тайны, заключена и этика экзотизма, то, что сегодня можно было бы назвать «экологией разнообразия».

7°. Экзотизация подчеркивает разнообразие мира, необычность, новизну, уникальность его частей, но — еще один (или тот же?) парадокс — появление экзотического расшатывает прочность мира, заставляет сомневаться в его реальности, приводит наблюдателя в состояние, близкое к гипнотическому, наркотическому, онирическому. «От платья и фигуры ее веяло разрушением действительности», — напишет об одной из своих героинь главный российский экзот Александр Грин.

8°. Экзотика появляется в географическом пространстве и поначалу ассоциируется с далекими странами; по мере обживания планеты открываются другие ее измерения, временные: прошлое и будущее. Об этом говорил Сегален, думая об историческом романе особого типа и о научной фантастике. Образец экзотизации прошлого весь модернизм видел в *Саламбо* (1862) Флобера.

9°. Экзотическое в литературе выросло из традиции романа путешествий и вместе с тем, с одной стороны — из древней традиции буколки и утопии (Дидро, Бернарден де Сен-Пьер, Руссо доказывают эту связь), а с другой стороны — из традиции сказки, феерии, фантастики. Не случайно страсть к экзотике возродилась в Европе с переводом *Сказок 1001 ночи* Галлана (1703), не случайно одним из первых готических романов стала восточная история Бедфорда *Ватек* (1789).

10°. Независимо от того, в какой области искусства и на каком материале реализуется эстетика экзотизма, самыми общими ее векторами можно считать *орнаментализацию* (живописность) и *нарративизацию* («приключенческую» и онирическую сюжетность), воздействующие в первую очередь на чувственное и интуитивное восприятие. Добавим сюда *аллегоризацию*, которая подключает к экзотике богатые смысловые ряды.

Основное достоинство концепции, которую мы резюмировали (по-своему), состоит в том, что, не уменьшая социальных, идеологических и других потенциалов экзотизма, она придает ему статус эстетической категории. Эту теорию стоило бы дополнить мнениями писателей из других культурных ареалов, например, представителей англо-американской литературы, проникнутой экзотизмом не меньше, если не больше, чем французская, надо бы дать голос немецким романтикам (Новалис отождествлял Атлантиду со страной поэзии²⁷). Но ограничим охват, тем более, что некоторые критики, ссылаясь на Монтеня, Монтескье, Дидро, Флобера, Лоти, Сегалена, называют экзотизм и его теорию французским изобретением²⁸.

Подчеркнем (кое-какие намеки уже сделаны), что вся эта проблематика предельно актуальна для русской культуры. При составлении очередной карты русского модернизма придется найти место для параллели между французской теорией экзотизма и идеями некоторых символистов, формалистов, Серапионовых братьев, а может быть, и для диалога между ними. В России хорошо знали Гюйо²⁹ и дискуссию вокруг Гогена, вызванную выходом в свет *Ноа-Ноа* (1901)³⁰, должны были знать и французскую литературу о романах приключений и экзотике. Но и вне прямого диалога аналогии поразительны.

IV. Теория экзотического: постмодернизм

Модернизм был эпохой повального увлечения экзотикой. Один из отцов постмодернизма Клод Леви-Стросс выражал к ней презрение. Собственные впечатления о жизни в Бразилии он назвал «шлаком памяти», подлежащим уборке. «Я ненавижу путешествия и открывателей» — этими словами начинаются

знаменитые *Грустные тропики* (1955). Леви-Стросс обвиняет поставщиков и потребителей экзотики в пристрастии к внешним эффектам и отсутствию интереса к тому главному, чем организуются иные миры. Должно быть, с этого момента начинается переоценка экзотизма. Скоро Ролан Барт объявит его в *Мифологиях* (1957) буржуазным мифом, вредным своим разоружающим воздействием, а заодно и попрекнет отсутствием фантазии³¹. Затем вместе с экзотизмом критика дезавуирует весь гуманизм XIX века, который Леви-Стросс назвал «экзотическим гуманизмом»³², — за европоцентризм, поддакивание европейскому колониализму, участие в распространении расизма³³.

Упрек политически корректен, но не вполне убедителен. Зависимость западных форм экзотизма от идеологии и практики колониализма настолько самоочевидна, что как будто уже не требует углубленного анализа. Нелепо отрицать такую зависимость; экзотика призывными красками отмечала направления колонизаторской экспансии, нет ничего легче, чем обнаружить расистские клише в колониальном романе.

Всякое литературное произведение, пишет Жан-Марк Мура, обусловлено тремя источниками: психологическим (внутренний мир автора), формальным (художественный контекст) и историческим (связь с культурно-политическим контекстом). Соответственно, *экзотическое произведение*, т.е. произведение, в котором показан мир экзотики, это «продукт авторского сознания, погруженного в мечту об иноземном <...> литературная форма, выражающая свойственное эпохе чувство экзотического <...> более или менее явный знак истории европейского колониализма»³⁴.

Иначе говоря, связь с культурно-политической историей исчерпывается отсылкой к колониализму. Но на понимание экзотики, на формирование экзотизма воздействовали и другие факторы (об этом — дальше). Да и сама колонизация, извечное дело человечества, оставившего кочевую жизнь, не сводится к европейскому колониализму. С последним же, кроме всего другого, сопряжен и проект, в новое время зарядивший особой энергией европейскую цивилизацию, — приведение в порядок мирового хаоса, завоевание природы, — процесс, который во многом развивается согласно своей собственной динамике.

Любопытная проблема: некоторые критики утверждают, что экзотизм — европейское построение, и не имеет аналогов в других культурах. Марко Поло произвел революцию в Европе, но был забыт в Китае; «японская вишня цветет в западных литературах, но в японской литературе нет альпийских елей»³⁵.

Нам кажется, что такие утверждения основаны на неверных посылах, в том числе на ложной пресуппозиции паритета и симультанной взаимности в контактах между культурами.

За нехваткой времени и языковых компетенций мы не сумели собрать показательный корпус примеров и анализов не-европейского «вкуса к экзотическому». Тем не менее, сквозь маленькую щелку мы смогли убедиться в существовании материка, который еще предстоит изучить. В 1988 году на острове Реюньон был организован симпозиум по экзотизму; на нем заходила речь об «экзотизме наоборот», об экзотическом образе Европы, увиденной глазами африканцев³⁶. В ответ на ориентализм, созданный Западом, «свой» ориентализм вырабатывается в арабских странах, где после победы над Россией в 1905 году Япония получает статус образца идеального восточного государства и страны, полной удивительных, экзотических реалий³⁷. Отдельные известные нам детали из современной японской литературы также говорят о возможности параллелей. Роман Ясуси Иноуэ о Чингиз-хане (*Синий волк*, 1960), например, помещает героя в мир несомненно экзотических мифов, нравов и пейзажей; его чтение заставляет вспомнить романы Владимира Яна о монгольских завоеваниях: думается, было бы интересно их сопоставить. Другой роман Иноуэ (*Сны о России*, 1968) — рассказ о японских моряках, попавших в Россию в XVIII веке, — по атмосфере похож на записки о жизни в японском плену капитана Головнина и на многочисленные их пересказы. В популярных романах Харуки Мураками появляется иногда Америка в роли экзотической далекой страны чудес. И постоянный успех в Японии европейских литератур — русской, французской, английской — и европейской музыки, особенно классической, трудно объяснить иначе, как особым «экзотизмом чувств». Короче: не будем пока принимать слишком буквально заявления о том, что во всех культурах, кроме европейской, отсутствует явление, аналогичное экзотизму.

Это важный вопрос для исследователей русской культуры. Известные нам «постколониальные» работы о русской и советской литературах³⁸ анализируют русский взгляд на экзотические объекты и, конечно, находят в нем отражение имперской воли к власти. Вопрос о том, как видели «старшего брата» другие члены «семьи народов», насколько мы знаем, пока не ставился в терминах экзотизма.

Мариэтта Чудакова недавно подчеркнула³⁹, что отношение к буржуазному понятию экзотики после революции было отрицательным. Слова популярной песни сталинских времен «Ле-

тят перелетные птицы» подтверждают: «А я остаюсь с тобою, родная навеки страна, Не нужен мне берег турецкий и Африка мне не нужна». Вместе с тем, уже в 1920-е годы возникли советские варианты экзотизма — орнаментальные вещи Пильняка и Вс. Иванова, стилизации Лунца и Леонова, фантастика Грина и фактография Третьякова и Павленко, даже имитации Киплинга, такие, как повести Хаджи-Мурата Мугуева (*Огненная лапа*, 1929)⁴⁰. Появилась производственная экзотика; ее канонический образец, роман Бруно Ясенского *Человек меняет кожу* (1933), — это, пожалуй, самая настоящая «колониальная литература». Появился, хотя, конечно, долго не выходил в свет даже «анти-канон» советского экзотизма — *Джан* (1936) Андрея Платонова.

В то время рамки социалистического реализма и иерархические отношения между Москвой и союзными республиками давали прекрасные возможности для использования экзотических стереотипов для показа «национальных меньшинств» и республик. Это известно, хотя исследовано не очень подробно. Менее известно обратное: не найдется ли среди настолько же шаблонных описаний России в произведениях республиканских писателей проявлений «экзотизма наоборот»? Перед «экзотологией» открываются новые задачи.

Еще одна проблема нуждается в уточнении. Всякий раз, когда говорится об экзотизме, разговор заходит и об «Ином», «Инаковом».

Мы признаем, конечно, вслед за Саидом, Фуко и их единомышленниками, что экзотизм и экзотика, репрезентация Иного как действие и как результат действия, суть не объективная данность, а конструкция. Призвание этой конструкции — укреплять символическое тождество социального / культурного субъекта; но она охотно используется для достижения практических целей, идеологических, политических, психологических и проч. Сомнения возникают, когда такой «конструктивизм» признает в экзотическом и вообще в Ином только материал или инстанцию, нужную для построения Себя. Признание *инаковости* (так чаще всего переводится французское *altérité*) только для утверждения *самости* вопреки декларациям инструментализует и, в итоге, отменяет Иное как независимую от нас сущность, причем явно или неявно постулируется полная фантазмагоричность, иллюзорность экзотического. Именно это происходит в одной из книг Юлии Кристевой, где с благословения Фрейда осуществляется полная интериоризация и Чужого (*étranger*), и Иного («Иной — это мое собственное подсознание», «Чужой живет в нас»⁴¹) — они исчезают из внешнего мира.

Кроме того, сведение экзотического к Другому сильно упрощает вопрос репрезентации, представления Иного.

Поясним нашу мысль. Франсуа Артог в знаменитой книге *Зеркало Геродота* проанализировал риторику Другости (*altérité*), которой пользуется Геродот для описания скифов⁴². Он утверждает, что греки представляли себе других — не-греков, т.е. варваров — по аналогии, производя инверсию собственных черт, и не выходили из этой аналогической оппозиции. Когда у Геродота греки воюют со скифами, разделение «свои» / «другие» очевидно, но когда идет рассказ о борьбе скифов и персов, последние остаются варварами, скифы же играют роль как бы греков, с такими атрибутами этой роли, как военная тактика и даже вооружение; в повествование таким образом вкрадываются несвязности, которые нельзя понять, не принимая в расчет механизмов инверсии и субституции. Нам кажется, что такой бинарный механизм репрезентации слишком прост для экзотизма нового времени, ему лучше подойдут взгляды старых французских теоретиков. Нам близка позиция Сегалена с его вниманием к иному-*Autre*, к *разному-Divers*, наконец, к *чужому-Etranger*, не поддающемуся редукции в понятность. И эти значения должны чувствоваться в *экзотическом*.

Мы считаем, что при определении не обязательно ограничивать полисемию слова, стремиться превратить его в научный, сугубо однозначный термин. Достаточно уточнять, различая варианты употребления: обиходный, нестрогий, строгий; и в последнем случае надо обязательно сохранять в значении слова элементы *разности-чужести*.

У. Классификация экзотизмов

До сих пор мы не касались вопроса о классификации. Попробуем к нему путем рассмотрения словарных определений. Отжав их, мы получаем, не претендуя на полноту, некий набор понятий, порождающих семантическое поле экзотического. Кратко обсудим их, развивая импликации, которые подтверждаются известными нам художественными фактами и уже знакомой теорией.

(а) *расстояние*: «заморскость», оппозиция *здесь* / *близко* — *там* / *далеко* задает слову его исходное значение (сюда надо добавить и временное измерение: *сейчас* — *давно* / *далеко впереди*); особую семантическую нагрузку при этом получает передвижение, путешествия — главный способ контакта с экзотикой; дополнительную, но важную роль несет при этом тип *маршрута* — прямого, кругового, запутанного, обратного или только в одну сторону, и т.д.;

(б) *отсутствие*, несуществование здесь, и потенциальное бытие чего-то где-то «там»; говорят, что экзотическая литература — это «запись отсутствия»⁴³; она похожа и на «запись редкости» — и то и другое восполняется воображением;

(в) *чуждость* как несовместимость со Своим или как *неестественность*: здесь срабатывают представления о природном и искусственном, естественном и нормальном, нормальном и странном (если мы думаем, что наш мир потерял связь с природой, то наделим качеством «природности» экзотический мир, но мы можем и город уравнивать с природой: так, говорят о «джунглях большого города» или, как Леонид Андреев, о городе-звере);

(г) *необычайность*: ощущение необычайного, невиданного основано на незнании, на незнании «нездешнего», что, в свою очередь, предполагает узнавание и *знание* Своего; «сравнительная» познавательная динамика, направленная и от себя, и к себе, имеет решающее значение в охоте за экзотическим;

(д) *овнешнение* Иного при встрече с ним и, в связи с этим, внешняя и подвижная *позиция* наблюдателя; тут при осмыслении экзотического находят для себя почву релятивизм, субъективизм, конструктивизм.

(Замечание в скобках по поводу последнего пункта. Вывод вонне качеств Иного иногда трактуется как намеренно уничтожительный: «человек западной культуры определяет экзотику как обращение к запахам, вкусам и вообще чувствам, таким образом исключая ее из области мысли, которую он признает приоритетной»⁴⁴. Действительно, не принято называть *экзотическими* идеи, философские системы, научные направления, хотя общеизвестны и восточные учения, и индийская грамматика, и китайская медицина. Нам здесь видится не столько стремление возвысить Свое, сколько стереотип практического восприятия и одновременно посылка о локальности экзотики по контрасту с универсальностью мысли; следствие такой посылки похоже на девальвацию того, что получает этнический, региональный, общинный ярлык, но механизм действует не тот. Повернем вопрос еще иначе: овнешнение экзотического покажется более интересным, если его увидеть как возвращение толкования мира в эпические рамки или как своеобразную архаизацию мира экзотики на манер доплатоновской античности, не знавшей глубины сокровенного⁴⁵.)

Названные рабочие понятия и смысловые механизмы не исключают, а дополняют друг друга; они работают вместе. В зависимости от преобладания того или другого выделяются

разные типы экзотического, взаимодействуя по принципу обратной связи с тематико-жанровыми конвенциями.

Основой одной классификации может стать *география*, или топография отдаления и уединения, свойства климата и пейзажа, и т.д. (пункт *а* нашего списка). С присущей ему интуицией Даль отметил, что экзотичны прежде всего жаркие страны, и тропическая экзотика долго будет преобладать над полярной, а в «коллективном воображаемом» завоевание Арктики оформится иначе, хотя не менее живописно, чем исследование Африки. К этой таксономической серии подключается и дифференциация по оси *времени*, истории.

Оценочная шкала (пункты *б* и *в*), где полюс положительно занято природой, то артефактом, то простотой, то роскошью и богатством, то рассудочностью, то, наоборот, страстностью, позволяет выстроить особую классификацию.

Другие типологические серии дает *восприятие* экзотики, его разные эпистемологические аспекты. Это, во-первых, *фильтры восприятия* (пункт *б*), более или менее расцвеченные воображением, бросающие на экзотический объект более или менее фантастический свет (авторитетный *Вокабулярный эстетике* Этьена Сурьо делит экзотизм на две категории, в одной решающую роль играет фантазия, во второй реалистичность наблюдений⁴⁶). Во-вторых, это *модус проекции* (пункт *г*), ее мировоззренческая конвенция — интеллектуализм (таков просвещенческий экзотизм), сенсуализм, критицизм, утопизм.

Особо важна *топология* восприятия (пункт *д*), позиция и форма взгляда наблюдателя, которые зависят от устройства пространства наблюдения, от возможного направления взгляда и проекции. Скиф Анахарсис, побывавший в Афинах, после возвращения на родину был убит при попытке ввести там нравы «цивилизованного» мира. Его историю рассказал Геродот, а в XVIII веке аббат Бартеlemi, которого читал «русский путешественник» по Европе Карамзин, сравнивавший себя с Анахарсисом. *Обратная экзотизация* своего мира служит его критическому анализу в *Персидских письмах* Монтескье. Есть много форм инверсии экзотического. Мы наметили на *автобио-экзотизацию* Белого; в «Скифах» Блока прочитывается опыт *культурной авто-экзотизации* или даже *авто-варваризации*. Конструкция экзотического Себя адресована Иному, построенному как наблюдатель и как центральная, «нормализующая» инстанция. Авто-экзотизация позволяет перераспределять оценочные акценты: увидев Америку, Есенин именуется — за отсталость — отечественного мужика «бедным русским Гайаватой». Александр Эткинд обратил внимание на явление «внутренней

колонизации» и на то, что в XIX веке исследования русской жизни делались по образцу экспедиций в экзотические края⁴⁷. Верное наблюдение, но явление не специфично для России; то же самое происходило и в других странах. Регионально окрашенная периферия до сих пор слегка экзотична, например, во Франции; не только этнографическое описание, но и явную экзотизацию Бретани еще в 1975 году давал *Конь доблести* Пьера-Жака Элиаса.

Говорят, что пространство советской культуры «едино и единственно»⁴⁸; мы не отрицаем этого, но добавляем: оно устроено анизотропно, неодинаково в разные стороны. В нем особо распределена экзотика, и обратная экзотизация работает иначе. В своих американских текстах Маяковский разоблачает экзотику бизнеса и технологии, рекламируя перед американцами, но в адрес советского читателя недостижимую для них празднично-влекущую необычность, «экзотичность» советской системы.

Наконец, восприятие можно трактовать с *институциональной* точки зрения (пункт *в* нашего перечня) — как социальный, политический, эстетический канон. Словарь АН СССР (1984) дает такую цитату для иллюстрации слова *экзотика*: «*Ах, ах, ширазские соловьи и розы Хорассана! — (он) издевался над казенной экзотикой. Он любил на Востоке иное: рыжие пески, цветение хлопка, почтовых верблюдов.* [Паустовский, *Кара-Бугаз*]. «Казенной экзотике» персидских стихов Есенина (намек очевиден) Паустовский противопоставляет «производственный» взгляд, имея в виду, надо думать, трафаретность есенинского орнамента, близость его, наподобие многих продуктов экзотической моды, к *китчу*, как о том писали уже и Доде, и Сегален. Так или иначе, думается, что разграничение личных и казенных, неконформистских и официальных форм экзотизма сулит плодотворный анализ. У «государственного экзотизма» есть своя история. Так, в 1550 году к приезду короля Генриха II во французском городе Руане был устроен «бразильский праздник», с привезенными заморскими атрибутами и животными, с участием индейцев и переодетых индейцами нормандских моряков: Франция готовилась активно участвовать в колонизации Бразилии⁴⁹. Эта государственная история начинается, наверное, с триумфов римских полководцев, и в нее вписываются как екатерининско-николаевские праздники по случаю присоединения различных новых земель, начиная с Крыма, так и советские торжества, подобные открытию Турксиба: этот экзотизм сублимировал в кино Дзига Вертов и пародировали в *Золотом теленке* (1931) Ильф и Петров.

Остановимся на этом: в наши намерения входит не составление черновой классификации экзотизмов, а выделение проблем и подборка критериев для будущей работы.

VI. Спутники экзотизма

У экзотизма есть спутники и серьезные конкуренты. Не говорить о них означало бы вырвать его из живой системы смыслообращения.

Ориентализм. — Это, конечно, первый конкурент, емкое укоренившееся понятие, выражающее многие из черт, связанных с экзотизмом. Термин родился поздно, в 1820-е годы, для (иронического) обозначения тогда уже старой теории восточного происхождения европейской культуры и языков, затем стал названием, с одной стороны, комплекса наук, исследующих Восток, с другой — течений в искусствах, занятых восточной тематикой и стилистикой. Несмотря на позднее появление термина, ориентализм как концептуальная установка (основанная, по определению Саида, на толковании истории через оппозицию Восток — Запад) существует давно; он как бы первичнее экзотизма и дает исходную модель построения экзотических объектов. Не случайно именно ориентализм служит первой мишенью акции по разложению и компрометации европейского понимания экзотизма.

Если принимать слишком буквально утверждения Саида, ориентализм как принцип был придуман учеными XIX века для оправдания европейского колонизаторского насилия. Отвлечемся от древности оппозиции Восток — Запад как всеобщего инструмента организации мирового пространства, от того, что в арабском мире тоже есть свой Запад, Магриб, и свой Восток, Машрик.

Но не будем терять из виду того, что с какого-то момента жизнь Европы проходит между двумя Востоками: продолжается давление старого Востока, Востока Ксеркса, сарацин, турок, начинается всеобъемлющее влияние Востока Христа, Библии, Иерусалима.

В принципе, для строго христианского миропонимания не менее, чем для античного, противопоставлен экзотизм в современном смысле. И все же трудно не почувствовать экзотики в полных красоты и чудес хождениях, повествованиях о паломничествах по святым местам. С интереса к миру Библии, к Египту, Абиссинии, Палестине начинался научный ориентализм. Штудии Священного писания вели Гильома Постеля в XVI веке, Афанасия Кирхера и Иова Лудольфа в XVII к изучению восточных древностей и древнееврейского, египетско-

го, коптского языков — в поисках свидетельств библейской и евангельской истории. И когда Фридрих Теодор Фишер, подводя итоги опыту романтизма и Гегеля, говорит в своем трактате по эстетике (1836) об *ориентальной* поэтике, он еще имеет в виду поэтический стиль Библии⁵⁰.

Геродотовская и библейская линии веками развивались и скреплялись. С ними сплетались линии Азии, Индии, Дальнего Востока. Накапливалась сокровищница репрезентаций Востока, — она питает современное европейское чувство экзотического. Разговор об экзотизме, кроме связей с колониализмом, обязан учитывать этот багаж, его реализации, его функции.

Особенно это относится к русской культуре, которую ориентализм, византийский и татарский, не просто сопровождает с самого ее начала, но для которой составляет нечто вроде первичной матрицы. От хождения Даниила и списков *Александрии* до Екатерины с ее «греческим проектом», до Уварова, мечтавшего о том, что изучение восточных языков поможет освободиться от «европейской заразы», до Николая II и Бадмаева с паназиятской идеей, до скифов, до евразийцев, до сегодняшних новых евразийцев, — история русского ориентализма еще не написана.

Приведем лишь одну цитату — из повести Константина Леонтьева о жизни христиан на Балканах — для того, чтобы показать живучесть русского ориентализма и его способность вести диалог с Западом.

Вот вы спросили у меня, чем мне нравится Восток; теперь я объясню это лучше. Восток живописен; Европа в самом дурном смысле проста <...> Конечно, все путешественники надоели даже, говоря о живописном Востоке. Но дело не в маскарade каком-то, а в том, что европейская цивилизация мало-помалу сбывает все изящное, живописное, поэтическое в музеи и на страницы книг, а в самую жизнь вносит везде прозу, телесное безобразие, однообразие и смерть...⁵¹.

Леонтьев написал свою повесть за несколько лет до книги Гюйо, но он говорит почти то же. Мир экзотики — для Леонтьева это балканский Восток, Греция, Болгария, Турция — живописен, он дает эстетическое наслаждение, ибо полон того, чего уже лишена Европа: разнообразия и интенсивности жизни.

Эдемизм (франц.: *édénisme*). — Этот редкий термин, означающий (между прочим, у Шарля Фурье) состояние «райской первобытности», блаженства в самый древний период истории человечества, кажется удобным для обозначения тех поисков счастливых земель или земного рая, которые имели особое влияние на формирование экзотического воображаемого.

С еще большим правом, чем хождения по святым местам, можно считать «прото-экзотическими» рассказы о рае, земном или небесном, куда довелось попасть нескольким избранным. Очень похоже будут описываться экзотические страны. Вот, например, небесное видение блаженного Андрея, Христа ради юродивого:

Я видел себя в прекрасном и дивном рае <...> умом и сердцем удивлялся я несказанной красоте его и услаждался, ходя по нему. Там находилось множество садов, наполненных высокими деревьями, которые, колыхаясь своими вершинами, веселили мои очи, и от ветвей их исходило великое благоухание. Одни из тех деревьев неперестанно цвели, другие были украшены златовидной листвою...⁵².

Это не совпадение. Эдем, земной рай, к входу в который подошел Александр Великий, долго был целью многих путешественников. В книге Мишеля Фоше о «поисках химер» перечислены четыре большие морские экспедиции, высланные между 1526 и 1721 годами по следам святого Брендана, монаха-мореплавателя VI века, рассказавшего о своем посещении Эдема⁵³. Такова была и сокровенная цель Колумба. Автор *Истории Рая* Жак Делюмо справедливо подчеркивает «роль подготовки к кругосветным путешествиям, которую играли с XIV по XVII век поиски райских земель»⁵⁴. Вот еще фактор, помимо страсти к колонизации, побудивший искать экзотику.

Модель Эдема для экзотизма действует вместе с моделью ада. Демонизация не менее идет экзотике, чем ее идеализация; тут тоже, разумеется, в игру вступают различные факторы. Встреча с экзотикой чревата опасностями и страданиями, опасна сама природа («зеленый ад» джунглей, «ледяной ад» Арктики стали художественными топосами). Опасны обитатели новых миров, которых литература часто рисует в виде красных, черных, желтых демонов. Слугами дьявола традиционно изображаются неверные, будь то сарацины, турки или татары. Бывает, что экзотический рай оказывается иллюзией и соблазном, скрывает дьявольские разврат и разложение. Но либертинские умы и характеры привлекает опасность: фигуры экзотического и демонического сочетаются у Байрона или Лермонтова.

Утопизм. — Почти полтысячелетия, с XIII по XVII век, христианский мир верил в существование пресвитера Иоанна, о котором доложил Марко Поло и которое удостоверяло апокрифическое послание этого мифического персонажа византийскому императору. Его сказочное индийское царство — не страна ли это чистой экзотики, встреча Геродота и рассказов из *Александрии* с народными легендами? Конечно, Индия Иоанна — его послание было любимым чтением в России —

сравнима с опоньским (японским: Чипангу Марко Поло) царством, с Беловодьем или счастливой Даурией, легендарными краями счастья и справедливости, веру в которые питали с XVII века русские народные утопии⁵⁵. По контрасту к государственному экзотизму, о котором шла речь выше, не стоит ли ввести понятие «народного экзотизма»?

Во всяком случае, очевидно, что экзотизм так же связан с народным, как и с ученым утопизмом: Томас Мор писал свой трактат, читая записки Америго Веспуччи, а иезуиты будут основывать свои идеальные колонии в Парагвае, вдохновляясь *Утопией*. Бернарден де Сен-Пьер и Дидро облачают свои домыслы об идеальном обществе в форму рассказов о далеких островах. Очень часто утопическая (или антиутопическая: уэллсовский *Остров доктора Моро*) проекция предвещает или дублирует страсть к открытиям.

Примитивизм. — Не будем углубляться в анализ, для него понадобилась бы отдельная статья. Достаточно сказать, что за те полвека, что прошли между выходом в свет книги Эдварда Б. Тайлора *Первобытная культура* (1871) и публикациями *Первобытного мышления* (1922) Люсьена Леви-Брюля и *Первобытного искусства* Франца Боаса (1927), примитивизм стал необычайно популярным термином; исследование «примитива» мощно стимулировало мысль, особенно в гуманитарных науках, обогатившихся антропологией. В то же время примитивизм как установка на «примитив» стал истоком и средством модернистской революции в искусстве, одним из основных способов преодоления реализма, а вместе с ним и всей традиции иллюзионистского миметизма⁵⁶. После гогеновского символизма нет течения авангарда, во всех областях искусства, включая литературу, которое не поддалось бы искушению одной или нескольких ипостасей «неопримитивизма»: *примитивистской* (упрощение, сведение многообразности мира к элементарным формам), *первобытной* (возврат к магии, бессознательному постижению мира, чувственности), *древней* (оздоровление от порчи городской технической цивилизации), *дикой* (интенсивность жизни, сила, натиск), *детской* (наивная спонтанность, красочность восприятия), *народно-идеальной* (мудрость, аутентичность, гармония естественного бытия).

Формулу связи примитивизма с экзотизмом дали в предисловии к начатой в 1935 году монументальной истории первого А. О. Лавджой и Джордж Боас:

В той мере, в какой любовь к странному и бунт против привычного являются компонентами культурного примитивизма <...> явле-

ния, историю и формы которых мы будем здесь изучать <...> получили наименование экзотизма⁵⁷.

Конечно, экзотизм и примитивизм не совпадают (ни Египет, ни арабско-персидский Восток, ни Китай, ни Индия никак не считались «примитивными») — они скрещиваются.

Регионализм. — Экзотизм строится сложно и потому, что у него много конкретных воплощений. Арабизм, иранизм, китаизм, японизм, африканизм, разные американизмы — все это «плавающие» референты термина. Они реализуются более или менее отчетливо, весомо, глобально, на них по-разному реагируют разные области культуры. Одни из них сопряжены с ориентализмом, другие нет. Как правило, это названия художественных или идеологических построений (русский пример — скифство). Характер экзотизма зависит от того, какое исходное культурное пространство с каким пространством-мишенью он ассоциирует. Но ощущение экзотического — не простая сумма «специальных экзотик», оно и охватывает их все вместе, и входит особой компонентой в каждую из них. Это категория другого уровня и типа. Черты экзотического обнаруживаются в разное время в разных объектах или проявляются в одном объекте и пропадают, в зависимости от дискурсивной перспективы и ее устанавливающей инстанции. *Экзотическое* — категория необъективная, оценочная, изменчивая (но это не значит, что она пуста).

И еще одно: местные экзотики многообразны, но, как мы заметили выше, чувство экзотического смазывает детали. Тут действует «принцип Тартарена»: несмотря на все значение «локального колорита», экзотизм все смешивает, для него самое важное — общая атмосфера, позволяющая столько же показать, сколько и скрыть.

Присмотримся к выделенным нами понятиям: они попарно определяют три оси. *Ориентализм* и *регионализм* обозначают ось географии и культурных ареалов. *Эдемизм* и *утопизм* лежат на полюсах оси идеологии и времени (прошлого — будущего), а *экзотизм* и *примитивизм* — на оси антропологии, поэтики. Эти оси составляют дискурсивные координаты; мы могли бы сблизить эту конфигурацию с нарративной моделью Греймаса (первая ось — возможности, вторая — желание, третья — действие), чтобы показать тесную взаимосвязь между этими понятиями, их организованность, чтобы не сказать системность или «парадигматичность».

VII. Вместо заключения: экзотизмы и тексты

Экзотическое способно проявляться на любых межтекстовых и внутритекстовых уровнях: как особая жанровая, сюжетная

или композиционная схема, как тематика, мотивика, модель просодии, тропологии, как источник мифопоэтической динамики, и т.п. *Экзотическое* может играть мелкие, подсобные роли, и способно стать доминантой построения. Бывает, что оно включается в ряд самых общих творческих принципов.

Интеграция экзотики как часть эстетической программы группы, течения, эпохи; этнографические описания в дневниках путешествий; фон действия в приключенческих или исторических романах; экзотический подсобный персонаж или предмет среди героев и бутафории романа семейного — эти и многие другие проявления экзотического не равны между собой. Необходимо различать их функции, позицию, масштаб, качество. Предложим следующую функциональную дифференциацию с точки зрения текстового анализа.

Экзотике, т.е. постулируемой наблюдателем совокупности свойств мира или объекта, противостоят как разные аспекты художественного действия субъекта (и его языка, дискурса) экзотизмы *мифопоэтический*, *поэтический* и *риторический*.

Первый формирует эстетико-мировоззренческую основу для конкретного типа «экзотизации мира»; в предыдущей подглавке кое-что было сказано о понятиях-«спутниках экзотизма», которые участвуют, порознь или в различных комбинациях, в создании такой мифопоэтической динамики.

Второй экзотизм материализует экзотизацию внутри текстов; конкретные приемы (композиционные ходы, образы, персонажи и т.д.) активизируются для интеграции элементов экзотики.

Третий собирает такие приемы и закрепляет за ними функции и смыслы; возникает система риторики, которая зависит от художественного окружения больше, чем от свойств предмета изображения.

Возьмем пример. Открытие японской эстетики во второй половине XIX века сильнейшим образом влияет на весь модернизм. Японские темы и мотивы распространяются в разных искусствах. Часть из них трактуется трафаретно, как готовый орнамент, но *японизм* толкает на новые художественные решения. Японская графика обновляет подход к эротической образности, к гротеску, к пейзажу, вдохновляет игру близких и далеких планов, моду на диагональную композицию. Японизм мотивирует тяготение ряда модернистов к минимализму формы, новому выражению мистической связи с природой и открывает богатые возможности для знаковой комбинаторики (потому Эйзенштейн увлекался японским письмом). Легко найти в описанной ситуации все три формы экзотизма, переходящие одна в другую.

Закончим на этом нашу затянувшуюся статью. Заключение к ней нет: мы задавались целью не искать решений, а сделать общий обзор проблемам. Если к тому же нам удалось не только сделать компиляцию разных мнений, но и инициировать разработку инструментария для изучения экзотизмов в русской культуре, мы будем считать нашу задачу выполненной.

¹ Leonid Heller, «Un aspect du nouvel orientalisme russe: le japonisme», *Chroniques slaves* (Grenoble), № 3, 2007; id., «L'orientalisme russe: parenté, altérité, étrangeté?», in: Françoise Lesourd, éd., *L'Altérité. Études sur la pensée russe*, Université Jean-Moulin Lyon III, 2007; id., «The Russian orientalism: an encounter with the West», in: E. Waegemans, ed., *Russia and the West: Missed Opportunities, Unfulfilled Dialogues*, Contactforum-Universa Press, 2006.

² «Экзотизм [< гр. exotikos: чуждый, иноземный] лингв. заимствованное слово, обозначающее реалию другой страны или иного культурного сообщества (напр., наименования денежных знаков, жилищ, кушаний и т.п.): Н. Г. Комлев, *Словарь иностранных слов*. М.: Эксмо, 2006: См. в этом выпуске статью Екатерины Вельмезовой «Экзотика и экзоты, экзотизмы и экзотическое глазами русских лексикологов и лексикографов». См. также: К. Богданов, *О крокодилах в России. Очерки из истории заимствований и экзотизмов*, М.: НЛО, 2006.

³ «Экзотический <...> 2. Перен. Причудливый, диковинный <...> В таких экзотических мундирах в гражданскую войну красовались атамановцы. Станиславский, Из высказ. о «Бронепоезде 14-69»: *Словарь современного русского литературного языка в 17 тт.* (1965).

⁴ «Экзотизм: то же, что экзотика»: *Словарь современного русского литературного языка в 17 тт.* (1965), Т. Ф. Ефремова, *Новый словарь русского языка, толково-словообразовательный*, М.: Дрофа, Русский язык, 2000.

⁵ Лат.: exotica: мн. число от exoticus. Нем.: Exotika: мн. число от Exotikum.

⁶ См.: François Jost, «Exotisme», *International Dictionary of Literary Terms*, <http://www.ditl.info/arttest/art1658.php>

⁷ Много примеров приведено в словаре Hans Schulz, Otto Basler, *Deutsches Fremdwörterbuch*, Bd. 5, Walter de Gruyter, Berlin; New York, 2007. Однако в авторитетном словаре Лоофа слово со всеми своими производными отсутствует: Fr. Wilh. Looff, *Allgemeines Fremdwörterbuch*, Langensalza, Verlag H. Beyer, 1883. И, наоборот, словарь иностранных слов Гейзе (Heuse, 1807) вводит не удержавшуюся пару *Exotikomanie—Exotikudenie* для перевода французского *étrangomanie* (страсть к чужому) и его антонима: см. Carlos Rincón, «Exotisch / Exotismus», in: Karlheinz Barck et alii, *Aesthetische Grundbegriffe. Historisches Wörterbuch*, Bd. 2, Verlag J. B. Metzler, Stuttgart; Weimar, 2007.

⁸ См.: цит. словарь Hans Schulz, Otto Basler, *Deutsches Fremdwörterbuch*, Bd. 5.

⁹ Edmond et Jules de Goncourt, *Journal. Mémoires de la vie littéraire*, Monaco, 1957, t. 5, p. 159, t. 6, p. 154. [20.2.1860; 23.8.1862; 23.11.1863]

¹⁰ Напр., Götz Pochat, *Der Exotismus während des Mittelalters und der Renaissance. Voraussetzungen, Entwicklung und Wandel eines bildnerischen*

Vokabulars, Almqvist-Wiksell, Stockholm, 1970; Tzvetan Todorov, *Nous et les autres. La réflexion française sur la diversité humaine*, Paris, Seuil, 1992.

¹¹ См., напр., Jurgis Baltrusaitis, *Le Moyen Âge fantastique. Antiquités et exotismes dans l'art gothique*, Paris, Flammarion, 2000 (1981).

¹² См. Pierre Vidal-Naquet, *Le Chasseur noir. Formes de pensée et formes de société dans le monde grec*, Paris, La Découverte, 2005.

¹³ François Hartog, *Anciens, Modernes, Sauvages*, [Paris] Gallade édс.-Seuil, 2005.

¹⁴ Jean-Marie Guyau, *L'Art au point de vue sociologique*, Paris, Ed. de Saint-Cloud, 1923.

¹⁵ См.: Guy Ducrey, Jean-Marc Moura, dir., *Crise fin-de-siècle et tentation de l'exotisme*, Uni. Lille III, Villeneuve d'Asc, 2002; Anne Décoret-Ahiha, *Les Danses exotiques en France. 1880 — 1940*, Centre nat. de la danse, Pantin, 2004

¹⁶ Pierre Martino, *L'Orient dans la littérature française au XVII^e et au XVIII^e siècle*, Paris, Hachette, 1906; Albert Cassagne, *La Théorie de l'art pour l'art en France chez les derniers romantiques et les premiers réalistes*, Paris, Hachette, 1906; Louis Cario, Charles Régismanset, *L'Exotisme, la littérature coloniale*, Paris: Mercure de France?, 1911; Gilbert Chinard, *L'Exotisme américain dans la littérature française au XVI^e siècle*, Paris, Hachette, 1911. Краткий обзор этих книг см. в: Carlos Rincón, «Exotisch / Exotismus», цит. соч.

¹⁷ Jacques Rivière, *Le Roman d'aventures*, Paris: Éd. des Syrtes, 2000.

¹⁸ Victor Segalen, *Essai sur l'exotisme, une esthétique du divers; et Textes sur Gauguin et l'Océanie*, Paris, Librairie générale française, 1999.

¹⁹ Часто (особенно по-немецки) под «экзотом» понимается экзотический житель дальних стран: не должно путать это употребление с термином Сегалена, имеющим обратный смысл.

²⁰ Emmanuel Lévinas, «Visage et violence première (Phénoménologie de l'éthique). Interview», in: Arno Münster, sous la dir. de, *La Différence comme non-indifférence. Ethique et altérité chez Emmanuel Lévinas*, Eds Kimé, 1995, с. 140.

²¹ Тодоров переводит термином «экзотопия» бахтинскую «внеаходимость».

²² Tsvetan Todorov, *La Conquête de l'Amérique*, Paris, Le Seuil, 1982, с. 254.

²³ Friedrich Brie, *Exotismus der Sinne. Eine Studie zur Psychologie der Romantik*, Heidelberg, 1920. Цит. в: Carlos Rincón, «Exotisch / Exotismus», цит. соч.

²⁴ Jean-Marc Moura, *Lire l'exotisme*, цит. соч., с. 12—13.

²⁵ Gilbert Chinard, *L'Exotisme américain...*, цит. по: Carlos Rincón, цит. соч., с. 344.

²⁶ Tzvetan Todorov, *Nous et les autres*, цит. соч., с. 356.

²⁷ Nicole Fernandez-Bravo, «Le Mythe de l'Atlantide dans le romantisme allemand», in: Chantal Foucrier, Lauric Guillaud, édс., *Atlantides imaginaires. Réécritures d'un mythe* (Colloque Cerisy), Paris, Michel Houdiard Ed., 2004, с. 210.

²⁸ Roger Célestin, *From Cannibals to Radicals: Figures and Limits of Exoticism*, Minneapolis, University of Minnesota Press, 1996.

²⁹ Гюйо звучит почти как формалист: Шкловский несомненно знал *Искусство с точки зрения социологии*, которое переводилось в России (напр., изд. Пантелеева, СПб., 1891). Не имея доступа к русским пе-

реводам, даем свой, по указанному выше изданию: «Искусство писателя состоит в умении целиком завладеть умом читателя, ввести его в круг своих идей, закрыв ему уши на все внешние звуки <...> Живописное служит тому, чтобы изолировать предметы от их обычной среды. Его главная роль — диссоциировать наши идеи, нарушить наши привычные ожидания <...> Исчезая из знакомого пространства, становясь отдаленным и экзотическим, образ поэтизируется» (с. 103).

³⁰ Поль Гоген, *Нoa-Нoa. Путешествие на Таити* (пред. Я. Тугендхольда), [М.], Д. Маковский, 1914.

³¹ Roland Barthes, *Mythologies*, Paris, Seuil, 1957.

³² Claude Lévi-Strauss, «Trois humanismes», *Anthropologie structurale 2*, Paris, Plon, 1973, p. 322.

³³ См., напр., Sophie Bessis, *L'Occident et les autres. Histoire d'une suprématie*, Eds La découverte, Paris, 2001.

³⁴ Jean-Marc Moura, *Lire l'exotisme*, Paris, Dunod, 1992, p. 15.

³⁵ François Jost, «Exotisme», цит. соч.

³⁶ Wolfgang Zimmer, «Voyages africains de recherche et de découverte à l'intérieur de l'Allemagne. L'Exotisme à rebours», in: Alain Buisine, Norbert Dodille, Claude Duchet, éd., *L'Exotisme. Actes du colloque de Saint-Denis de la Réunion*, Saint-Denis-Paris, 1988.

³⁷ Alain Roussillon, *Identité et modernité. Les voyageurs égyptiens au Japon (XIX^e—XX^e siècle)*, Arles, Actes Sud, 2005. См. также, напр., Mona Abaza, «Japan as imagined by Arabs», *Newsletter of the International Institute for Asian Studies*, March 2002, http://www.iias.nl/nl/27/IIAS_NL27_19.pdf.

³⁸ Напр., Susan Layton, *Russian Literature and Empire. Conquest of the Caucasus from Pushkin to Tolstoy*, Cambridge U. Press, 1994; Ewa Thompson, *Imperial Knowledge. Russian Literature and Colonialism*, Westport, Greenwood Press, 2000.

³⁹ Доклад на конференции «Экзотизмы в русской культуре», Франко-русский культурный центр, 20 июня 2008.

⁴⁰ См. поздний «причесанный» вариант в сборнике: Хаджи-Мурат Мугуев, *К берегам Тугра*, Орджоникидзе, Осетин. кн. изд-во, 1962.

⁴¹ Julia Kristeva, *Etrangers à nous-mêmes*, Paris, Gallimard, 2007 (1988), с. 271, 283.

⁴² François Hartog, *Le Miroir d'Hérodote*, Paris, Gallimard, 2001 (1980).

⁴³ Jean-Marc Moura, *Lire l'exotisme*, цит. соч., с. 133.

⁴⁴ Jean-Pierre Hassoun, Anne Raulin, «Homo exoticus», in: Sophie Bessis, sous la dir. de, *Mille et une bouches. Cuisines et identités culturelles*, Autrement, Paris, 1995, p. 120.

⁴⁵ Об этом см. известные работы Эриха Ауэрбаха (*Мимесис. Изображение действительности в европейской литературе*, М.: Прогресс, 1976), Жан-Пьера Вернана (напр., сборник *Entre mythe et politique*, Paris, Seuil, 2003), и др.

⁴⁶ Etienne Souriau, *Vocabulaire d'esthétique*, Paris, PUF, 2004 (1990), p. 707.

⁴⁷ Александр Эткин, «Фуко и тезис внутренней колонизации: пост-колониальный взгляд на советское прошлое», *Новое литературное обозрение*, 2001, № 49.

⁴⁸ Владимир Каганский, *Культурный ландшафт и советское обитаемое пространство*, М., НЛО, 2001, с. 57.

⁴⁹ Francis Affergan, *Exotisme et alterité. Essai sur les fondements d'une critique de l'anthropologie*. Paris, PUF, 1987, с. 103—104; Ferdinand Denis, *Une Fête brésilienne célébrée à Rouen en 1550*, Paris, Techener, 1850; Beatriz Perrone-Moisés, «L'alliance normando-tupi au XVI^e siècle : la célébration de Rouen», *Journal de la Société des Américanistes*, 2008, № 94-1 (<http://jsa.revues.org/document8773.html>).

⁵⁰ Friedrich Theodor Vischer, *Über das Erhabene u. Komische: ein Beitrag zu der Philosophie des Schönen*, Stuttgart : Imle und Krauss, 1837, s. 64.

⁵¹ Константин Леонтьев, *Египетский голубь. Рассказ русского* (1881), в кн.: К. Леонтьев *Египетский голубь. Дитя души*, Изд. им. Чехова, Нью-Йорк, 1954, с. 71—72.

⁵² «Житие Андрея», *Четы-Минеи свт. Димитрия Ростовского*, 2 окт., цит. по: Св. Игнатий (Брянчанинов), «Слово о смерти», <http://www.pagez.ru/olb/193.php>.

⁵³ Michel Faucheux, *Les Quêtes chimériques. Mythes et symboles de l'Eldorado à l'amour éternel*, Paris, Lattès, 2006, с. 20—25.

⁵⁴ Jean Delumeau, *Une histoire du Paradis*, Paris, Fayard, 1992, с. 145.

⁵⁵ См., Кирилл Чистов, *Русские народные социально-утопические легенды XVII—XIX вв.*, М.: Наука, 1967; его же, *Русская народная утопия (Генезис и функции социально-утопических легенд)*, СПб.: Дм. Буланин, 2003; Александр Клибанов, *Народная социальная утопия. Период феодализма*, М.: Наука, 1977; его же, *Народная социальная утопия. XIX в.* М.: Наука, 1978; Леонид Геллер, Мишель Нике, *История утопии в России*, СПб.: Гиперион, 2003.

⁵⁶ См., напр., Philippe Dagen, *Le peintre, le poète, le sauvage: les voies du primitivisme dans l'art français*, Paris, Flammarion, 1998; Jack Flam, Miriam Deutch, eds., *Primitivism and XXth-century art: a documentary history*, Berkeley, Univ. of California press, 2003; Elazar Barkan, Ronald Bush, eds., *Prehistories of the future: the primitivist project and the culture of modernism*, Stanford Univ. Press, 1995.

⁵⁷ А. О. Lovejoy, G. Boas, *A Documentary History of Primitivism and Related Ideas*, vol.1. *Primitivism and Related Ideas in Antiquity*, New York, 1965 (1935), с. 8.

А. А. Фаустов

ЭКЗОТИЧЕСКОЕ И ЕГО СЕМАНТИКА В РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ НАЧАЛА XX ВЕКА

Слово «экзотика» — причем сначала не само по себе, а в качестве грамматически как будто бы производной от него формы «экзотический» — обосновалось в русском литературном языке, по всей видимости, в середине XIX века¹, и на правах ограниченных. В словаре В. И. Даля, к примеру, мы находим именно такую вокабулу — «экзотический», а к ней

толкование — «чуже(ино)земный, из жарких стран, о растн.»². И очень близкую словарную статью можно обнаружить в *Словаре научных терминов...* начала XX столетия: «Экзотический, гр. — чужеземный; Э. растение — иноземное, преимущественно тропическое растение, перенесенное на чужую почву»³. Разница здесь только в том, что более поздний словарь фиксирует расширение сферы сочетаемости, но пример предлагает прежний — ботанический.

Та же растительная (и даже флористическая) привязка наблюдается и в относящихся к середине XIX века единичных — и отличающихся внешне прихотливо-случайным характером — литературных примерах подобного словоупотребления. Так, у И. А. Гончарова единственный, насколько можно судить, раз слово «экзотический» возникает в *Обломове*, в конце знаменитого сна героя (1849, 1859): «И Илюша с печалью оставался дома, лелеемый, как экзотический цветок в теплице, и так же, как последний под стеклом, он рос медленно и вяло»⁴. А в цикле статей *И. С. Тургенев и его деятельность. По поводу романа «Дворянское гнездо»* (1859), говоря о том, что идеал русской женщины выразился до сих пор только в пушкинской Татьяне, А. А. Григорьев заметит: «Княжна Мери Лермонтова — экзотическое растение...»⁵.

В начале XX столетия валентность входящих в «экзотическое» поле слов увеличится, подобно тому как ощутимо возрастет и их частотность, однако при этом они по-прежнему будут восприниматься и употребляться как своего рода лексические раритеты. Необычайно остроумным свидетельством эпохи является в этом плане рассказ Л. Н. Андреева «Оригинальный человек» (1904). По общей своей сюжетной схеме это еще одна вариация на тему истории о «маленьком человеке». Герой рассказа Семен Васильевич охвачен родовым для этого характера стремлением — означить свое существование в мире, однако в противоположность своим предшественникам, использовавшим опробованную семиотическую машинерию (письмо, гардероб и т.п.), он довольствуется набором едва ли не случайно произнесенных, а затем всякий раз автоматически повторяемых слов — и вскоре, не желая того, окажется их заложником, подчинит им всю свою жизнь. Обедая однажды с сослуживцами, Семен Васильевич внезапно (и сначала опасаясь, не принесло бы это ему каких-нибудь неприятностей) скажет, что любит негритянок. И когда столоначальник спросит его, всерьез ли он это говорит, герой ответит:

В них, в этих черных женщинах, есть нечто такое пламенное, или, как бы это вам пояснить, экзотическое.

— Экзотическое?

И опять все прыснули, но, смеясь, соображали, что Семен Васильевич даже образованный и умный человек, так как знает такое редкое слово: экзотический.

После этого и вследствие этого Семен Васильевич приобретает особую репутацию, делается достопримечательностью и предметом гордости и зависти чиновников, будет обласкан начальством и т.д., однако в итоге герою придется жениться на настоящей негритянке (а не на той, к которой он питал симпатию, как и она к нему), и «...когда на пороге его встречали широкие, как фортепьянные клавиши, зубы и вертящиеся белые тарелки, и... голова его прижималась к чему-то черному, маслянистому и пахнущему мускусом, он весь замирал в чувстве тоски и думал о тех счастливых людях, у которых белые жены и белые дети»⁶. Будучи в рассказе означаящим с размытой, загадочной денотативной семантикой, слово «экзотический» не просто коннотирует принадлежность говорящего к элите общества, но и ведет себя как злокозненное существо, симулякр, создающий для героя подтасованную реальность.

Впрочем, то, что слово это применяется в рассказе Андреева к негритянкам и пламенной страсти, вполне вписывается в номинативный этикет. И мы по необходимости кратко, ограничившись перечислением смысловых доминант и почти целиком опустив возможные (не слишком многочисленные) иллюстрации, как раз и ответим теперь на вопрос, что и кого именовали в эпоху русского «fin de siècle» экзотическим. В первых, экзотика ассоциируется с необычным, ненатуральным и связывается по преимуществу с «Парнасом» и его влиянием. Так, в «Двух стихиях в современном символизме» Вяч. И. Иванова (1908) можно прочесть (вслед за размышлениями о Ш. Бодлере): «Из преданий Парнаса возникло в новом символизме предпочтение искусственного естественному. Из преданий Парнаса искание редкого и экзотического»⁷. Во-вторых, экзотика соотносится с далеким (в пространстве или во времени), и тут ключевой фигурой выступает Н. С. Гумилев, который в XIV *Письме о русской поэзии* (1911) именно себя называет «поэтом-экзотиком» (по предположению Р. Д. Тименчика)⁸. Таким же — в разной оценочной проекции (в основном со знаком «минус»⁹) — рисовали гумилевское творчество и его современники. Наконец, в-третьих, экзотическое «рифмуется» с эротическим, которое в *Масках* А. Белого (1932) сплетено с ним в одной ритмической синтагме: «экзотика, даже эротика: тропика!»¹⁰. И главной точкой пересечения экзотики и эротики была ранняя лирика В. Я. Брюсова. В на-

писанной после 1945 года монографии о поэте К. В. Мочульский, говоря о первой брюсовской книге «Chefs d'œuvre», усматривает в ней слияние в одном «мутном потоке» (и с «чисто московской пышностью») двух основных тем — «эротического эстетизма» и «экзотики»¹¹.

В большинстве случаев употребление «экзотической» фразеологии носило оценочно далеко не безобидный, компрометирующий характер. В. Ф. Ходасевич в статье «Брюсов» (1924) выскажется о молодых годах поэта так: «...главная острота его тогдашних стихов заключается именно в сочетании декадентской экзотики с простодушнейшим московским мещанством. Смесь очень пряная, излом очень острый... <...> Все эти тропические фантазии — на берегах Язуы...»¹². А в статье о Гумилеве (1936) Ходасевич причислит его к выученикам Брюсова как раз потому, что поэзия обоих была по-декадентски изысканной, нарочито экзотической: «Оба и в жизни, и в поэзии играли. Объекты их поэзии (для Гумилева — какие-нибудь абиссинцы, воины, мореходы, для Брюсова — Ассаргадоны, Антонии, Клеопатры) были словно куклами»¹³. Неудивительно, что экзотическими могут именоваться те объекты, которые заведомо не соотносятся с обозначаемым ими, которые принадлежат некоему сконструированному, декоративному миру или даже замкнуты в чисто словесной плоскости. Экзотика в такой перспективе — это то, что всего лишь драпирует реальность, являющуюся для субъекта высказывания «своей», переодевает ее в маскарадные одежды, переназывает вещи, подменявая интенционалы и тем самым искривляя, вуалируя референцию¹⁴.

И особое место в этом ряду занимает статья М. А. Волошина «Клодель в Китае» (1911) — единственная порожденная эпохой развернутая рефлексия над феноменом экзотики. Ему посвящен весь первый параграф статьи, в котором прочерчивается вектор эволюции европейского экзотизма от романтического времени к современному, выстраивается целая вереница имен от Бернардена де Сен-Пьера до заглавного героя статьи и демонстрируются многочисленные, исторически сменяющиеся друг друга источники экзотического от средиземноморского Востока до русского балета. В целом возникновение экзотического Волошин объясняет так: «Экзотизм в романтическом искусстве был голодом по пряностям. Художник, пресыщенный отслоениями красоты в музеях и бытом отстоявшейся культуры, искал новых вкусовых ощущений — более терпких, более острых». Особое внимание обратим на активацию «вкусовой» метафорики и на то, что в этом сенсорном круго-

зоре на первый план выдвигается мотив «пряностей», который у Волошина смыкается с другим — «наркотическим»: «Экзотика... служила художнику ядом сознания, возбудителем чувствительности... <...> Романтизм, введший в моду гашиш и опиум, чувствовал пристрастие к ядам...»¹⁵. И в связи с этим сошлемся на крайне интересный диалог, напечатанный в разделе «Пчелы и осы Аполлона» в первом номере журнала за 1909 год. Один из участников диалога — *Философ* — произнесет приговор новому искусству: «Декадентство — искусство конквистадоров новооткрытой области ощущений и переживаний <...> Форсированный вкус не есть хороший вкус...». *Любитель литературы* решительно возразит: «...немного декадентства — необходимая приправа вкусного литературного блюда. Как яд горького миндаля — смертельный в руках неосторожного повара». А *Скептическая дама* подытожит: «Должно быть поэтому я чувствую себя отравленной»¹⁶. Живописуя романтический экзотизм, Волошин симптоматично воспользуется языком переживания декадентской эпохи.

Зарождение нового экзотизма символизируют у Волошина два события — отъезд из Франции Поля Гогена на Таити, а Поля Клоделя в Китай: «Оба они едут не за запасом новых наркотиков, как романтики, а в поисках первобытной и здоровой пищи». Это бегство — «поиск новой духовной родины», и для Волошина он ничем, по сути, не отличается от попыток Льва Толстого научиться истине жизни, сблизившись с народом, только русскому писателю «...достаточно было выйти за ворота яснополянского сада, чтобы найти первоисточник мудрости в душе мужика...». И тот же мотив возвращения к подлинным истокам, где «внешняя» экзотика совпадает с «внутренней», Волошин — вопреки своей стадийной логике — обнаруживает уже у парнасцев: «В тропической экзотике Леконта де Лиля и Эредиа романтизм смешан с воспоминаниями детства и тоской по родине»¹⁷. Тем самым экзотические миры — дальние и близкие — едва ли не приравняются у Волошина к забытой единой для всех прародине, к потерянному «своему». И более чем показательны, что именно этот двойной механизм разрыва и замещенного воссоединения Волошин описывает в двух других статьях, в центре которых находятся средние экзотизму категории — ориентализма (в статье о М. С. Сарьяне (1913)) и архаизма (в статье с говорящим за себя заглавием «Архаизм в русской живописи (Рерих, Богаевский и Бакст)» (1909)).

Такое понимание экзотики как утраченного и с разной целью и разным успехом присваиваемого заново первобытного

«своего» позволяет сделать еще один шаг и от вопроса об «экзотическом» словоупотреблении перейти к вопросу о логике функционирования экзотического, кроющейся за подобной речевой практикой. В рецензии на книгу Гумилева «Чужое небо» (1912) М. А. Кузмин выскажет поэту такой упрек: «...стремление или способность слышать «в каждой луже запах океана» (слова из гумилевского «Открытия Америки». — А. Ф.) приводит Гумилева... к методу делать проекции от любого переживания или лирического эпизода...». И вслед за этим Кузмин призовет нового Адама опустить свой «...слишком дальнзоркий глаз на землю, на которой он стоит, и она воистину предстанет ему... ждущей еще своего имени»¹⁸. Как и в цитированных суждениях Ходасевича, здесь фиксируется несоответствие между близким и далеким, между «своим» и «чужим», однако оптическая метафорика высвечивает и нечто добавочное — момент динамики, перефокусировки взгляда с одного на другое. В этом внутреннем напряжении, думается, и заключается тот дифференциальный признак, который отличает экзотизм как от предмета этнографического интереса, нацеленного на планомерное картирование «чужого», на проникновение в его суть, так и от предмета стилизаторских устремлений, столь же свободных в своем изобретении «чужого» от видимой оглядки на «свое». И та критика экзотического, о которой шла речь (если отбросить оценочные коннотации), так или иначе вращалась вокруг этого пункта, то не удовлетворяясь чрезмерными, не состыкующимися с действительным авторским опытом, отлетами воображения в пространство «чужого», то усматривая в них особенную пряность и остроту.

Такое напряжение может канализоваться по-разному. Экзотическим может быть и «свое», если увидеть его как «чужое», с «чужой» точки зрения. И об этом с еще большей формульностью говорится в статье Кузмина о Н. К. Рерихе (1923), где художник аттестуется как русский иностранец, влюбленный в «...языческую Русь, как может быть влюблен только «чужой, не свой», собирающий... все мелочи, мимо которых домашний человек прошел бы равнодушно <...> русский, воспринимающий русское как заморскую диковину...»¹⁹. Но и «чужое» не превращается в экзотическое только потому, что не является «своим» и воспринимается и конструируется на его фоне, по контрасту. Необычайно красноречивый в этом смысле документ — прозаическая книга К. Д. Бальмонта *Змиевые цветы* (1910), написанная по следам его мексиканского путешествия²⁰ (наиболее важные для нас дневниковые ее фрагменты были опубликованы еще в 1905 году в *Весах* под

заглавием «В странах Солнца»). Оставляя за скобками общую композиционную стратегию книги, присмотримся лишь к двум — разделенным месяцем времени — дневниковым пассажам, включающим прямую «экзотическую» номинацию. В первом Бальмонт восхищается одним из мексиканских видов: «Эта панорама — чуть не самое красивое из всего, что я до сих пор видел в путешествии, а во всяком случае самое экзотическое, и самое убедительное для меня в смысле установления родства между Мексиканцами и Египтянами. Сколько Египетских лиц и фигур я видел!». Экзотическое тут — и это озадачивает больше всего — описывается не в его инаковости, а по аналогии с другим «чужим», имеющим как бы меньшую степень «чужести». И такое наведение мостов возможно постольку, поскольку для Бальмонта эти цивилизации — наряду с Индией, Вавилоном, Океанией — принадлежат к наследникам погибшей Атлантиды, которая должна некогда возродиться и сделаться зримым основанием европейской культуры. Отсюда уже совсем недалеко до волошинского толкования экзотического как такого «чужого», в котором открывается исконно «свое». И второй пассаж. Оправдываясь перед читателями, что он мало говорил о своих впечатлениях от тропических лесов, Бальмонт внезапно произнесет целый гимн во славу покинутого им мира: «Может показаться странным, но, увидевши экзотики, я возвращаюсь страстным поклонником России и Европы <...> многого прекрасного нет у нас. Но в общем, в целом, можно ли сравнивать нашу изысканно-красивую Европу с этими варварскими странами? <...> Она представляется мне нежным ожерельем, ниткой жемчужин... чарующим садом, где на малом пространстве — удивительное разнообразие гениальных достижений»²¹. Экзотическое оказывается таким «чужим», от которого хочется вернуться назад, и причина этого желания проглядывает в том, какой шкалой Бальмонт пользуется при сравнении варварского и европейского, экзотического и «своего». Оба по-своему прекрасные (и к этому различению мы еще обратимся), эти миры несоизмеримы по масштабу, и Бальмонт — самим подбором тропов — отдает предпочтение тому из них, который отличается миниатюрностью и гармонической завершенностью.

Два этих бальмонтских взгляда на экзотическое не столь противоположны, как может показаться на первый взгляд. Скорее, они задают два предела экзотики, которая потому и отвергается, что не вписывается без остатка в тот классификационный порядок, который сначала как будто бы идеально накладывается на нее. Экзотическое как варварское — это тот избыток «чужого», который выпадает из классификации, не

вмещается в рамки препарированной разумом экзотики. В таком ракурсе экзотическое — категория параллельная фантастическому: если второе (согласно концепции Ц. Тодорова) эпистемологически предполагает неуверенность в том, существует ли в действительности то, что находится перед глазами или нет, то первое предполагает подобную же неуверенность в том, понимаем ли мы видимое нами или нет, поддается ли оно систематизации или нет. И такая когнитивная нестабильность экзотического напрямую сопряжена с его пространственной «незакрепленностью». Экзотическое — это такое «чужое», которое очутилось рядом (в результате ли нашего приближения к нему или его импорта), но «своим» до конца поглощено не было и осталось нерастворившимся осколком, синекдохой «чужого» универсума.

Прибегнув к определению, ставшему знаменитым благодаря работе М. Дуглас «Purity and Danger» («Чистота и опасность»), об экзотическом можно сказать поэтому (с не меньшим правом, чем о грязи) как о том, что всегда так или иначе — в прямом или в переносном смысле — находится не на своем месте. И с этой точки зрения экзотика представляет собой продукт частичной диффузии «чужого» и «своего». Так, стихотворение А. А. Блока «Ты помнишь? В нашей бухте сонной...» (1914), рисуящее появление, а вернее даже, явление в порту военных судов, сразу сделавших мир вокруг «заманчивей и шире», завершается строфой: «Случайно на ноже карманном / Найди пылинку дальних стран — / И мир опять предстанет странным, / Закутанным в цветной туман!»²². Пылинка «чужого» (так же, как и его вестники — корабли) раздвигает границы «своего» пространства, смещает оптические координаты, придает взгляду ту самую «дальнозоркость», в силу которой очертания близкого теряют отчетливость, расплываются в радужной пелене, обращаются скорее в осязаемое, чем в видимое (и в этом сенсорном аспекте пылинка недаром отыскивается на ноже).

Дело, однако, не только в таком отклонении взора в сторону дальнего. Не менее любопытно, что причиной этой разбалансировки служит «пылинка». Как и в «Змеиных цветах», здесь та же игра масштабами, только в сравнении с бальмонтовским текстом соотношение их оказывается обратным. В своих воспоминаниях — в главе «Природа» (1923) и в не вошедшем в нее отрывке «Колибри» (1918) — П. А. Флоренский напишет о том, как сильно его влекло к себе в детстве все экзотическое: «Маленькое, изящное, благоуханное, колоритное... не просто нравилось мне, а почти мучительно вол-

новало...». И среди этих экзотических «предметов эроса» крупным планом будут запечатлены два — колибри и (уже хорошо знакомые нам) пряности. Первый из них вызовет в памяти настоящую историю. «Предельной мечтой» рассказчика было увидеть колибри «близко к себе, гладить иногда и целовать». И когда наконец они отправятся с тетей в магазин и купят «самую маленькую и самую изящно-блестящую птичку»²³, на обратном пути она выпадет из пакетика, и найти они ее — к ужасу и глубокому горю рассказчика — не смогут. Столь же колоритный текст порождает воспоминания о пряностях. Флоренский описывает то, как, набив карманы этими благоухающими «экзотическими товарами», похищенными из шкафа с провизией, он отправлялся их «рассматривать, обнюхивать и пробовать». И чувственно изощренное изображение целой галереи этих гастрономических экзотизмов увенчивается развернутым портретом одной из самых любимых рассказчиком — ванили: в ней «...все меня приводило в дрожь: и словно лакированная черная кожица, в которой чувствуется тончайшая, но чрезвычайно крепкая волокнистость; и почти микроскопические... семена, которые я видел... отдельными и зернистыми... <...> Рассмотрев свою ваниль и слизав с нее хорошенько кристаллические иголки ванилина, я затем выдавливал в рот ее семена, а после них съедал и самую кожицу». И после этого будет сказано о пряностях вообще: «...каждый раз они наполняли все мое существо... чувством реальности других миров, причем я сам ясно не знал, находятся ли эти миры по ту сторону океана, или по ту сторону форм рационального познания»²⁴ (отметим сразу эту двойную экстерриториальность пряностей).

Экзотические предметы предстают у Флоренского как нечто не просто маленькое, но уменьшающееся до полного исчезновения. В истории о колибри, почитаемой рассказчиком чем-то вроде эльфа, предмет этот ведет себя как живое (если не чудесное) существо, которое не дается в руки и, появившись, тотчас же исчезает — незаметно «выскакивает» из своего узилища. Пряности же претерпевают почти жертвенные муки — разнимаются на части и поглощаются. И последнее подводит нас еще к одной отличительной черте экзотики — к тому, как она воспринимается. Даже при рассматривании экзотических предметов на авансцену в воспоминаниях Флоренского выдвигается их фактура, которой взгляд словно касается, предваряя реальное прикосновение и вкушение, причащение им. Приблизиться к экзотическому можно лишь через непосредственное, вещественное, эротическое с ним соединение. И особую

роль при этом играют запахи. В воспоминаниях Флоренского о любви к ним говорится не меньше, чем в декадентской «Библии», в романе Ж.-К. Гюисманса «Наоборот» (1884), — о занятих Дез Эссента «наукой запахов». И это не случайно (при всем различии в феноменологии запахов у Флоренского и в романе). Комментируя пристрастие Ш. Бодлера к изображению ароматов, Ж.-П. Сартр напишет: «Запах, проникающий в меня, знаменует слияние моего тела с телом Другого»²⁵. Обоняние, как и вкушение, как и прикосновение, устраняет дистанцию между субъектом и объектом, между «Я» и «Другим». И тут прежде всего необходимо было бы сослаться на бодлеровский сонет «Parfum exotique» («Экзотический аромат») (1857), канонизировавший тандем экзотического и ароматического и сюжетно, и фразеологически (ср. ту же формулу в стихотворении И. Ф. Анненского «Буддийская месса в Париже» (1906): «И, экзотичные вдыхая ароматы...»²⁶). Вдыхая аромат «горячих грудей» возлюбленной, лирический субъект Бодлера переносится — в одорастическом трансе — на далекий остров, в счастливую страну.

Подобный же подрыв компетенции зрения в андреевском «Оригинальном человеке» приводит к появлению почти «кубистического» портрета негритянки, с ее глазами — вращающимися тарелками и зубами — клавишами; не говорю уже о лейтмотивно сопровождающем ее дурном запахе (ср. к этому «расстройству» сенсорики, особенно с учетом эротической семантики ананаса²⁷, стихотворение И. Северянина «Клуб дам» (1912): «— Индейцы — точно ананасы, и ананасы — как индейцы... / Остриг креолка, вспоминая о экзотической земле»²⁸). И И. Ф. Анненский, проницательно описывая в статье «Иуда» (1909) эту стилистическую технику Л. Андреева (когда все поле зрения покрывается «сгущениями теней» и «беспокойными пятнами», когда у движущегося героя «будто целый десяток ног» и т.д.), в первых же строках констатирует: «Описания у Леонида Андреева почти всегда кажутся экзотическими»²⁹. И то, что экзотичность служит здесь синонимом даже не просто необычного или странного, а «уродливо сцепившихся впечатлений», возвращает нас к вопросу о соотношении экзотического и прекрасного.

В ранней — «докритической» — статье И. Канта о чувстве возвышенного и прекрасного говорится: «Возвышенное всегда должно быть значительным, прекрасное может быть и малым»³⁰. Некоторая асимметрия в этом высказывании вызвана, конечно, тем, что прекрасное традиционно истолковывается в антропном ключе, имеет в качестве своей внутренней

меры человеческое тело, рядом с которым возвышенное и выступает чем-то колоссальным. Об экзотическом же, если отталкиваться от кантовского различения, можно было бы сказать, скорее, что оно может быть не только малым. Но такого определения явно недостаточно. В «Змеиных цветах», обыгрывая «горную» образность, которая со времен Э. Бёрка иллюстрирует рассуждения о возвышенном, Бальмонт так обрисует будущее европейской цивилизации, усвоившей заветы атлантов: «...мы научимся тогда смотреть на луга и долины не с высоты маленького Монблана... а с вулканических высот гигантского Чимборасо...». И, введя эту новую мерку, еще более возвышенную, чем само возвышенное, Бальмонт опишет кровавые жертвоприношения ацтеков, совершаемые на вершине пирамиды Солнца, и опишет так, как если бы он галлюцинозным отождествлял себя с жертвой перед лицом «...жреца, с которым гибнущий сливается в свой последний миг в каком-то жутком причастии... Мне ужасно думать о том, что с уступа на уступ можно быть возведенным на последнюю грозную террасу... и быть поверженным на жертвенный камень, и увидеть взмах агатового лезвия...»³¹. Как и подобает при встрече с возвышенным, рассказчик испытывает чувство смешанного с восторгом ужаса, которое приводит к невозможности рефлексивно отстраниться от объекта и охватить его воображением, внутренним оком. И это переживание удивительно похоже в своем глубинном основании с тем, которое совсем по другому поводу и совсем в другой — «героической» — тональности будет не однажды репрезентировано в «Африканской охоте» Гумилева (1916), с ее заостренно натуралистическими картинками охоты и обращенным к европейцам заветом — закалить свой дух, чтобы «...не трепетать при виде крови своей и чужой и принять новый мир, столь не похожий на наш, огромным, ужасным и дивно-прекрасным». И особенно интересная параллель — в последних строках дневника, в которых рассказчик задумывается о том, почему его «кровная связь с миром» лишь крепнет от убийства зверей как будто бы только ради забавы: «А ночью мне приснилось, что за участие в каком-то абиссинском дворцовом перевороте мне отрубили голову и я, истекая кровью, аплодирую уменью палача и радуюсь, как все это просто, хорошо и совсем не больно»³². Охота приравнивается у Гумилева к ритуалу, в котором роли жреца и жертвы неотделимы друг от друга до полной их оборачиваемости.

Одним словом, экзотическое, будь оно огромным или малым, предполагает устранение позиции наблюдателя и уста-

новление между субъектом и объектом — поверх рационализирующего и автономизирующего зрения — непосредственной, обоюдной связи, в которой субъект перестает быть собой и оказывается, как и сам экзотический объект, не на своем месте. В экзотическом противопоставлении прекрасного и возвышенного целиком нейтрализуется, и это неразличимое соединение влекущего к себе и вселяющего ужас является, может быть, наиболее интенсивным выражением той неснимаемой двойственности, которая вообще присуща феномену экзотического (заметим, что и в миниатюрной своей ипостаси экзотика — не только предмет любования, но и нечто опасное, смертоносное, источающее яд, чему лучший пример — вся «орхидейная» ветвь «экзотического» текста³³). И в этом смысле весьма знаменательна языковая история русской экзотики, отличающаяся первенством адъективности. Лексема «экзотический» — изначально качественное (а не относительное) прилагательное, которое, собственно, и превращает ту вещь, на которую указывает, в «экзотизм», в элемент «экзотики». Механизм, действующий здесь, отчасти напоминает метафоризацию, заставляющую нас смотреть на предмет в соответствии с той системой импликаций, которая задается метафорой. Язык словно предлагает нам признать, что экзотическое возникает лишь в определенной перспективе, обращающей тот или иной участок реальности в объект «колониального» присвоения. Однако в начале XX века языковая картина меняется: экзотическое субстантивируется. И в таком горизонте двойственность экзотики — это своего рода овеществление метафоры, ответ реальности, сопротивляющейся тотальной ее символизации.

¹ Во всяком случае, этого слова нет в *Словаре Академии Российской* (1822), а в популярном руководстве для любителей садов можно прочитать: «Под именем оранжерей разумеются здания, построенные для содержания и воспитания иностранных растений, которые без помощи искусством произведенной теплоты, здешней стужи перенести не могут» (*Новый русский садовник*. М., 1806. Ч. 1. С. 97).

² В. И. Даль *Толковый словарь живого великорусского языка*. М., 1866. Т. 4. С. 607.

³ *Словарь научных терминов, иностранных слов и выражений, вошедших в русский язык*. СПб., 1905. Стбл. 921.

⁴ И. А. Гончаров *Обломов* Л., 1987. С. 111.

⁵ А. А. Григорьев *Искусство и нравственность*. М., 1986. С. 226.

⁶ Л. Андреев *Избранное автором*. М., 2001. С. 155, 160.

⁷ Вяч. И. Иванов *Лик и личины России*. М., 1995. С. 122.

⁸ См.: Н. С. Гумилев *Письма о русской поэзии*. М., 1990. С. 316.

⁹ Чуть ли не единственное исключение здесь — реплика Вяч. Иванова (1921): Гумилев «...упивался экзотикой, но этот романтизм был у него не заемный, а подлинно пережитый <...> От его описаний действительно отдает морской пылью» (М. С. Альтман *Разговоры с Вячеславом Ивановым*. СПб., 1995. С. 90).

¹⁰ А. Белый *Маски*. М., 1932. С. 147.

¹¹ К. В. Мочульский *А. Блок. А. Белый. В. Брюсов*. М., 1997. С. 383—384.

¹² В. Ф. Ходасевич *Собр. соч.: В 4 т.* М., 1997. Т. 4. С. 19.

¹³ *Там же*. Т. 2. С. 387.

¹⁴ В известном цикле рецензий В. С. Соловьева *Русские символисты* (1894 — 1895) подобное «переодевание», высмеиваемое в качестве главной символистской методики, иллюстрируется наваянным К. Прутковым примером: «...живописец на своей картине собственноручно обозначил: *се лев!* — а между тем всякий видит на ней дурно нарисованную собаку...» (В. С. Соловьев *Философия искусства и литературная критика*. М., 1991. С. 510). В ином ключе ср.: М. И. Шапир «Символическая заумь Федора Сологуба: между ложью и фантазией» // *Вопросы литературы* 2007. № 3. С. 211—221.

¹⁵ М. А. Волошин *Лику творчества*. Л., 1988. С. 78.

¹⁶ *Аполлон*. 1909. № 1. С. 83—84.

¹⁷ М. А. Волошин *Указ. соч.* С. 80, 78.

¹⁸ М. А. Кузмин *Проза и эссеистика*. М., 2000. Т. 3. С. 96—97.

¹⁹ *Там же*. С. 469.

²⁰ Ср., к прим.: Р. В. Кинжалов «К. Д. Бальмонт и древние культуры Латинской Америки» // *К. Бальмонт и мировая культура* Шуя, 1994. С. 211—222.

²¹ К. Бальмонт *Змеиные цветы*. М., 1910. С. 27, 39.

²² А. А. Блок *Собр. соч.: В 8 т.* М.; Л., 1960. Т. 3. С. 136.

²³ П. А. Флоренский *Детям моим. Воспоминания прошлых дней. Генеалогические исследования. Из соловецких писем. Завещание*. М., 1992. С. 255.

²⁴ *Там же*. С. 77—78.

²⁵ Ж.-П. Сартр *Бодлер* // Ш. Бодлер *Цветы Зла. Стихотворения в прозе*. М., 1993. С. 435.

²⁶ И. Ф. Анненский *Стихотворения и трагедии*. Л., 1990. С. 128.

²⁷ Ср.: В. Абашев «Ананас на русской почве: О стихотворении Андрея Белого «На горах»» // *Russian Literature* 2002. V. LI. P. 121—143.

²⁸ И. Северянин *Тост безответный*. М., 1999. С. 34.

²⁹ И. Ф. Анненский *Избр. произведения* М., 1988. С. 549.

³⁰ И. Кант *Собр. соч.: В 6 т.* М., 1964. Т. 2. С. 130.

³¹ К. Бальмонт *Указ. соч.* С. 47, 49.

³² Н. С. Гумилев *В огненном столпе*. М., 1991. С. 80, 85.

³³ См. о ней: А. А. Фаустов «Венок из орхидей (об одном экзотизме в русской литературе рубежа XIX—XX веков» // *Восток — Запад*. Волгоград (В печ.).

Е. Вельмезова

ЭКЗОТИКА И ЭКЗОТЫ, ЭКЗОТИЗМЫ И ЭКЗОТИЧЕСКОЕ ГЛАЗАМИ РУССКИХ ЛЕКСИКОЛОГОВ И ЛЕКСИКОГРАФОВ

Лингвистика, как известно, претендует на статус самой точной из гуманитарных наук — в том числе и в том, что касается ее собственной терминологии. Одним из лингвистических терминов, получивших распространение в последние десятилетия, является термин *экзотизм*, которому даются точные определения в учебных пособиях, словарях и справочниках¹. Само понятие *термина* предполагает семантическую однозначность — однако если сопоставить хотя бы несколько определений того, что лингвисты (в данном случае лексикологи и лексикографы²) называют *экзотизмами*, нетрудно заметить, что ни о какой однозначности речь идти не может.

В большинстве случаев *экзотизмы* понимаются и определяются «географически». Так, в известном словаре лингвистических терминов Д. Э. Розенталя — М. А. Теленковой *экзотическая лексика* определяется как «слова и выражения, заимствованные из других, часто малоизвестных языков и употребляемые для придания речи особого (местного) колорита» [Розенталь, Теленкова 1985: 391—392]. В *Лингвистическом энциклопедическом словаре* слово *экзотизм* оказывается синонимом слов *этнографизм* и *регионализм*. Ссылки на эти термины приводятся в словарной статье «Заимствования», автор которой — И. Г. Добродомов. Заимствование определяется как «элемент чужого языка» (например, слово, морфема или синтаксическая конструкция), перенесенный из одного языка в другой в результате языковых контактов. При этом различаются заимствования, полностью усвоенные тем или иным языком, и заимствования, сохраняющие звуковые, грамматические или семантические следы своего иностранного происхождения. Среди последних и выделяются *экзотизмы*, отсылающие к понятиям, свойственным чужим народам или странам. В качестве примера *экзотизма* в *Лингвистическом энциклопедическом словаре* приводится слово *гуайява*, обозначающее плодовое растение из тропической Америки. Причем, как указывается далее, слова такого рода толкуются в словарях иностранных слов, и лишь часть их включается в общие словари [Добродомов 1990: 158].

Приведенный И. Г. Добродомовым пример с растением вовсе не случаен. Переходя от анализа семантического наполнения *экзотизма* как лингвистического термина к изучению его толкования как слова русского языка³ (вкуче с изучением се-

мантики слов *экзотика*, *экзотический*⁴ и т.д.), можно заметить, что в большинстве толковых словарей⁵ в качестве примеров *экзотики* или *экзотического* указываются именно растения, что отчасти может быть «оправдано» и исторически. Само слово *экзотизм* пришло в русский язык довольно поздно, во второй половине девятнадцатого столетия⁶, из немецкого языка (само же это слово — греческое по происхождению, означающее ‘чуждый, иноземный’) [Крысин 2007: 904]. Впервые оно фиксируется в *Полном словаре иностранных слов, вошедших в состав русского языка (составленном по образцу немецкого словаря Гейзе)* (1861) [Черных 1993: Т. II, 440]. В *Толковом словаре живого великорусского языка* В. И. Даля (первое издание которого относится к 1863—1866 гг.) слово *экзотический* определяется как «чужеземный, иноземный, из жарких стран, о растительности» [Даль 1994: Т. 4, 1529]. Впоследствии растения стали одним из любимейших примеров составителей словарей, указывающих на то, что в принципе может быть *экзотично*: укажем хотя бы на «экзотические растения», упоминаемые во множестве словарей [Булыко 2004: 674; Евгеньева 1981—1984: Т. 4, 748; Лопатин, Лопатина 1990: 683; Лопатин, Лопатина 1994: 808; Ожегов 1988: 739], на «растительную экзотику» [Ушаков 2000: Т. 4, 1398 и др.] и т.д.⁷

Уже в словаре Даля выделялась и «климатическая» составляющая значения слова *экзотический*: речь шла о жарком климате, стало быть, север экзотикой не считался. В последующих толковых словарях эта «климатическая составляющая» в семантике *экзотического* становится менее эксплицитной, однако до конца не исчезает. Например, в *Толковом словаре русского языка* под редакцией Д. Н. Ушакова в качестве примера толкования сочетания слов «экзотические страны» указываются «тропические страны с точки зрения европейца» [Ушаков 2000: Т. 4, 1398], а в *Большом словаре иноязычных слов* в качестве примера *экзотики* приводится «необычная природа <...> южных стран с точки зрения жителей Севера» [Булыко 2004: 673—674]. В *Словаре иностранных слов* в то же время *экзотика* определяется как «предметы, явления, черты чего-либо, свойственные отдаленным, например восточным, южным странам, районам...» [Лехин, Петров 1981: 586, см. также: Кондратьев 2006: Т. 60, 108]. Во многих словарях русского языка в качестве примера сочетаемости слова *экзотика* находим именно «восточную экзотику» [Гуськова, Сотин 2003: 836; Крысин 2007: 294; Лопатин, Лопатина 1994: 808; Макаренко и др. 1995: 487; Ожегов 1988: 739; Семенюк и др. 1994: 562]. Таким образом, получается, что ни на севере (как уже отме-

чалось), ни на западе экзотики нет⁸ — хотя, разумеется, географическая реальность часто не совпадает с ее же представлением в сознании говорящих. А столь любимые отечественными лексикографами *экзотические* растения произрастают, следовательно, лишь в не менее *экзотических* южных или восточных краях.

Слово же *экзот(ы)* (пришедшее в русский язык тем же путем, что и *экзотика* [Крысин 2007: 904]) отсылает не только к растениям, но и к «животным, ввезенным из стран с климатом, резко отличным от климата страны, в которую они ввезены» [Лехин, Петров 1981: 586; см. также: Булыко 2004: 674; Крысин 2007: 904 и др.]. «Лексикографическое» представление *экзотического*, таким образом, «расширяется», недаром еще одним частым примером того, что может быть *экзотическим* или представлять собой *экзотику*, в словарях является природа вообще, включая не только флору, но и фауну [Булыко 2004: 673; Введенский 1958—1961: Т. 10, 738; Горкин 1995: 793; Гуськова, Сотин 2003: 836; Евгеньева 1981—1984: Т. 4, 748; Ефремова 2000: Т. 2, 1045; Макаренко и др. 1995: 487; Прохоров 1986: 1542; Прохоров 2006: 1824; Семенюк и др. 1994: 562, *ССРЛЯ* 1948—1965: Т. 17, 1744; Ушаков 2000: Т. 4, 1398]⁹. Приведем в этой связи и следующее квази-тавтологическое определение *экзота*: «Экземпляр какого-нибудь экзотического растения или животного» [Ушаков 2000: Т. 4, 1398]. Впрочем, если в некоторых определениях *экзотов* «климатическая» составляющая семантики этого слова лишь подразумевается (*экзоты* — «ввезенные растения и животные, не характерные для местной флоры и фауны» [Введенский 1958—1961: Т. 10, 738]), в других определениях она оговаривается более детально: *экзот* — это «растение или животное, несвойственное данной местности, ввезенное откуда-либо (обычно из субтропиков или тропиков)» [Ефремова 2000: Т. 2, 1045, см. также: *ССРЛЯ* 1948 — 1965, Т. 17, 1744].

Стало быть, как и в случае с *экзотикой*, северные животные и растения *экзотами* «обычно» не являются. В качестве подтверждения этого предположения приведем более детальное определение *экзотов* с конкретными примерами таковых (речь идет о растениях, завезенных с юга или востока) из многотомной *Большой энциклопедии*, изданной в 2006 г.: *экзоты* — это «ввезенные виды растений и животных, несвойственные для местной флоры и фауны. *Обычно* (выделено нами. — *Е. В.*) под *экзотами* подразумеваются тропические и субтропические растения, ввезенные в страны с умеренным климатом, но ими являются и растения холодных стран, переселенные в тропи-

ки <...> Некоторые экзоты успешно акклиматизируются в новых условиях и могут расселяться далее без помощи человека. Так, введенные на Черноморское побережье мимозы (из Африки), эвкалипты (из Австралии), чайный куст (из Китая), юкки и агавы (из Мексики) вполне успешно акклиматизировались к местным условиям и возобновляются из семян и вегетативно» [Кондратьев 2006: Т. 60, 109]. А вот более редкий — и не столь же типичный с точки зрения семантики («климатическая» составляющая значения здесь скрыта) — пример употребления этого слова в художественной литературе: «Петр Максимович волновался из-за посадок “экзотов” — скорорастущих заморских деревьев: дугласовой пихты, канадского тополя и так называемой сосны Муррея» [К. Г. Паустовский, *Повесть о лесах*, цит. по: *ССРЛЯ* 1948—1965: Т. 17, 1744].

Если вернуться к лингвистической терминологии, то слова-экзотизмы как особый тип «иноязычий», с преимущественно «географическим» компонентом значения, имеют целый ряд признаков, выделяющих их среди других слов языка, чему посвящаются специальные исследования лингвистов. Так, как пишет, например, Е. В. Маринова, экзотизмы отличаются от неологизмов по признаку наличия / отсутствия соответствующего денотата в реальности, описываемой языком. Наличие денотата есть признак неологизма, а его отсутствие — признак экзотизма. При этом граница между экзотизмами и неологизмами подвижна, примерами чему изобилует язык постсоветской реальности: «...слова *бистро*, *гастарбайтер*, *доллар*, *импресарио*, *колледж*, *крутые*, *ленч (ланч)*, *марка*, *мафия*, *пиццерия*, *спикер*, *уикенд*, *шоп* ранее, в “доперестроечный” период, воспринимались и употреблялись как экзотизмы (чаще всего в переводной литературе); в настоящее время эти слова “обрусели”, а некоторые приобрели уже на русской почве новое значение, новый лексико-семантический вариант...» [Маринова 2003: 138—139]. Экзотизмы — преимущественно конкретные имена существительные, зачастую одушевленные. Стилистической их особенностью является то, что они практически не употребляются в разговорной речи. В словообразовательном аспекте они непродуктивны (за исключением их способности к образованию относительных прилагательных). Более того, повышение словообразовательной способности экзотизма указывает на то, что он перестает быть таковым, перестает обозначать понятие иной культуры и начинает употребляться в заимствующем языке в переносном значении (как, например, слово *зомби*, от которого в русском языке образованы слова *зомбировать*, *зомбирование*, *зомбированный*...). Типичным свой-

ством семантики экзотизмов является их моносемность: «Многозначность свойственна только тем словам, которые “перенесли” ее из языка-источника. Например, слово *арроба* имеет два значения: “единица массы в ряде стран Латинской Америки” и “единица объема и вместимости жидких и сыпучих веществ в тех же странах» [Там же: 140; см. также: Тимина 2005: 196]. Как синтагматические, так и парадигматические связи экзотизмов в языке ослаблены. Наконец, графически экзотизмы в русском языке часто выделяются курсивом или же пишутся латиницей. В качестве универсалии можно также указать и на частую вариативность в их написании, связанную с вариативностью звукового облика экзотизмов [Тимина *s.a.*].

Наконец, понятие *экзотизма* связано с понятиями *семантической* и *денотативной лакуны*, введенными этнопсихолингвистами (сошлемся прежде всего на исследования Ю. А. Сорокина, его учеников и последователей [Быкова 2005; Глазачева 2005; Пылаева 2005; Титова 2005 и др.]): «Лакуны являются своего рода синонимами специфических реалий, процессов, состояний, которые противоречат узуальному опыту носителя иного языка и культуры. К основным признакам лакуны можно отнести: непонятность, непривычность (*экзотичность* (выделено нами. — *Е. В.*)), чуждость (незнакомость) этих предметов и явлений для реципиента», для той «общей когнитивной базы», которая является общей для «представителей одного культурного сообщества» и содержит «национально детерминированные инварианты восприятия культурных предметов» [Глазачева 2005: 31–33]. Эти лакуны существуют в языке, заимствующем экзотизм, и «свидетельствуют об избыточности или недостаточности опыта одной лингвокультурной общности относительно другой» [Сорокин, Марковина 1988: 8]. В отношении экзотизмов речь заходит иногда и об *относительных лакунах*. «Ярким лингвистическим выражением слабой распространенности предмета в быту является экзотизм — семантически не ассимилированное слово <...> относительная лакуна» [Пылаева 2005: 57].

Казалось бы, все очень просто: *экзотизм* и *экзотика* — и как слово, и как термин — определяются прежде всего «географически», отсылая к тому, что присуще чужому народу, чужой культуре или чужой местности.

Однако существуют и другие, более неожиданные определения *экзотизмов*. Например, в университетском учебнике *Введение в языкознание* Ю. С. Маслова *экзотизм* как обозначение чужой действительности имеет прежде всего исторические коннотации. Термин *экзотизм* вводится здесь в разделе «Исторические изменения слов в словарном составе» [Маслов

2005: 212—229] и относится уже не к словам-заимствованиям, а к словам-историзмам — так определяются слова, исчезающие из языка вследствие исчезновения соответствующих денотатов¹⁰: «Историзмы продолжают употребляться, когда речь идет о прошлом, а также в специфическом “музейном” контексте. Некоторые из... слов (*соха, бердыш, колчан, дилижанс, конка, приказ, граф, статский советник, предводитель дворянства, городской, барин, лакей* [см.: Там же: 213]. — Е. В.), став в своих прямых значениях историзмами (или также “экзотизмами” — обозначениями чужой действительности), сохраняют переносные значения, часто с отрицательной коннотацией (как, например, слова *барин, лакей*)» [Там же: 214].

Таким образом, даже если *экзотизм* и продолжает пониматься как «обозначение чужой действительности», речь может идти не (только) о географии, но и об истории. Еще более очевидное «смешение» истории и географии обнаруживается в семантике понятия *экзотические языки*, часто встречающегося в работах по истории отечественной лингвистики — однако эта тема, как уже отмечалось¹¹, заслуживает отдельного исследования.

¹ Правда, это понятие не относится к числу *основных* лингвистических терминов — а потому встречается далеко не во всех книгах по лингвистике.

² Также затронутым в нашем докладе на конференции «Экзотизмы в русской культуре» (Москва, 2008) понятиям *экзотизмов, экзотического и экзотических языков* в работах русских ученых — специалистов по типологическим классификациям языков и истории лингвистических идей — мы посвятим отдельное исследование.

³ Впрочем, слово *экзотизм* в толковых словарях русского языка практически не встречается (в отличие от словарей других типов, например, *Словообразовательного словаря русского языка* [Тихонов 1985: Т. 2, 417] и др.). В качестве исключения из этого правила сошлемся на *Большой словарь иноязычных слов* [Булыко 2004: 673], где *экзотизм* определяется как: 1) «то же, что *экзотика*»; 2) (с пометой «лингв.») «заимствованное слово, обозначающее предмет или понятие, свойственные жизни других народов» [Булыко 2004: 673]. В *Словаре современного русского литературного языка* второе значение этого слова и вовсе не указывается: *экзотизм* — это «то же, что *экзотика*» [ССРЛЯ 1948—1965: Т. 17, 1744].

⁴ Укажем здесь и на названия словарных статей — словосочетания с прилагательным *экзотический* — в некоторых энциклопедиях и энциклопедических словарях (естественно, выходящих за рамки собственно лингвистической лексикографии): *экзотические скалы* [Гранат 1910—1948: Т. 51, 184], *экзотическая короткошерстная кошка, экзотический атом, экзотический утес* [Кондратьев 2006: Т. 60, 108—109]... Далее мы не будем специально заострять внимание на представлении слов *экзотика, экзотический, экзот* и *экзотизм* в словарях разных типов.

⁵ Большое количество словарей русского языка (как и их разных типов) и всевозможных энциклопедий, появившихся в России в течение последних десятилетий, делает практически невозможным исчерпывающее

описание представления соответствующих слов отечественными лексикографами — как это было бы возможно раньше с помощью сводных словарей (см., например, «пословарное» описание слов *экзотизм*, *экзотика*, *экзотический*, *экзотичность*, *экзотичный*, *экзоты* и *экзот*, представленное в *Сводном словаре современной русской лексики* [Рогожников 1991: Т. 2, 712]).

⁶ Укажем и на другую точку зрения, «задерживающую» появление этого слова в русском языке по меньшей мере на несколько десятилетий: согласно А. П. Гуськовой и Б. В. Сотину, слово *экзотика* пришло в русский язык «из западно-европейских языков» не раньше начала XX века [Гуськова, Сотин 2003: 836].

⁷ Отметим и приводимый в *Словаре современного русского литературного языка* литературный пример на слово *экзотический* — речь опять идет о растениях: «Листья их [ландышей] шириной чуть не в ладонь, цветы величиной чуть не в лесной орех создавали впечатление нездешнего, экзотического растения» [В. А. Солоухин, *Владимирские просеки*, цит. по: *ССРЛЯ* 1948—1965: Т. 17, 1746].

⁸ Неудивительно поэтому, что в некоторых словарях в качестве литературных примеров сочетаний со словом *экзотичный* ('экзотический') приводится именно описание «юго-восточного» климата, «теплого и сырого»: «Экзотика Гасан-Кули, однако, не в тиграх. Экзотичен воистину климат этих теплых и сырых мест, заросших, как плесенью, джунглями камышей» [П. А. Павленко, *Путешествие в Туркменистан*, цит. по: Евгеньева 1981—1984, Т. 4: 748; *ССРЛЯ* 1948—1965: Т. 17, 1746]. А в литературном примере «экзотической» страны в *Словаре современного русского литературного языка* указывается «юго-восточная» страна Индия: «Кто был мог подумать, что утонченный поэт, увлекавшийся в последнее время столь далекими от нашей современности экзотическими картинами Индии... и вдруг чтобы этот поэт написал такую.. вещь, как “Деревня”» [В. В. Воровский, *И. А. Бунин*, цит. по: *ССРЛЯ* 1948—1965, Т. 17: 1746].

⁹ Интересно, что и в любимом литературном примере авторов многих словарей русского языка на слово *экзотика* — цитате из И. Ильфа и Е. Петрова — первым фигурирует представитель животного мира. Это верблюд, «корабль пустыни»: «[За Оренбургом] они увидели первого верблюда, первую юрту и первого казаха в остроконечной меховой шапке.. Началась экзотика, корабли пустыни, вольнолюбивые сыны степей и прочее романтическое тягло» [И. Ильф, Е. Петров, *Золотой теленок*, цит. по: *ССРЛЯ* 1948—1965: Т. 17, 1744, см. также: Гуськова, Сотин 2003: 836; Семенюк и др. 1994: 562]; ср. также примеры с «соловьями» и «розами» в качестве *экзотик*: «Ах, ох, ширазские соловьи и розы Хороссана! [...] Хоробрых издевался над казенной восточной экзотикой» [К. Г. Паустовский, *Кара-Бугаз*, цит. по: Евгеньева 1981—1984, Т. 4: 748], а также тигра, подразумеваемого в качестве «экзотического животного» в приведенном выше литературном примере — отрывке из *Путешествия в Туркменистан* П. А. Павленко («Экзотика Гасан-Кули, однако, не в тиграх...», см.: примечание 8).

¹⁰ *Историзмы* противопоставлены здесь *архаизмам* — исчезнувшим из языка словам, денотаты которых по-прежнему существуют.

¹¹ См.: примечание 2.

Литература

Булыко 2004 — Булыко А. Н. *Большой словарь иноязычных слов*. Москва: Мартин, 2004.

Быкова 2005 — Быкова Г. В. *Лакуны в языковой картине мира амурчан* // Сорокин Ю. А. (отв. ред.) *Лакуны в языке и речи. Сборник научных трудов*. Вып. 2. Благовещенск: Издательство БГПУ, 2005. С. 25—31.

Введенский 1958—1961 — Введенский Б. А. (гл. ред.). *Малая советская энциклопедия*. В 10 т. М.: Государственное научное издательство «Советская энциклопедия», 1958—1961.

Глазачева 2005 — Глазачева Н. Л. *Лакуны и теория межкультурной коммуникации* // Сорокин Ю. А. (отв. ред.) *Лакуны в языке и речи. Сборник научных трудов*. Вып. 2. Благовещенск: Издательство БГПУ, 2005. С. 31—34.

Горкин 1995 — Горкин А. П. (гл. ред. изд-ва). *Иллюстрированный энциклопедический словарь*. М.: Научное издательство «Большая Российская энциклопедия» — Издательский дом «Эконом-газета», 1995.

Гранат 1910—1948 — *Энциклопедический словарь русского библиографического института братьев А. Н. и И. Н. Гранат*. М.: Редакция Русского библиографического Института Гранат, 1910—1948.

Гуськова, Сотин 2003 — Гуськова А. П., Сотин Б. В. *Популярный словарь русского языка (толково-энциклопедический)*. М.: Русский язык. Медиа, 2003.

Даль 1994 — Даль В. И. *Толковый словарь живого великорусского языка* (репринтное воспроизведение издания 1903-1904 гг., осуществленного под редакцией профессора И. А. Бодуэна де Куртенэ). М.: Издательская группа «Прогресс», «Универс», 1994.

Добродомов 1990 — Добродомов И. Г. *Заемствование* // Ярцева В. Н. (гл. ред.). *Лингвистический энциклопедический словарь*. М.: Советская энциклопедия, 1990. С. 158—159.

Евгеньева 1981—1984 — Евгеньева А. П. *Словарь русского языка*. В 4 т. М.: Русский язык, Полиграфресурсы, 1981—1984.

Ефремова 2000 — Ефремова Т. Ф. *Новый словарь русского языка (толково-словообразовательный)*. В 2 т. М.: Русский язык, 2000.

Кондратьев 2006 — Кондратьев С. А. (гл. ред.). *Большая энциклопедия*. В 62 т. М.: Терра, 2006.

Крысин 2007 — Крысин Л. П. *Толковый словарь иноязычных слов*. М.: Эксмо, 2007.

Лехин, Петров 1981 — Лехин И. В., Петров Ф. Н. *Словарь иностранных слов*. М.: Русский язык, 1981.

Лопатин, Лопатина 1990 — Лопатин В. В., Лопатина Л. Е. *Малый толковый словарь русского языка*. М.: Русский язык, 1990.

Лопатин, Лопатина 1994 — Лопатин В. В., Лопатина Л. Е. *Русский толковый словарь*. М.: Русский язык, 1994.

Макаренко и др. 1995 — Макаренко В. А. и др. *Краткий словарь современных понятий и терминов*. М.: Республика, 1995.

Маринова 2003 — Маринова Е. В. *Экзотическая лексика как лингвистический феномен* // *Вестник Нижегородского университета им. Н. И. Лобачевского*. Серия филология. 2003. № 1. С. 138—142.

Маслов 2005 — Маслов Ю. С. *Введение в языкознание*. СПб.: Филологический факультет СПбГУ — М.: Академия, 2005.

Ожегов 1988 — Ожегов С. И. *Словарь русского языка*. М.: Русский язык, 1988.

Прохоров 1986 — Прохоров А. М. (гл. ред.). *Советский энциклопедический словарь*. М.: Советская энциклопедия, 1986.

Прохоров 2006 — Прохоров А. М. (гл. ред.). *Большой российский энциклопедический словарь*. М.: Научное издательство «Большая Российская энциклопедия», 2006.

Пылаева 2005 — Пылаева О. Б. *Относительные этнографические лакуны* // Сорокин Ю. А. (отв. ред.) *Лакуны в языке и речи. Сборник научных трудов*. Вып. 2. Благовещенск: Издательство БГПУ, 2005. С. 55—60.

Рогожникова 1991 — Рогожникова Р. П. *Сводный словарь современной русской лексики*. В 2 т. М.: Русский язык, 1991.

Розенталь, Теленкова 1985 — Розенталь Д. Э., Теленкова М. А. *Словарь-справочник лингвистических терминов*. М.: Просвещение, 1985.

Семенюк и др. 1994 — Семенюк А. А. и др. *Лексические трудности русского языка. Словарь-справочник*. М.: Русский язык, 1994.

Сорокин, Марковина 1988 — Сорокин Ю. А., Марковина И. Ю. *Культура и ее психолингвистическая ценность* // Сорокин Ю. А. (отв. ред.) *Этнопсихолингвистика*. М.: Наука, 1988.

ССРЛЯ 1948—1965 — *Словарь современного русского литературного языка* [подготовлен коллективом авторов]. В 17 т. М.; Л.: Издательство АН СССР, 1948—1965.

Тими́на 2005 — Тими́на С. А. *Экзотическая лексика в дискурсе современной российской прессы* // *Русская филология и методика преподавания русского языка*. Тайбэй: Издательство Тамканского университета, 2005. С. 193—201.

Тими́на s.a. — Тими́на С. А. *Фонетико-графические особенности экзотизмов (на материале языка современной англоязычной прессы)* // <http://www.lingvomaster.ru/files/197.pdf>, sine anno.

Титова 2005 — Титова О. *Безэквивалентная лексика английского языка в лингвокультурологическом аспекте (на примере заимствования вьетнамских реалий)* // Сорокин Ю. А. (отв. ред.) *Лакуны в языке и речи. Сборник научных трудов*. Вып. 2. Благовещенск: Издательство БГПУ, 2005. С. 76—85.

Тихонов 1985 — Тихонов А. Н. *Словообразовательный словарь русского языка*. В 2 т. М.: Русский язык, 1985.

Ушаков 2000 — Ушаков Д. Н. *Толковый словарь русского языка*. В 4 т. М.: Астрель — АСТ, 2000.

Черных 1993 — Черных П. Я. *Историко-этимологический словарь современного русского языка*. В 2 т. М.: Русский язык, 1993.

С. В. Савинков

**ЖЕНЩИНА КАК ЭКЗОТИЧЕСКИЙ СУБЪЕКТ
И КАК ОБЪЕКТ ЭКЗОТИЧЕСКОГО ПЕРЕЖИВАНИЯ
В РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ И КУЛЬТУРЕ
НАЧАЛА XX ВЕКА**

I

Лилит и Ева как мечта и жизнь

Главная идея статьи Н. Врангеля «Любовная мечта современных русских художников. Мадонны» (ей открывался третий номер журнала Аполлон за 1909 год), состоит в том, что и в

литературе, и в изобразительном искусстве начала XX века грезы о женщине Рая воплощаются отнюдь не в образе девы Марии — «убранной ризами мечте с лицом земной женщины» — Евы, а в образе другой, той, которая, по одному преданию, была первой женой Адама, по другому — безобразным «демоном ночи»¹. Этот исконный «некрасивый» имидж Лилит сменила в романтическую эпоху на другой — прекрасной коварной соблазнительницы, сохранив, однако, свою внутреннюю сущность неизменной. Так что в той или иной степени печатью Лилит могут быть отмечены все относящиеся к разряду *роковых* литературные женщины: и *прекрасная как ангел* и *коварная как демон* царица Тамара, и, скажем, булгаковская Маргарита. Однако как та, кто обладает своим именем и своей судьбой, Лилит означала своим присутствием именно рубеж XIX—XX веков. Почему? Чем было вызвано притяжение к Лилит в эту эпоху?

Начать надо с того, что в литературу начала XX века Лилит вошла как выразительница противоположного Еве начала. Лилит — такой же антипод Евы, как мечта — действительности. Поэтому притяжение к Лилит — это обратное выражение отталкивания от Евы-жизни как от того, что, как выразился Н. Врангель, «всегда с нами» так же, как и обыденное, размеренное, привычное, здоровое. Неприятие Евы могло обретать разную степень накала и разные формы выражения — от тихой романтической тоски по неземному, лунному (и тогда Лилит начисто утрачивала свои демонические очертания и приобретала вовсе ей по традиции несвойственные — мягкие, лунные, эфемерные: «И вся она была легка, / Как тихий сон, — как сон безгрешна, / И речь ее была сладка, / Как нежный смех, — как смех утешна»²) — до резкого отторжения: «Я не хочу ее объятий, / Я ненавижу прелесть жен, / Я властью неземных заклятий / Заворожен»³. Зачастую у Мечты-Лилит наблюдается декадентский оттенок, который Врангелем прежде всего и отмечается: «В живописи еще ярче, чем в литературе, вырастает новый тип желанной женщины, больной мечтательной и грустной, смесь сентиментализма, времен «Бедной Лизы» с порочными мечтами современности. И странное сочетание греха и наивной чистоты производит острое и щемящее мечтание»⁴.

Однако в данном случае речь идет не просто о мечте и действительности, а о мечте под знаком Лилит и действительности под знаком Евы, и при этом не о традиционном между ними противостоянии. Все дело в том, что Лилит — лунная дева не по природе, а по обстоятельствам: она *стала* лунной, хотя могла бы стать и земной. И вот это — «могла бы» — как раз и придает переживанию человека рубежной эпохи новое,

неведомое романтической грамматике переживания, сослагательное наклонение. Появление Лилит на небосклоне рубежной эпохи и было вызвано тем особым ее (эпохи) состоянием, когда человек испытывал неизбежное томление и тревогу от гнетущей мысли об упущенной им некогда возможности, от гнетущего ощущения, что он по каким-то непонятным причинам выпустил из рук то, что могло бы стать для него, но так и не стало самым главным и ценным.

Человек эпохи *fin de siècle* живет с ощущением совершившейся подмены. Место, предназначавшееся для одной, оказалось занято другой. «Отчего ты не со мною, полуночная Лилит?»⁵ — от лица Адама вопрошает лирический герой Ф. Сологуба. А у Марины Цветаевой современному Адаму вопрос задается от лица самой Лилит: отчего ты променял меня на Еву? Цветаевская «Попытка ревности» — это ряд безответных вопрошаний оскорбленной, униженной и потерянной Лилит к тому, кто ей предпочел другую: «Как живется вам с чужою, здешнюю...? <...> Как живется вам с подобием...? <...> Как живется вам с товаром рыночным...? <...> Как живется вам с сто-тысячной — / Вам, познавшему Лилит?»⁶.

И в этом случае Лилит становится выражением не того, что упускают, а того, от чего отказываются и что игнорируют, не осознавая, что утрачивают, когда делают свой выбор в пользу другой, в пользу обыденно-земной Евы. А утрачивают, как писала Марина Цветаева, только одно — *шестое чувство*, но вместе с ним — высоты Синая и Каррары.

II

Первая жена

Предопределенное Лилит первенство не могло не сказаться на ее культурной и литературной судьбе в эпоху рубежа веков. По легенде статус Лилит как первой жены обуславливается не только временным фактором, но и тем, что Лилит была сотворена Богом не из ребра, как Ева, а из той же глины, что и Адам. Отсюда и ее притязания в отношениях с противоположным полом если не на первенство, то на безусловное с ним равенство и — соответственно — на личную свободу, в том числе и на свободу самовыражения. В литературе эпохи *fin de siècle* такая свобода (давшая толчок развитию феминистского движения) означалась не только появлением мощного и самобытного пласта женской поэзии, но и отчетливо проявившейся в ней тенденции к сафической женственности и любви. «Я вас люблю, — начала свое первое стихотворение из цикла «Подруга» Марина Цветаева, а завершила так: «За эту дрожь,

за то — что — неужели / Мне снится сон? — За эту ироническую прелесть, / что **Вы — не он**»⁷. Вся любовная лирика Софии Парнок с такой же «иронической прелестью» говорит о предмете своей любви, который отнюдь «не он».

Однако в этой «прелести» есть и оттенок страдательности. Сама возможность такой подмены — «Вы не он» — во многом и могла состояться только потому, что тот, кто скрывается за местоимением «Он», предпочел единственную, неповторимую, «нечислимую» Лилит, с которой Марина Цветаева себя отчасти и отождествляла — *сто-тысячной* Еве. В письме к Борису Пастернаку она признаётся: «Борис, а ты помнишь Лилит?.. Твоя тоска по мне — Тоска Адама по Лилит, по — первой и нечислящейся. (Отсюда моя ненависть к Еве!)»⁸.

Вопреки традиции, в литературе начала XX века Лилит воспринимается и воссоздается как фигура страдательная. И приданию ей именно такого облика и положения много способствовал один из главных в России зачинателей моды на декадентство в литературе и в жизни — «колумб лунности, духом своим создавший мечту — Лилит»⁹ — Федор Сологуб.

В творчестве Сологуба страдательное положение Лилит как раз и обуславливается предопределенной ей судьбой миссией стать **первой** женой Адама. Главными ее качествами оказываются не гордыня и своеволие мифической Лилит, которая со смехом покидает Адама, не желая оставаться при нем на вторых ролях, а — смирение и покорность. Эта *другая* первая Лилит и приходит к Адаму как будто только для того, чтобы уйти и освободить место его второй и законной жене — Еве. Ее первенство проходит под знаком непрочности и недолговечности: «Когда померк лазурный день, / Когда заря к морям склонилась, / Моя Лилит прошла как тень, / Прошла, ушла, — навеки скрылась»¹⁰. В этом стихотворении Сологуба идиллия первозданных отношений Адама и Лилит заканчивается неожиданно-коварным и грубым вторжением в нее Евы: «И не желать бы мне иной! (речь идет о Лилит.— С. С.) / Но я под сенью злого древа / Заснул... проснулся, — предо мной / Стояла и смеялась Ева...»¹¹. Неизбывная и незабвенная память о первой жене поселяет в первом человеке тягу к несбыточному, иному, ускользающему, эфемерному, — ко всему тому, что имеет очертания лунной мечты. Он так и оказывается вынужденным жить со второй женой, но мечтать о первой, далекой, запредельной, недосыгаемой.

Подобные Лилит, первые жены сологубовских произведений (таких, как «Помнишь, не забудешь» или «Звериный быт»), как им и положено, — недолговечны. Короткое вре-

мя своей жизни они проживают, ничем не докучая, никогда не укоряя и ничего для себя не желая. Но при таком отречении от жизни (сначала — повседневном, а со смертью — абсолютном), они, как не устает повторять Сологуб, обладают такой над ней (жизнью) дивной властью, преодолеть которую не может никакая земная сила. Власть эта дивная потому, что она — власть вечная, а вечная — потому, что обладают ей «отшедшие от жизни». Вечная, неизменная, не знающая ни умалений, ни возрастаний, любовь сологубовских первых жен оказывается сильнее смерти так же, как их вознесенная над жизнью красота. В сологубовской мечте о Лилит улавливается и цветаевская тоска по утраченному андрогинному единству, сопряженная с граничащими между собой негодованием и недоумением по поводу совершившейся подмены: почему то, что должно было быть близким, стало далеким, а то, что должно было бы быть далеким, стало близким: «Отчего ты не со мною, полуночная Лилит?»

III

Лилит как первая любовь

В грамматике переживания эпохи *fin de siècle* несовершенный вид был предпочтен совершенному, а первая, не имеющая продолжения любовь, — второй.

Герой поэмы И. Северянина «Роса оранжевого часа» говорит о своей первой любви как о мечте, которой суждено было остаться только мечтой. Его первая любовь, которую он зовет «моя Лилит», дала ему предвкушение рая, но рая с изначально закрытыми для него дверями: «“Милый, ты не прав: / Так ты любить меня не можешь... / Не смеешь... ты не должен... ты / Напрасно грезишь и тревожишь / Себя мечтами: те мечты, / Увы, останутся мечтами, — / Я не могу... я не должна / Тебя любить... ну, как жена...” — / И, подойдя ко мне, устами / Жар охлаждает мой она, / Меня в чело целуя нежно, / По-сестрински, и я навзрыд / Рыдаю: рай навек закрыт»¹².

Лилит-мечта откровенна и благожелательна. Она не обманывает и не прельщает. Она не скрывает своей недоступности. Лилит-греза ведет себя куда более изощренно: до самой последней предельной грани она обольщает и прельщает своей **как бы** доступностью.

В отличие от северянинской, набоковская Лилит¹³, обещающая уже после смерти реализовать первое заветное желание, первый зов пола, доводит человека до пика райского блаженства и, доведя, низвергает в пропасть тем, что почти осуществившемуся так и не дает осуществиться до конца. И тогда

тот, перед кем в самый последний момент закрываются двери рая, в полной мере осознает, что такое ад. «И обольстителен и весел / был запрокинувшийся лик, / и яростным ударом чресел / я в незабытую проник... / и, полон сил, на полпути к блаженству, я ни с чем остался <...> «Впусти»<...> Молчала дверь <...> И перед всеми / мучительно я пролил семя / и понял вдруг, что я в аду»¹⁴.

Значительно позже в романе «Лолита» Набоков воспроизведет сюжетную ситуацию своего стихотворения, но конечные акценты расставит иначе. Его герой будет проникнут маниакальной идеей завершить то, что не подлежит завершению. Лолита появится в жизни героя как реинкарнация той первой из его детства Анабеллы, которая (по примеру сологубовских первых жен), рано уйдя из жизни и так и не став для него ни женщиной, ни женой, оставила ощущение непостижимого и до конца недостижимого блаженства: «Духовное и телесное сливалось в нашей любви в такой совершенной мере, какая и не снилась нынешним на все просто смотрящим подросткам... Долго после ее смерти я чувствовал, как ее мысли текут сквозь мои. Задолго до нашей встречи у нас бывали одинаковые сны. Мы сличали вехи. Находили черты странного сходства»¹⁵.

Неизбывная память о таком почти андрогинном слиянии порождает у героя Набокова навязчивую идею, что снова испытать это блаженство возможно не со взрослой женщиной, а только с пребывающей на грани полудетскости и полувзрослости, недоразвившейся нимфеткой: «Гумберт был вполне способен иметь сношения с Евой, но Лилит была той, о ком он мечтал»¹⁶. В отличие от героя стихотворения Гумберт, взрослый и опытный, Лолиты добивается, но не добивается осуществления мечты. Чаемого равновесия между духовным и чувственным не возникает, а возникает другое: голая чувственность, обнаженная похоть и духовное начинают сосуществовать в никогда не совместимой отдельности, не дополняя, а подменяя друг друга, и в такой уродливой подмене и заключается подлинная извращенность такого состояния. Герой теперь — не тот невинный Гумберт-подросток, а Лолита — не та подарившая ему свою первую любовь невинная Анабелла, и даже не Лилит, которая, всегда оставаясь первой, никогда не становится второй — Евой.

То, чего набоковский Гумберт так боялся (и в то же время жаждал как избавления), в конце концов свершается: Лолита переходит ограничивающую жизнь нимфетки временную черту и становится Евой, которую Гумберт отыскивает как раз в ту пору ее женской жизни, когда беременность грубо иска-

зила ее нимфеточный образ — с откровенной брюхатостью, с побледневшими веснушками и впалыми щеками. Но именно теперь он открывает в ней другую, всегда в ней бывшую, но никогда им ранее не замечаемую красоту не Венеры Урании и не Венеры Пандемос, а бледную и оскверненную с чужим ребенком под сердцем, но одновременно и миндально-прекрасную: «Мне стало ясно только теперь — в этот безнадежно поздний час жизненного дня — как она похожа — как всегда была похожа — на рыжеватую Венеру Боттичелли»¹⁷.

IV

Ева или Лилит

«Ева или Лилит» — стихотворение Николая Гумилева, в котором разделительный союз указывает на еще один важный пункт в грамматике переживания переходной эпохи: это «или» не столько прочерчивает разделительную черту, сколько лишает ее четкости и определенности. Поэтому-то героиня этого стихотворения и оказывается не в состоянии со всей определенностью сказать о себе, кто она: «Ты еще не узнала себя самое. Ева ты или Лилит?». И хотя, в отличие от не раз слышанных рассказов о праматери Еве-хранительнице очага, сказаний о Лилит гумилевская дева не знает, ее не покидает чувство родственной к ней близости. Ее сердце болит не *о детях, стаде овец, и картофелю*, а «по душе окрыленной и вольным садам», по тому экзотически-привлекательному, чего нет у Евы и что есть у Лилит («У Лилит — недоступных созвездий венец, В ее странах алмазные солнца цветут»¹⁸). Окончательное же узнавание себя как Лилит (или — в себе Лилит) у гумилевской девы должно произойти тогда, когда в ее жизни появится тот, у кого сердце окажется не цветком, а метеором: «О, когда он придет, Тот, кто робкое, жадное сердце твое Без дорог унесет в зачарованный грот?... / Если надо, он царство тебе покорит, / Если надо, пойдет с воровскою сумой». Герой, у кого «в душе звездно от дум и страстей», явится и сумеет защитить Лилит от Евы: «Но всегда и повсюду — от Евы Лилит / Он тебя сохранит от тебя же самой»¹⁹.

Понятно, что двойственность гумилевской героини не-сколько иного свойства, чем, скажем, та, которая наблюдается у лицемерных лермонтовских дев. Она коренится не на обмане или обманчивости («Прекрасна, как ангел небесный, / Как демон коварна и зла»), ее исток — изначально противоборствующее двоеначалие женской природы. И даже тогда, когда победу одерживает Ева, нет никакой гарантии, что Лилит теперь никогда не пробудится и о себе не заявит. Эта тема

получает у Гумилева развитие в стихотворении «Сон Адама». А. Ахматова прокомментировала ее так: «В «Сне Адама» опять эта «проблема женщины» (Ева и Лилит — святая и блудница). И ужас: «Чужая, чужая!»»²⁰.

В этом «Сне...» заснувшему у древа познания первому человеку привиделся кошмар об ожидающем его будущем. И средоточием его стали для Адама даже не тяготы и лишения, а мучительное сомнение в том, что ему дано знать ту женщину, которая рядом с ним, знать наверняка, что она есть именно она, а не другая, что она своя, а не чужая. В отсутствии такой определенности весь ужас любви для Гумилева и заключается²¹. «И кроткая Ева, игрушка богов, / Когда-то ребенок, когда-то зарница, / Теперь для него молодая тигрица, / В зловещем мерцании ее жемчугов, / Предвестница бури, и крови, и страсти, / И радостей злобных, и хмурых несчастий». Кара Адама — пребывать в изнуряющей и бесплодной борьбе за присвоение того, что ни при каких условиях не может быть окончательно присвоено: «Он борется с нею. Коварный, как змей, // Ее он опутал сетями соблазна. / Вот Ева — блудница, лепечет бессвязно, / Вот Ева — святая, с печалью очей. / То лунная дева, то дева земная, / Но вечно и всюду чужая, чужая»²².

V

Саломея: Ева и Лилит

Всеобщему увлечению Саломеей в России начало положил перевод пьесы О. Уайльда, сделанный К. Бальмонтом и опубликованный в 1904 г. И в этом увлечении, как известно, и нашли наиболее яркое выражение черты философии личности эпохи «fin de siècle» — «прекрасный» демонизм, эстетический аморализм, телесная чувственность.

Предмет и характер влечения к телесному началу во многом сформировались под мощным напором ницшеанской философии с ее стержневой идеей непосредственного общения с универсумом. Согласно этой идее, контакт такой степени близости возможно достичь только в особом состоянии дионисийского «опьянения», в экстатическом танце, где тело, доверившись непосредственному переживанию вещей, собственной пластикой воссоздает колышание мировой стихии. «Человеческое тело, в котором снова оживает и воплощается как самое отдаленное, так и самое ближайшее прошлое всего органического развития, через которое как бы бесшумно протекает огромный поток, далеко разливаясь за его пределы, — это тело есть идея более поразительная, чем старая душа»²³.

Дионисийская связь с универсумом разрушает автономию приватного мира, выделенность персонального существования из всеобщего, оно превращает человека в составляющее мировой, не разгороженной на частные явления, жизни. Дионисийское «опьянение» переживается непосредственно, его нельзя «сообщить» другому, в него можно только вовлечь. Образцом способности такого вовлечения в искусстве стала Саломея, а в жизни Айседора Дункан.

В «вихре Саломеиной пляски»²⁴ стираются границы между прошлым и будущим, между моральным и аморальным, между любовью и смертью.

Но там, где Саломея, там не только пляс, там и голова Крестителя, там и акт ее отсекования от тела. Возбужденное Саломеиной пляской всеобщее вовлечение в пространство бытийной нерасчлененности венчается на пике его экстаза актом, у основания которого также стоит Саломея, — актом отсекования. Характер осмысления этого действия (при всей вавилонской пестроте интеллектуальной жизни эпохи *fin de siècle*) оказывается так или иначе в зависимости от того, что акцентируется — голова без тела или тело без головы. У символиста Блока, к примеру, акцент делается на голове, а у авангардиста Маяковского — на теле.

Саломея Блока²⁵, как было отмечено, обнаруживает очевидное сходство с Иродиадой Малларме из прославленного короткого стихотворения «*Cantique de Saint Jean*» («Песня Иоанна Крестителя»)²⁶. В нем обезглавливающая муза высвобождает голос поэта: голова Крестителя, лишенная телесности, говорит прекрасными стихами и становится голосом чистой поэзии. Ироида Малларме (действуя «против природы», лишая поэта его мужского естества, избавляя его голову от телесной истории) дает возможность состояться поэзии.

У Маяковского же по отношению к Блоку все движется противоположно. В поэме «Облако в штанах» на первый план выступает тот, тело которого корчится, ломается, тот, кто уже не хочет быть ни железной громадой, ни лишенным мужской плоти «облаком в штанах», тот, чья роль в эпоху революций уподобляется роли Иоанна-предтечи, а значит и его судьбе. И этот тот у Маяковского жаждет и просит живого женского тела так, как христиане просят насущного хлеба — тела Христова, или он просит его так (и эта проекция тоже подспудно напрашивается), как Саломея просит голову Иоканаана: «Мария! / Поэт сонеты поет Тиане, / а я — весь из мяса, / человек весь — / тело твое просто прошу»²⁷. О том, что комплекс Саломеи является одним из оптических фокусов поэмы Маяковского ста-

новится понятным ближе к ее финалу, где в поле семантических соответствий, пересечений и отражений оказываются земля, уподобленная голове Иоанна-Крестителя, солнце, уподобленное Иродиаде и ее танцу и кровоточащее сердце поэта: «Кровью сердца дорогу радую, / липнет цветами у пыли кителя. / Тысячу раз опляшет Иродиадой / солнце землю — / голову Крестителя. / И когда мое количество лет / выпляшет до конца — / миллионом кровинок устелется след / к дому моего отца»²⁸.

Вопрос о связи духа и материи, срастаясь в эпоху *fin de siècle* с мотивико-смысловой структурой Саломеиного комплекса, репрезентирует себя как вопрос о связи *головы* и *тела*. Голова, орган интеллекта и духа, смысливается как то, что отсекает человека от природы, тело же — как то, что изначально его с ней связывает: голова без тела как дух без материи, тело без головы как материя без духа. Все возможные варианты сочетаний, размещений и перестановок этих двух элементов в эпоху *fin de siècle* тщательно перебираются, перебираются и все возможные их интерпретации.

Саломеин комплекс и его проблематика получают любопытное преломление в романе А. Р. Беляева «Голова профессора Доуэля», где в жанре научной фантастики будут продемонстрированы все связанные с ним концепты. Установка на сохранение жизни человека как на спасение его интеллекта представится в романе Беляева дьявольским вызовом божьему творению. Вместе с телом от человека отсекается и весь мир, связь с которым и есть на самом деле то, что определяется словом «жизнь». И профессор Доуэль, чья прежняя жизнь, как казалось, была сконцентрирована исключительно на голове — «аккумуляторе творческой энергии», и трудяга Том, чья прежняя жизнь была завязана на теле, потеряв связь с миром, испытывают одни и те же *головные* муки. Среди мужских голов у Беляева окажется и женская (это будет специально обыграно: «На блюдо попала голова не только Иоанна, но и самой Саломеи»²⁹), к которой приставят чужое ей тело. Прижиться чужеродные элементы так и не смогут, но читателю в итоге станет окончательно понятным, что тело и голова не части, а одно неделимое целое, и что у каждого тела должна быть своя голова, а у каждой головы — свое тело. Когда эта, казалось бы, простая мысль наполнится для главной героини смыслом, она испытает чувство неизмеримого счастья: «Потом вдруг Мари начала хватать свои плечи, колени, руки, гладила себя по груди, запускала пальцы в густые волосы и шептала: — Боже мой! Как я счастлива! Как много я имею! Какая я богатая! И я не знала, не чувствовала этого!»³⁰.

Проблема уравниваемости материи и духа и проблема женщина выступают в эпоху *fin de siècle* в качестве своеобразной метонимической пары.

В Женщине живут и Ева, и Лилит как два противоположных (одновременно и друг к другу притягивающихся, и друг от друга отталкивающихся) противоборствующих начала. Ева представляет тело, Лилит — дух. До времени они уравниваются друг друга. Но при определенных условиях Лилит так сопрягается с Евой, что женщина превращается в Саломею. Ее экстатический танец как раз и знаменует, что сопряжение тела и духа, Лилит и Евы достигло высшей степени единства, при котором совершается прорыв туда, где торжествует жизнь в ее всеобщем нерасчленимом единстве. Однако вместе с чудной девой можно оказаться за чертой нормального и с противоположной стороны — там, где происходит не слияние тела и духа, а их распад. Самое же опасное, что таит в себе женщина, это незаконность ее «кинематики»: иногда достаточно одного неловкого движения, чтобы обычная Ева превратилась в экстатичную Саломею, а затем — столь же непредсказуемо — в вампирическую Лилит.

В этом отношении очень показательна пьеса Л. Андреева «Екатерина Ивановна», в которой то опасное, что таит в себе женская природа, балансирует на грани между мистикой и клиникой. В этой пьесе ее главная героиня этой пьесы претерпевает превращение из кроткой и целомудренной Евы в демоницу. Начало такому превращению Екатерины Ивановны положил ее муж, который в порыве ревности и в состоянии аффекта чуть-чуть не убил свою жену. Однако не попав в ее тело, он попал в ее чистую душу. И та, кто была кроткой и верной Евой с задатками Саломеи (в портретном описании, которым наделяет Л. Андреев свою героиню, особое внимание уделяется ее пластичной танцующей походке и устремленным вверх напоминающим крылья рукам), превращается не в Саломею, а в ее двойника, у которого от подлинной Саломеи сохраняется только ее тело (ср. реплику одного из персонажей: «...вы не вакханка. Вы что-то мертвое, умершее, и вы развратничаете или начинаете развратничать во сне!»³¹).

О том, что Екатерина Ивановна не Саломея, а ее двойник, красноречивее всего свидетельствует ее неумение танцевать. Ее танец — не танец, где сливаются и обнажаются в экстазе душа и тело, он представляет собой бесстыдное ломание голого тела, которым движет не душа, а какая-то неведомая, мертвая сила: «Екатерина Ивановна как-то странно вскри-

кивает, кружится, беспомощно и дико взмахивая руками, и сразу останавливается в позе бесстыдного вызова. Губы ее слегка приподняты злой улыбкой, глаза смотрят презрительно и нагло»³². При этом блюдо, которое она держит в руках, остается пустым. В отличие от подлинной Саломеи, которая жаждет увидеть на нем голову Иоканаана, Екатерина Ивановна готова на своем блюде увидеть какую угодно голову: ее танец становится не апофеозом нерасчлененности жизненной полноты и любви, а апофеозом неразборчивости смерти и похоти. При этом, однако, все что происходит с Екатериной Ивановной в подаче Л. Андреева есть нечто такое, о чем невозможно судить с помощью такой грамматической конструкции, как «это есть то». Судить о происходящем оказывается возможным не иначе так, как это делает один из героев пьесы — «то ли это, то ли то»: «В Катерине Ивановне слишком много этого — как бы тебе выразиться, чтобы не соврать? — женского, женственного, ихнего, одним словом. Пойми ее, чего ей надо? Ну, скажем, иду я, мужчина, в царствие небесное, и так всем об этом говорю, и так все это и видят: вот человек, который идет в царствие небесное. А женщина? — черт ее знает, куда она идет! То ли она распутничает, то ли она молится своим распутством или там упрекает кого-то... вечная Магдалина, для которой распутство или начало, или конец, но без которого совсем нельзя, которое есть ее Голгофа, ее ужас и мечта, ее рай и ад...»³³.

В беседах с Н. Г. Молострова с А. А. Волынским об Айседоре Дункан одним из участников диалога высказывается опасение, что из-за того, что танец Дункан не совершенен, не случится ли так, что его изыяны станут той «ахиллесовой пятой», «которая в конце концов погубит и все то идейное, что влечет к ее плясу... и без чего Дункан была бы просто модным экзотическим «great attraction»...»³⁴. Заметим, об экзотическом здесь говорится не как об антитезе национальному, своему, а как об антитезе идейному, внутреннему, глубинному. Весьма знаменательно, что густо наделенный ориентальной экспрессией и колористикой танец Дункан, как и, разумеется, танец Саломеи, для эпохи *fin de siècle* не только не является высшим выражением понятия экзотического (как, к примеру, он представляется в *L'Orient* Теофила Готье или в *Voyage en Orient* Жерара Нерваля), но даже и принципиально ему противопоставляется. Семиотика здесь другая: полуобнаженная и босая Айседора Дункан; Ида Рубинштейн, напоминающая египетскую мумию в балете Фокина «Ночь Клеопат-

ры»; Н. Волохова, девственница-убийца, в постановке *Саломеи* Н. Евреиновым; блоковская Незнакомка, сквозь современное лицо которой просвечивает древняя Дева; обладающая монструальными чертами Саломея Обри Бердсли; фантастические декорации и костюмы Льва Бакста — все это, не только явно, но даже и вызывающе экзотическое, стремится заявить о том, что экзотическим не является.

Литература и культура начала XX века использует язык экзотической образности для того, чтобы сказать о своей (не предполагающей никакого членения — ни временного, ни пространственного, ни исторического, ни этнографического) универсальности. Это тот случай, когда в полной мере и обнаруживается то глубинное назначение экзотизма, которое состоит в «отрицании любой исторической конкретности»³⁵. На языке экзотических образов эпоха *fin de siècle* говорит не о границах, пролегающих между *своим* и *чужим*, а об универсуме (и о женщине как о его метафорическом и одновременно метонимическом двойнике), который невозможно считать ни своим, ни чужим, потому что он заключает в себе и то, и другое. И задача состоит в том, чтобы либо суметь успеть ухватить *свое* в тот момент, когда оно еще не сделалось *чужим*, либо, сумев отличить *свое* от *чужого*, сделать правильный выбор, либо попытаться *чужое* привлечь на свою сторону и сделать его *своим*, либо постараться между *своим* и *чужим* найти их уравнивающую точку.

На фоне экзотических декораций в движениях экстатического танца с семью покрывалами Саломея сбрасывает их с себя, символически высвобождаясь от наслоений культуры и истории, и обозначает свою наготу, себя, свою двойственную женскую природу как единственный, подлинный и исконный экзотический субъект и объект экзотического переживания.

И снова, и всегда перед Адамом, как бы сказала А. Ахматова, «эта «проблема женщины» (Ева и Лилит — святая и блудница). И ужас: «Чужая, чужая!»»³⁶

¹ Врангель Н. Н. Любовная мечта современных русских художников // Аполлон. 1909. № 3. С. 32—45.

² Сологуб Ф. Собр. соч. В 8 т. М., 2004. Т. 7. С. 140.

³ Там же. С. 151.

⁴ Врангель Н. Н. Любовная мечта современных русских художников... С. 38.

⁵ Сологуб Ф. Указ. соч. Т. 7. С. 492.

⁶ Цветаева М. Собр. соч. В 7 т. М., 1994. Т. 2. С. 242—243.

⁷ Цветаева М. Указ. соч. Т. 1. С. 216.

⁸ Цветаева М. Указ. соч. Т. 6. С. 244.

⁹ Так окрестила Ф. Сологуба одна из его многочисленных поклонниц и корреспонденток. См.: *Мисникевич Т. В.* Федор Сологуб, его поклонницы и корреспондентки // Эротизм без берегов. Сборник статей и материалов. М., 2004. С. 374.

¹⁰ *Сологуб Ф.* Собр. соч. В 8 т. М., 2004. Т. 7. С. 140.

¹¹ Там же. С. 141.

¹² *Северянин И.* Стихотворения и поэмы. М., 1990. С. 323.

¹³ Речь идет о героине стихотворения «Лилит» из книги В. Набокова «Poems and problems».

¹⁴ *Набоков В.* Стихотворения и поэмы. М., 1997. С. 259.

¹⁵ *Набоков В.* Собр. соч. американского периода. В 5 т. СПб., 1999. Т. 2. С. 23.

¹⁶ Там же. С. 30.

¹⁷ Там же. С. 311.

¹⁸ *Гумилев Н.* Сочинения. В 3 т. М., 1991. Т. 1. С. 449.

¹⁹ Там же. С. 450.

²⁰ *Ахматова А.* Собр. соч. В 6 т. М., 2001. Т. 5. С. 121.

²¹ О «Романтических цветах» Н. Гумилева Ахматова сказала так: «В этой книге весь ужас этой любви — все ее кошмары, бред и удушье. Призрак самоубийства неотступно идет за Поэтом... К этому времени Она становится для поэта — Лилит, т.е. злым и колдовским началом в женщине. Он начинает прозревать в ней какую-то страшную силу». (См.: *Ахматова А.* Собр. соч... Т. 5. С. 115.)

²² *Гумилев Н.* Сочинения. В 3 т. М., 1991. Т. 1. С. 121.

²³ *Ницше Ф.* Воля к власти. М., 1994. С. 324.

²⁴ «...вихрь Саломеиной пляски» — выражение А. Ахматовой, которую она использует в «Поэме без героя».

²⁵ Об образе Саломеи в творчестве Блока см.: *Матич О.* «Покровы Саломеи: Эрос, смерть и история» // Эротизм без берегов. Сборник статей и материалов. М., 2004.

²⁶ Это стихотворение относится к третьей части Иродиады, начатой Малларме в 1864 г. Впервые оно было напечатано в 1913 г., через много лет после смерти Малларме.

²⁷ *Маяковский В.* Полн. собр. соч. В 13 т. М., 1955. Т. 1. С. 193.

²⁸ Там же. С. 194.

²⁹ *Беляев А. Р.* Собр. соч. В 9 т. М., 1993. Т. 1. С. 28.

³⁰ Там же. С. 18.

³¹ *Андреев Л. Н.* Драматические произведения. В 2 т., Л., 1989. Т. 2. С. 112.

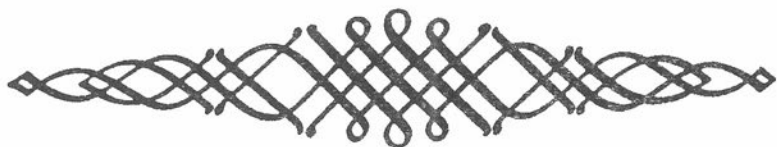
³² Там же. С. 127.

³³ Там же. С. 118.

³⁴ *Молостров Н. Г.* Айседора Дункан (Беседа с А. А. Волинским). СПб., 1908. С. 6.

³⁵ Так определил глубинное назначение экзотики Р. Барт в одном из разделов своих Мифологий. См.: *Барт Р.* Мифологии. М., 2008. С. 236—237.

³⁶ *Ахматова А.* Собр. соч... Т. 5. С. 121.



ЛИТЕРАТУРА В ДВИЖЕНИИ ЭПОХ

Е. Р. Пономарев
ЕВРОПЕЙСКИЙ АНТИПУТЕВОДИТЕЛЬ
Германия в советских травелогах
первой половины 1930-х годов

Антипутеводитель — особый, редкий жанр, востребованный определенными эпохами. Он сродни антирекламе, ибо рассчитан на негативную реакцию читателя. Советская литература адаптирует этот жанр в 1930-е годы.

Путешествие советского писателя на Запад прошло несколько этапов развития. В первой половине 1920-х годов это был агитационный текст, приветствовавший приближение всевропейской революции. Во второй половине 1920-х годов его сменил путеводитель по Европе, ориентированный на читателя, который никогда не поедет в Европу. Таких книг-путеводителей было создано немало: «Под куполом» О. Д. Форш, «Америка в Париже» В. М. Инбер, «Вокруг Парижа (Воображаемые прогулки)» Л. В. Никулина, «Виза времени» И. Г. Эренбурга и т.д. В спокойном тоне книги перечисляли парижские и европейские достопримечательности, не забывая указывать на то, что жизнь Запада организована менее разумно, чем жизнь Советской страны. С началом 1930-х годов сложившийся «мирный» путеводитель начинает разрушаться — под воздействием внешних причин (мировой экономической кризис, победа нацистов на выборах в Германии), но также и по причинам внутренним: обстоятельный рассказ о западных достопримечательностях себя исчерпал. За несколько лет советский человек достаточно прочитал о капиталистических странах: путеводители 1920-х различались лишь оттенками изображения западной жизни. Жанру требовался сюжет — изменение статической картины.

Сюжетом становится внутреннее разрушение европейской жизни. Этот момент потенциально присутствует во всех советских травелогах, начиная с самых первых: «у нас» заведомо

лучше, чем «у них». Теперь он выходит на первый план: «их» загнивание оттеняет «наши» успехи. Постоянное медленное гниение приводит к появлению в центре Европы огромного нарыва. Прогулка по европейскому городу обретает сюжетность, включая в себя судьбы отдельных людей (рассказ о нищине семьи рабочего) и описания событий (митингов, демонстраций, арестов). В текст проникают зерна репортажа, они разрастаются и вытесняют стилистику обзорной экскурсии.

Путеводитель по капитализму по определению должен демонстрировать анти-достижения и анти-достопримечательности. Однако в 1920-е советская пропаганда еще признает, что на Западе есть кое-какие вещи, которые следует изучать и заимствовать (прежде всего, широко понимаемая «техника»). К началу 1930-х годов Запад воспринимается уже как антимир, где нет ничего стоящего. Германия как нельзя лучше подходит на роль антимира. Поэтому Германия — основной маршрут поездок советских писателей в 1930—1933 годах. Поездки в Германию начала 1930-х годов и формируют новый вид советского травелога — антипутеводитель.

В конце второго издания «Визы времени» (1933) — путеводителя по всей Европе, писавшегося около десяти лет, наиболее обстоятельной из всех советских книг такого рода, Илья Эренбург поместил три немецких очерка 1930—1931 годов. Ими замыкается в кольцо книга десятилетних странствий по Европе: первые главы рассказывают о Берлине 1922 года, последние — о Берлине 1931 года. Заключительные очерки выстроены иначе, чем основной массив текста.

Первый очерк посвящен празднику освобождения Рейна. Это, скорее, тема для репортажа, чем для путеводителя. Жанровые признаки путеводителя, актуальные в предшествующих очерках, начинают «провисать». Несмотря на то, что в книге нет статьи о Рейнской области, повествователь не говорит ни слова о ее красотах. Пейзажи заменены выражением лиц людей. Но и репортажа из очерка не получается. Речь идет о празднике, которого нет. Люди веселятся, будто по заказу, с недоумевающим выражением на лице. Событие не происходит — оно моделируется, кем-то формуется. Тем более, что оставленный французами Рейн — уже не совсем Рейн. Это не Рейн гейневской Лорелеи, а Рейн веселящегося штурмовика.

В центре очерка — метафорическое обобщение, но если обобщения предшествующих очерков касаются неизменного в веках национального характера, сложившегося в том или ином европейском ландшафте, то теперь оно фиксирует некий воздух эпохи: «Он (немецкий танцмейстер, буржуа. — *Е. П.*)

пьет на официальных банкетах за “освобожденный Рейн”, но вино оставляет во рту привкус, который дегустаторы называют “привкусом дрови”. Это свойство некоторых вин, а также некоторых эпох¹. Даже рейнское вино оказалось не тем. Путеводитель Эренбурга в последних своих главах рассказывает не о тех свойствах Рейна, что навечно зафиксированы в истории и путеводителе, а о том, что на Рейне «не так». Путеводитель начинает превращаться в свою противоположность.

Похоже выстроены два других очерка, посвященных Берлину. Немецкая столица пестрит табличками «Сдается». О городе в табличках нельзя писать путеводитель: за каждой табличкой стоит полная неопределенность. Там, где было кафе, может открыться прачечная. Да и сам Берлин полон неопределенности (в духе Щедрина, спрашивавшего «Для чего нужен Берлин?»). Фирменные книги Карла Бедекера (начавшиеся, к слову, с «Путешествия по Рейну») ушли вместе с довоенной Германией. С Берлином происходит то же, что и с Рейном: прусская столица, прошедшая через мировую войну и разруху, прогнавшая кайзера и примерившая на себя республиканское платье, — уже не тот Берлин, о котором пишут путеводители. «Сдаются дансинги “Фар-Вест” или “Джунгли”, сдается также демократическая республика. Эта квартира явно не пришлась по вкусу. Еще недавно в ней стояла веселая суматоха новоселья, жильцы прибавляли портреты, устанавливали нестерпаемые шкапы; чистосердечно они радовались; все окна выходят на улицу, говоря иначе, на Париж! Удобства, однако, оказались мнимыми; подвели портреты, подвел и Париж»². В двадцатые Форш, Инбер, да и сам Эренбург писали о Берлине как о центрально-европейском Париже. Парижа из Берлина не получилось. Париж в этом пассаже олицетворяет и культурные ценности послевоенной Европы, и политические ценности либеральной буржуазии.

Ощущение «все — не то» обостряет тема экономического кризиса. Немецкая страсть к порядку и организации превращается (при помощи излюбленного приема Эренбурга — подчеркнутого нонсенса) в свою противоположность: «Прежде немцы на славу организовывали жизнь, они организовывали работу, государство, войну, экспорт, даже скандалы. Теперь требуется организовать отчаянье»³. Нам описывают Берлин, потерявший уверенность в себе. Иллюстрации приходят по наследству из берлинского очерка двадцатых, обширного пласта пореволюционной русской литературы⁴. Истерией, по мнению Эренбурга, страна жила в 1922 году. В очерках 1931 года истерия многократно усилена: «Так называемая “интеллигенция”

мечется, как крыса, облитая керосином. Издали это похоже на фантастический фейерверк, издали это — трагедия, интересные романы, которые тотчас же переводятся на все европейские языки, даже “непримиримость духа”. Вблизи это просто запах паленой шерсти и душу раздирающий писк»⁵. «Издали» — это точка зрения путешественника, «вблизи» смотрит репортер. «Я» репортера начинает рельефно выступать из неопределенно-личного автора путеводителя: «Я говорил с политиками, с журналистами, с фабрикантами. Я не встретил ни одного человека, который верил бы в то, что настоящее положение может продлиться»⁶.

Обрисовавшееся «я» репортера приводит к появлению героев и антигероев — конкретных персонажей, в отличие от анонимно-неопределенных гидов путеводителя. Среди всеобщей расслабленности только коммунисты и нацисты имеют твердые цели, только они борются. Нацисты — во имя темного прошлого, коммунисты — во имя светлого будущего. Традиционно для соцреалистической литературы враг более подл и лучше вооружен, чем герой (враг агрессивен, герой изначально предстает в ореоле жертвенности). Тема нарождающегося фашизма возникает из традиционной для путеводителя (наиболее четко проявившейся у О. Форш в книге «Под куполом») темы людей-манекенов: «Рука на курке — так год, два, три — наконец раздается выстрел. Трудно обвинить человека: выстрелил не он, выстрелила рука, даже не рука — винтовка. <...> Карл смотрит, слушает и Карл готовится. Он не за войну. Он и не против. Война для него, как жизнь — нечто страшное, темное и неизбежное»⁷.

Каждый из трех очерков Эренбурга — от «привкуса дроби» до «руки на курке» — последовательно усиливает в читателе ожидание войны. Это еще не Событие, но его преддверие. Еще не репортаж, но уже не путеводитель.

В 1931—1932-х годах Германию посещает М.Ф. Чумандрин, известный пролетарский писатель из Ленинграда (один из руководителей ЛАПП, главный редактор журнала «Ленинград»). Его книга «Германия» (1933) выстраивает новое отношение к Европе.

С первой страницы звучит доминирующий мотив: жизнь в Германии затихла. Книга о Германии оказывается путеводителем по вымершей стране⁸. Тишина и безлюдность сопровождают повествователя, начиная с пограничного Эйдткунена: «Крохотные купе, на восемь человек каждое. Если напротив тебя сидит кто-либо — упираешься коленями в его колени. Несмотря на то, что вагон пуст — духота страшная»⁹. Духота

еще осталась от тех времен, когда люди упирались коленями друг в друга. Пустота нагнетается рядом других, усиливающих зарисовок: «В двенадцать дня по коридорам проносится самый молодой из кельнеров и отчаянно ударяет в гонг, — это вещается полдень. Но предобеденная паника оказывается напрасной, — в ресторане всего лишь четверо...»¹⁰. Безлюдность и статичность, с одной стороны, — свидетельство кризиса, признак Кошечева мертвого царства. С другой стороны, это предгрозовое затишье. Рассказ о современном положении дел выстраивается на контрасте со знакомой читателю Германией Кушнера: в «103 днях на Западе» транспортная система уподоблена кровообращению страны, теперь кровь почти остановилась.

Улицы Берлина, продолжает Чумандрин, так же пустыны, как эйдткуненский поезд. Прохожие — проститутки и нищие. Пронесутся дорогие авто (свидетельство классовой поляризации). «Редко-редко прогудит пустой трамвай»¹¹. Это едва ли не единственное упоминание общественного транспорта Берлина, который Кушнер несколько лет назад ставил в пример всем городам Европы. Трамвай пуст обычной вечерней пустотой, но в мощном контексте нищеты и это предложение работает на общую тему. Звучат традиционные мотивы берлинского очерка ранних двадцатых: теряя блеск электрических огней и суету городского транспорта, Берлин превращается в город теней, Летучего голландца: «Парадные улицы буржуазного Запада: Мотц, Бюлов, Потсдаммерштрассе, — наконец, выхожу на Потсдаммерплац. Он тих и неприютен, как неприютны, впрочем, и все площади этого уродливого города»¹². Берлин уродлив, потому что мертв (так же уродлив Берлин Шкловского в «Зоо»), но стоит ему наполниться движением и «борьбой» (как у Кушнера), он сразу же обретает красоту современности. Потсдаммерплац — одна из наиболее значительных городских развязок. На этой площади был поставлен первый в Берлине светофор, восхищенно описанный Кушнером. Теперь и Потсдаммерплац мертва.

В описании гамбургского порта идейная связь с книгой Кушнера выходит на поверхность. Глава «Движение» отсылает к кушнеровской главе «Движение вещей», ей предпосланы два эпиграфа из «103 дней на Западе»: «Самое прекрасное в природе — это движение» и «В Гамбурге умеют поработать»¹³. Вся глава построена на антитезе: порт Гамбурга вчера — порт Гамбурга сегодня.

«Каких-нибудь два года назад путешественник, попадая в Гамбург, впадал в неистовый восторг от его верфей, гавани, величайшей в мире, исполинских пароходов, великолепного

портового оборудования, всей его могучей жизни, бившейся подобно горячему пульсу.

Так было еще в двадцать восьмом, отчасти — в двадцать девятом году¹⁴.

«Движения», анонсированного в заглавии, в сегодняшнем Гамбурге нет. Над портом нависает тишина. Суда стоят на приколе, подъемные краны не работают. Экскурсия по гавани, вдвоятером на четырехсотместном парходике, обращается антипутеводителем: экскурсантам показывают неработающие эллинги, застывшие краны, дремлющие суда. Ситуация переменилась, книга Кушнера устарела. Она использована Чумандриным как путеводитель по прошлому капитализма. Репортаж о текущем положении дел накладывается на устаревший текст «путеводителя по Гамбургу», и воздействие репортажа многократно усиливается: сегодня перечеркивает вчера, указывая на историческую неправду недавнего процветания.

«Германия» как бы продолжает во времени «103 дня на Западе», приспособляя наработанные нарративные формы для задач нового жанра. Тридцатые годы трактуют путеводитель как неклассовое, лишенное «борьбы» искусство¹⁵. Путеводитель по кризисной Германии переходит в антипутеводитель, из него, в свою очередь, вырастет репортаж о классовых боях.

Воскресная прогулка по берлинскому Нордену, написанная Кушнером как один из эпизодов путешествия, заполняет у Чумандрина весь текст. Один из первых очерков, «Проходя по улицам», представляет собой путеводитель по разваливающемуся дому. Аварийный дом густо населен: там живут семьи бездомных, потерявших работу и кров. Нам показывают несколько комнат, рассказывают о живущих в них людях: антипутеводитель, приобретая антропоцентричность, переходит в репортаж. Повествование нарочито синхронично: о прошлом героев сказано мало, все внимание сосредоточено на том, как они сегодня, в данный момент, умудряются выживать. Стилистика путеводителя (в последующей цитате выделена жирным шрифтом), соприкоснувшись с нищенским бытом, тут же рассыпается от семантического несоответствия: экскурсия в царство человеческой боли выходит за рамки досужего созерцания. Появление живых героев вовсе растворяет путеводитель: грамматические конструкции становятся напряженно-репортажными, нарратив обретает сюжетность, созерцательность пропадает.

«Можно войти в низкую дверь в углу двора и по зыбким деревянным лестницам **подниматься все выше и выше <...>** В каждый коридор выходит по несколько дверей, некоторые распахнуты настежь, и **ты иногда заметишь** в комнате полуосве-

щенный стол, за ним ужинает семья, услышишь однотонный плач детей, ругательства отца, нервческие реплики женщин»¹⁶. Обобщенно-личные формы глаголов комбинируют текущий момент и годами не меняющуюся ситуацию. В следующем абзаце путеводитель окончательно уступит место репортажу: «В некоторые двери видно, как за столом работают, собравшись в тесный кружок. Вот, например, семья грузчика с Главного вокзала. Отец без работы с февраля двадцать девятого года. Он громаден и силен. Его кулаки лежат на столе, подобно гилям, брошенным после гимнастики»¹⁷.

Сложнее выстроен очерк «Задний двор». Сначала — описание башен универмага «Карштадт»: «Башни Карштадта струят чистый голубой свет и, кажется, тихонько покачиваются в своем поднебесье. Днем раньше я поднимался на них и с высоты последнего их этажа увидел Берлин, точно колоду карт, рассыпанную по столу»¹⁸. Характерный ход путеводителя: городская достопримечательность висит в воздухе, как на открытке. С другой стороны, в безличное повествование тут же вторгается авторское «я»: «колода карт» — многозначная метафора, отсылающая, в числе прочего, и к «борьбе» за город, уличным боям. Речь пойдет не о взгляде на Берлин «с птичьего дуазо». Это лишь эффектный зачин, подводящий к теме.

Резкий переход сверху вниз, к ухоженным фасадам домов. Текст прикидывается путеводителем, чтобы ярче, внезапнее обратиться в антипутеводитель: путешественник углубляется в череду внутренних дворов, и аккуратные фасады сменяются грязью и нищетой. Срабатывает и зачин, выполненный в стилистике путеводителя: с башни Карштадта видны грязные дворы, незаметные с улиц. Путеводитель в который раз превращается в антипутеводитель. Повествователь останавливается в третьем от улицы дворе, он проходит по лестнице от мансарды до подвала. Это метод «небоскреба в разрезе» из американского стихотворения Маяковского, но наоборот, сверху вниз. Вновь появляются герои, ввергнутые в нищету, и рассказ о каждом из них превращается в отдельный репортаж: герои действуют на глазах повествователя (и читателя), время глаголов становится настоящим. Текущий момент, живое действие неоднократно подчеркнуты: «...на доске, пристроенной к раковине, в данный момент стоят две тарелки с зеленым луком...»¹⁹; «Вот она появилась в комнате, взобралась на нары и сейчас раздевается...»²⁰.

Живое действие многократно усиливает тему нищеты: люди живут на глазах у читателей. Путешествие от мансарды до подвала развивается по законам грации. Как только читатель

успел оценить положение безработной семьи, репортер спускается на следующий этаж, там нищета еще страшнее: в такой же тесной квартирке живут уже три семьи. Самая жуткая нищета в подвале. Все люди, живущие в доме, еще недавно имели работу. Их ввергли в нищету противоречия капитализма. Мещанское благоденствие мелкой буржуазии (очерк «Приличная жизнь») на фоне пролетарского быта выглядит просто преступным.

Это классовый базис антипутеводителя. В подтексте сквозит старый революционный лозунг: «Мир хижинам, война дворцам». Один из первых антипутеводителей появляется на страницах «Красной нови» еще в 1928 году. Это очерк Арсения Авраамова. В нем под сомнение ставится необходимость самой поездки, ибо все красоты Запада, его технические чудеса перевешивает тлетворный дух капитализма. С первых шагов путешественник стремится домой, ему принципиально не интересно все то, ради чего выезжали в Германию путешественники двадцатых (показательны бесконечные кавычки, в которые автор заключает привычные блага цивилизации). «Скажу о себе: за эти полгода за рубежом бывали дни, недели! — когда единственной мыслью <...> было — “бежать, бежать без оглядки — домой в СССР, в Москву”! К черту “завоевание международного научного рынка”, к самому дьяволу все “чудеса европейской техники”, концерты “мировых знаменитостей”, музеи <...> — когда человеку нечем дышать, когда весь “быт”, вся сумма ежедневных “впечатлений” — от архитектурных “красот” (ампир-прюсс...) до газетных полос включительно — вливается в тебя, как некое рвотное, коего не токмо “душа” — желудок не приемлет...»²¹. Привлекает в Германии лишь то, что однозначно интерпретируется как свое, родное: «Пошагаешь денек в ногу с Ротфронтом **под родными знаменами**, поглазеешь на ребят в красных кепи и галстучках — глядишь: оно и полегчало...»²². Восприятие Европы резко изменилось: положительную оценку получает лишь то, что напрямую заимствовано из Советского Союза.

Послекризисный антипутеводитель Чумандрина подводит под отрицание чужой культуры классово-экономический базис. Культура не нужна, если рядом с нею существует безысходная нищета. Сначала отрицается техническая культура Германии, описанная Кушнером как образец для подражания. Очерк «Задний двор»: «Электрические провода обрезаны, и на стенке, на гвоздике — крохотная керосиновая лампочка с закопченным стеклом. И это в одном из культурнейших городов мира!...»²³. Затем отрицанию подвергнуто и все остальное, входящее в понятие «культура» (в подтексте — дворец Цвингер,

которому тоже объявлена война). Очерк «Новая смена», в котором даны еще более ужасные картины рабочего быта: жена потерявшего работу зарабатывает проституцией на всю семью. Когда она приходит домой с клиентом, муж и дети выходят к соседям. «Такие вещи происходят в Барщинном переулке (Frohngasse) в десяти шагах от Королевского замка, Национальной галереи, совсем рядом с магистратом, в самом центре замечательного, художественного города, города-музея, каким, по общему мнению, является Дрезден»²⁴.

Характерно для репортажа (и одновременно для основ соцреалистической культуры) тема все больше подчиняет себе стиль. В очерке «Жажда реванша одолевает их» возвращается путеводитель как стилистическая доминанта: «Идя по Унтерден-Линден, уже минуя Университет слева и приземистое сооружение Государственной оперы — справа, не сразу обратишь внимание на это здание»²⁵. «Это здание» — немецкая могила неизвестного солдата. До Великой Отечественной войны могилы неизвестных солдат воспринимаются советской литературой однозначно негативно: как инструмент милитаристской пропаганды. Здесь, в Берлине могила неизвестного солдата — бастион врагов рабочего дела. От здания рассказ переходит к людям — посетителям Новой вахты. Тогда репортажная зарисовка прорывает основную ткань. Однако и репортаж в этом очерке отдает путеводителем. Нам показывают живую сцену, происходящую перед глазами, но так, будто она повторяется ежедневно. Прием тот же, что и в «Проходя по улицам»: настоящее в значении continuous наложено на настоящее в значении indefinite, — но в совершенно иной функции. Люди, движущиеся внутри Новой вахты, за счет временного наложения превращены в экспонаты-манекены. «Обмахиваясь шляпами, как бы в нетерпении ожидая начала, переминаются с ноги на ногу крепкие, багроволицые, тяжело дышащие люди, на момент задержавшие там, за входом, свои “Шевроле”, “Паккарды”, “Бьюики”, “Рольс-Ройсы”...»²⁶. Люди замерли в репортерском нетерпении — в ожидании События. Событие не происходит, напряжение спадает, элементы репортажа пропадают. Зато путеводитель возводится в степень: в текст очерка включен текст туристической брошюры, продающейся тут же, в здании Новой вахты, с обращением (читателю не дают забыть о людях, которым выгодно это туристическое место) министра Рейхсвера. Брошюра — переход к описанию Верденской выставки в Виттлихе. И вновь рассказ об экспонатах чередуется с рассказом о посетителях выставки, напоминающих экспонаты.

Рабочие районы, напротив, требуют репортажного стиля. Враги показаны статично, рабочие даны в динамике. «В Веддинге демонстрация должна была начаться в шесть часов вечера, в самом оживленном пункте района: на углу Мюллер- и Зеештрассе, где кончается северная линия подземки, и где всегда трудно пройти от обилия людей, выходящих из тоннеля и спускающихся в тоннель»²⁷. Здесь, наоборот, доминирует репортаж с отдельными вкраплениями путеводителя. Рудиментом путеводителя («Прогулка») остается проводник — девушка Анни, показывающая репортеру места недавних боев. Работает тот же механизм наложений, что и в гамбургском порту: путешественник сравнивает прошлое (рассказ экскурсовода) с видимым в данную минуту. Но функция приема прямо противоположна. В Гамбурге сквозь пленку настоящего просвечивал призрак прошлого, здесь репортер видит будущее: за вчерашними боями идут новые бои. Репортер видит участников боев, говорит с ними. Сегодня они спокойно проходят по улице, завтра снова пойдут в бой. Взрослым по мере сил помогают дети. Это живая история, история в динамике.

Но главные сведения для репортажа повествователь черпает не из рассказов девушки. Репортер должен быть строго объективным. Вокруг течет история, и повествователь смотрит на происходящее как историк. Его выводы основаны на письменных источниках — это надписи на мостовых, на стенах, в домах. Весь район Берлинерштрассе исписан лозунгами Рот Фронта. Это свидетельство, не требующее доказательств, еще более правдивое, чем рассказ участника боев. Стены Берлина превращаются в самый верный источник информации. Это репортаж, параллельный рассказу Анни, репортаж из первых рук. Проникновение наци в рабочие районы тоже зафиксировано на стенах. Но тут же — живое отношение к ним, живая рецепция нацизма:

«Парнишка деловито соскребает ножом кривую надпись —
HEIL HITLER!»²⁸.

Настенный репортаж и репортаж советского путешественника легко перетекают один в другой. Гитлеровскому приветствию на стене противостоят приветствия пролетариата. Нацистское приветствие статично, оторвано от человека — рабочие приветствия суть самая жизнь. Хозяин табачной лавочки встречает рассказчика возгласом: «Heil Moskau!». Следует сноска: «Слава Москве! — так рабочие приветствуют друг друга»²⁹. На стене магазинчика висит журнальный плакат, изображающий гитлеровцев, под ним подписано: «Те, кто должен быть уничтожен, как бешеные собаки»³⁰. Реакция старика повторя-

ет реакцию мальчика: оба по-своему интерпретируют письменный источник. Похож на это и поступок рабочих гамбургских верфей: они втаптывают в грязь фашистские листовки («Расправа»). Письменным ответом нацистам оказывается интерьер квартиры грузчика из очерка «Проходя по улицам»: «В комнате полутьма. Неясно выступают очертания старой мебели, на стене смутно сереет портрет Ленина, по углам, на потолке с трудом можно рассмотреть грубо нарисованные пятиконечные красные звезды. Вместо фриза по всей стене крупная надпись: “ДА ЗДРАВСТВУЕТ СССР”»³¹. Все это врезавшаяся в стены историческая правда.

Наибольшего динамизма приветствие Москве достигает в финале очерка «Как это иной раз происходит». В нем рассказывается о рабочей демонстрации, организованной сразу после официального запрета демонстраций. Митинг проходит на двух отрезках улицы: пока полиция бежит к одному отрезку, митингует другой и наоборот. Очерк заканчивается коллективным, массовым — от имени всего пролетариата Германии — приветом Москве:

«Полиция застаёт здесь прежний образцовый порядок, — но зато зашевелился и ожил другой конец. И не успевают бегуны в зеленом отдышаться, как оттуда опять слышна иерихонская труба, и снова там грохочет улица:

— Heil Moskau!

— Heil Moskau!.. — отвечает улица»³².

Динамизмом проникнуты и революционные ритуалы, воспринимающиеся в СССР как исторические, но оживающие в настоящем на немецкой земле. Рабочее собрание в берлинской пивной хором поет «Смело, товарищи, в ногу»: «У нас в Союзе несколько “прислушался” этот мужественный мотив. Здесь его поют во весь голос, с ударением на каждом слове, отрываясь от своих неизменных трубок или дешевых зловонных сигар и отстукивая такт кружкой по краю стола»³³. Как у Аврамова, наибольший восторг путешественника вызывает прямое заимствование из его собственной культуры. В борьбе (а также под влиянием здоровых заимствований из России) меняется и статичный, по сути, национальный характер (Чумандрин уже не настаивает на большевистском — из Маяковского — «Нации выдумал мира враг», он признает узаконенный в эпоху путеводителей национальный характер, но освобождает его от абсолютности и завершенности). На том же собрании репортер приходит к выводу, что немцы уже не те немцы, какими их считала русская литература XIX века: «Придумали, что немецкий рабочий до смешного спокоен и пуше огня опасается

всякого шума. “Страна умеренности и аккуратности” — говорили когда-то. Глупости, — это вчерашний день! Мне давно не доводилось присутствовать на таких темпераментных собраниях, хотя оно было одним из тех, что происходят ежедневно, по всему району, по всему Берлину, по всей стране»³⁴. Традиционное репортажное обобщение («так везде») тоже динамично: стремительное развертывание градации создает ощущение революционного подъема небывалой силы. Динамика, заложенная в ткань рабочих очерков «Германии», передает убыстряющийся ход истории, стремящейся к мировой революции.

Закрывает книгу очерк о кладбище Фридрихсфельде — берлинской Стене коммунаров. В начале применяется уже испытанный прием: текст прикидывается путеводителем, чтобы эффективнее развернуться в репортаж. Заглавие очерка — «Неравная встреча», — подчеркивает динамизм и событийность содержания, дисгармонирует с плавным статическим началом. Читатель должен понять, что перед ним пародия на путеводитель: текст как бы соблюдает политическую корректность, ведь путеводитель, в отличие от репортажа, — политически нейтральный жанр.

Большая стена с красной звездой, врезавшейся в кирпич, напоминает все остальные рабочие стены Берлина. Герои очерка тоже поначалу статичны, но в этой статике просматривается духовная мощь, накопление внутренних сил: «У самой ограды <...> то там, то здесь стоят люди <...> Они стоят без шапок, всматриваясь в могилы, лежащие перед ними. Некоторые из рабочих пришли сюда с детьми, даже с такими, кто еще не научился ходить. Это вошло здесь в привычку: провести свободный часок у стены Карла и Розы»³⁵. Рядом с Карлом Либкнехтом и Розой Люксембург похоронены рабочие, убитые фашистами во время демонстраций. Среди статичных героев появляется старик-гид: он рассказывает о каждом, кто лежит в безымянных пролетарских могилах. Старик — символ народной памяти, олицетворение истории. Статичность кладбища, на которое немецкие власти поместили Карла и Розу, превращается в статичность вечности, исторической правды. Статика, показатель аполитичности и духовной смерти, теперь насыщена политическим смыслом.

Взгляд репортера падает на только что вырытую могилу. Описание переходит в событие, путеводитель в репортаж. Сегодня похороны очередного героя. Статический зачин усиливает эффектность внезапно рождающегося репортажа: получается, что репортер забрел на кладбище случайно, осматривая город, и увидел бытовую картину рабочего Берлина. Единич-

ное событие становится событием повторяющимся: Present Continuous вбирает в себя и Present Indefinite. «Издали доносится негромкое пение. Вскоре на дальнем конце аллеи показывается несколько знамен, медленная процессия идет сюда»³⁶. Внезапно процессию окружают пробравшиеся на кладбище наци, и действие становится стремительным: «Нападавшие бежали уже под углом к аллее, намереваясь преградить путь шествию. Вот у первого из них что-то блеснуло в руках, и потом потекли сплошные, ревушие выстрелы <...> Вскоре все смешалось, только гроб, покачиваясь на плечах тех, кто оставался в рядах, медленно шел к могиле»³⁷. Гроб получает одушевленное сказуемое, лежащий в нем герой становится вечно живым. Быстрота оборонительных действий не вступает в противоречие с медленным движением к раскрытой могиле. Одно движение оттеняет другое, это два варианта инвариантного движения истории.

Бой заканчивается, полиция окружает рабочих и дает уйти нападавшим фашистам. Попустительство полиции по отношению к фашистам — важный мотив, получивший широкое распространение в очерках начала 1930-х. Рабочих уводят, они же, несмотря на запрещение офицера, скандируют «Рот-фронт» и поют «Интернационал». Как в Париже Маяковского (стихотворение «Флаг»), рабочий гимн бежит по городу, становясь всеобщим гимном: «Согни, встретившие арестованных (у ворот кладбища. — *Е. П.*), подхватили воинственный гимн, и вот он загремел, покрывая шум поезда...»³⁸. Попадая в пространство Истории, событие автоматически гиперболизуется — воспринимается уже не как рядовой случай, а как один из эпизодов великой всемирной борьбы. Репортаж, едва сложившись, комбинируется с эпическими жанрами. Финальный абзац убирает пафос, возвращая читателя в репортаж, подчеркивая подлинность рассказанного: «Это было тринадцатого ноября, на кладбище Фридрихсфельде, на востоке Берлина. На том самом кладбище, где похоронены Роза Люксембург и Карл Либкнехт»³⁹. Но упоминание Розы и Карла не дает забыть о пространстве Истории, рассказанное Событие навечно вписано в него.

Очерки М. Л. Слонимского, ездившего в Германию на год позже Чумандрина, в 1932 году, представляют собой уже сложившийся травелог-репортаж. Они появились маленькой книжкой (в серии «Библиотека “Огонек”») под заглавием «Германия» в том же, 1932 году, затем, начиная с 1935 года, несколько раз перепечатывались под одной обложкой с «Повестью о Левинэ», ради написания которой Слонимский и ездил

(через Берлин) в Баварию. Показателен интерес советского писателя к Баварской советской республике (ее политическому лидеру Евгению Левинэ) накануне решающих выборов в Рейхстаг. Новая революционная ситуация (в контексте открытого времени — «священной истории» революций) всегда отсылает к предыдущей, требует реванша за прежнее поражение.

Первый очерк «Берлин» посвящен традиционной теме рабочей нищеты. Он начинается ex abrupto описанием уличного певца. В третьем с начала абзаце точка зрения повествователя как бы отъездом камеры расширяется, и рядом с певцом появляются аккомпаниаторы, скрипач и горбун-гармонист. Камера отъезжает еще дальше, и мы видим пустующие окна домов, под которыми поет певец (в каждом доме есть незанятые квартиры, фиксирует репортер). На второй странице прием повторяется: описан еще один музыкальный «номер», семейный, вновь отъезд камеры, и вся улица заполнена уличными певцами. Наконец, символическое обобщение: «Музыка и пение — повсюду. Музыкальный город! Музыкальный народ! Впрочем, это — не Венеция, это — Венеция поневоле, это — Берлин, полный музыки безработных»⁴⁰. Когда-то В. Инбер в одном из берлинских очерков изобразила уличного певца, вызывающего жалость. Деталь прежнего Берлина стала массовым явлением.

Вслед за певцами, укрупнением плана, в поле зрения репортажа попадают люди, продающие на улицах спички и шнурки. Те, кому нечего продать, просто просят денег. Аналитический итог берлинского пейзажа: всем им нужно «...самое необходимое, то, что работой уже не добыть, потому что нет работы, — пфенниг!»⁴¹. Наконец, перед нами город целиком. Еще горит огнями центр, но улицы полны не автомобилями, а велосипедами. На них тысячи людей колесят в поисках работы, которой нет. Повествователь садится в поезд: точка зрения предельно расширяется, вбирая в себя всю страну. Инженер, случайный спутник по купе, указывает на проносящиеся мимо закрытые заводы. Аналитический итог вновь приобретает силу символа: «Страна безработных <...> проносится мимо окон»⁴². Далее — несколько словесных портретов рабочих, продавшихся обобщенным врагам от голода и нищеты (один портрет дан в форме монолога, второй — в диалоге с рабочим идейным), и наконец, разворачивается тема фашизма. Вымиравшие города вымирающей страны получают своих могильщиков, демонов смерти.

«Этим молодцам уже разрешена форма. Группами — всегда группами — ходят они по Берлину в полной своей форме,

новенькой, заготовленной и розданной, несмотря на нищету и голод. Они напоминают молодцов из батальонов смерти русского семнадцатого года: кепи, гимнастерка, даже шнурки, как у тогдашних вольноопределяющихся, только на рукаве не череп <...> а фашистский знак. И есть немало среди них тех, кто в Берлине, в Мюнхене — в девятнадцатом и прочих годах — убивал и расстреливал революцию»⁴³. Русские батальоны смерти вспоминаются повествователю неоднократно. Они сливаются с палачами Баварской республики, это одни и те же люди — гвардия капитала⁴⁴. Революция интернациональна, революция продолжается в вечность: через революционеров в вечность попадают и палачи.

Мотив «революция в настоящем», заставлявшего у Чумандрина берлинскую пивную хором петь «Смело товарищи в ногу», развернут во втором очерке Слонимского «Фашисты в Мюнхене». Повествователь-репортер рассказывает о старичке-коллекционере, у которого можно найти любой исторический документ. «У меня работают в этой комнате все партии»⁴⁵, — говорит старик. За разрешение «писать объявление о поимке Левинэ он требует сто марок. Репортер комментирует: «...цена, которую он называет, вполне зависит от нужности того или иного документа в сегодняшней борьбе. Он понимает, что у него не какой-нибудь потерявший актуальность исторический архив ...»⁴⁶. Похожий комментарий сопровождает имена вождей Баварской республики Левинэ, Эгльгофера. Один немец громко произнес их на улице, но тут же осекся: рядом — фашистский штаб: «Это — не мертвые имена, это — живые имена, памятные мюнхенцам, это — живая сегодняшняя борьба»⁴⁷. Газеты Баварской советской республики — тоже «...сегодняшние газеты, сегодняшняя борьба!»⁴⁸

Мюнхен — город немецкой революции, он же — столица фашизма. Это «открытое», не определившееся пространство. Прием «отъезжающей камеры», примененный с берлинскими певцами поневоле, использован и в Баварской библиотеке. «Я подымаю голову. Я вглядываюсь в тех, что склоняются над столами. Так и есть — у студента, что наискосок от меня хмурит брови над толстой книгой, красуется в петличке пиджака фашистский знак. Такой же знак — у того, за соседним столом. И еще. И еще»⁴⁹. Демонизм затаен в каждом читателе библиотеки, библиотека заполнена демонами. Укрупнение плана: улицы города. «Группами — всегда группами — ходят гитлеровцы по улицам Мюнхена»⁵⁰. Так же, как по Берлину. Прохожие смотрят на них настороженно, лишь немногие дерзают смотреть с открытой ненавистью. Наконец, панорамный

вид: демонстрация и митинг фашистов с участием Гитлера. «Наехавшие отовсюду штурмовики владеют Мюнхеном. Колоннами, со всех концов города, маршируют они по улицам...»⁵¹. Германия оккупирована темной силой, батальонами смерти: открытое пространство заполняется коричневым цветом. И каждый эпизод демонстрации фашистов приобретает символический колорит: «На перекрестке колонновожатый, шагнув вперед, делает полицейский жест рукой — и останавливаются автомобили, велосипеды, пешеходы. Грузный шущман не хочет замечать, что фашист заменил его, что фашист исполняет его обязанности»⁵².

Повествователь в очерках Слонимского почти не проявляет себя напрямую, его речевое действие сродни работе кинооператора: он выбирает виды и устанавливает камеру. Благодаря этому героями очерков становятся немецкие города и живущие в них люди (под определенным, выбранным оператором, углом зрения). «Я» повествователя неоднократно выныривает из подтекста, но не доминирует, а придает конкретность ситуации. Повествователь, таким образом, полностью уподоблен репортеру. А в третьем и последнем (в версии 1932 года⁵³) очерке «Блуждания» появится герой. Им становится собственно репортер, но не alter ego автора, а отчужденное сознание американской журналистки. Автор (некий русский с неясной профессией) живет по соседству с квартирой, которую занимает она. Такая расстановка героев может показаться рудиментом отношений «гид — турист», однако эти отношения, скорее, спародированы. Американка пытается помочь русскому в получении французской визы, не понимая, в чем состоит проблема, и терпит фиаско: оказывается, советские граждане могут получать визы только по разрешению министерства иностранных дел в Париже и французского посольства в Москве. Американка потрясена. «Она отказывалась понимать то, что обыкновенному человеку <...> почему-то не дают визу»⁵⁴. В сцене прощания мудрым и спокойным гидом выглядит казавшийся беспомощным русский:

«— Это страшно, а не смешно. Что ваша страна сделала, чтобы с вами так обращались?»

— Революцию сделала, — отвечал он»⁵⁵.

Сюжет с гидом переходит в другой традиционный сюжет — «переделку» американца. Журналистка только что приехала из Москвы, теперь изучает кипящий Берлин. Город по-прежнему в центре текста, фокус задает вездесущий журналистский взгляд: американка ездит в Моабит, встречается со знакомыми и незнакомыми немцами, сидит в дорожных кафе, обсуждая

ситуацию с коллегами. Абрис политической ситуации претендует на объективность, это мысли американки: «А Берлин начало со дня на день, и, казалось, качке этой не будет конца. Было похоже, что не то началась уже, не то вот-вот начнется гражданская война. Близился день выборов в рейхстаг, и этот день маячил впереди не то как избавление, не то как катастрофа. Жизнь была вывернута наизнанку, и все хорошее и плохое, вопреки европейским обычаям, торчало наружу, как чистое и грязное белье»⁵⁶. Рядом дано мнение русского — столь же глухо и многозначительно, как звучит в очерке вся его речь: «Человек из пансиона, того, что рядом с квартирой американки, находил сходство между сегодняшней Германией и русским семнадцатым годом. Из вежливости или осторожности он не продолжал сравнения»⁵⁷.

Как всякий герой берлинского очерка, журналистка чувствует непрочность своего положения — на фоне «качающегося» Берлина. Писать о том, что видит, она не может, ибо знает, что за это уволят из газеты. Она должна воспроизводить добротные штампы американского сознания о советских и немецких делах. А штампы рассыпаются от соприкосновения с жизнью. Например, в вагоне метро сидит щуплый гитлеровец — жизнь разбивает представления о мускулистых тренированных фашистах. И главное, привычные штампы не дают спокойствия и уверенности в бурном мире: «Жизнь представлялась ей загадочной, непонятной и страшной. У фашистов и коммунистов цели были точны и ясны, все остальное было запутано до крайности, а газета, на счет которой она существовала, была в этом всем остальным»⁵⁸.

Здесь прямо, как готовая идеологема, от имени объективированного сознания, сформулирован важнейший тезис советской пропаганды 1930-х годов: на свете есть две подлинные идеи — фашизм и коммунизм. Все остальное — политический балласт, наследие прошлых эпох. Эта мысль одинаково удобна и для советской политики (социал-демократы вычеркиваются из политической борьбы как несущественная — несуществующая сила) и для советской соцреалистической литературы (борьба героя и врага, между ними — «передельвающаяся» масса). Травелог, насыщенный конкретикой, но предельно обобщенный аналитическим комментарием, объективирует идеологические постулаты. Героиня-американка в финале совмещает роли репортера и реципиента: ей предстоит правильно прочесть текст берлинских улиц и всемирное значение Москвы. Она стоит в недоумении, не зная, куда податься.

Это олицетворенное сознание Запада, еще не принявшее решение, к какой из двух реальных политических сил примкнуть.

Начиная с 1933 года, советский путевой очерк относится к нацистской Германии как к зачумленной территории. Советские путешественники объезжают Германию по кругу, изучая фашизм по его эманациям. Две книги очерков Эренбурга «Затянувшаяся развязка» (1934) и «Границы ночи» (1936), соединившие, в основном, тексты 1933—1934 годов, посвящены такому внешнему рассматриванию фашизма. Это уже антипутеводитель в чистом виде. Путеводитель по стране, где не был даже рассказчик.

¹ Эренбург И. Виза времени. Изд. 2, доп. Л.: Изд-во писателей в Л.-де, [1933]. С. 404.

² Там же. С. 406—407.

³ Там же. С. 408.

⁴ То же самое происходит в западных литературах. Например: «While the Roaring Twenties had contributed to obliterating the cultural pessimism engendered by World War I, the Wall Street crash marked a return of the repressed [Если бурные двадцатые освободили от культурного пессимизма, порожденного первой мировой войной, то биржевой крах знаменовал возвращение пессимизма]» (Sweizer B. Radicals on the Road. The Politics of English Travel Writing in the 1930s. Charlottesville; London: University Press of Virginia, 2001. P. 7).

⁵ Эренбург И. Виза времени. Изд. 2. С. 409.

⁶ Там же. С. 416.

⁷ Там же. С. 412.

⁸ Частотность и обязательность темы «вымирания Германии» хорошо видна при сравнении с очерками других авторов. Например, впечатлениями профессора М. Неменова, ездившего через Германию с научной целью в Испанию (характерно, что именно Германия — уже не Париж и еще не Мадрид — становится темой для очерка). От немецкой границы до Берлина профессор ехал в пустом спальном вагоне: кроме него, был еще один пассажир. Из Испании Неменов возвращался экспрессом «Париж — Вена». На границе Германии от поезда отцепили вагон-ресторан: слишком мало пассажиров. По прибытии в Штутгарт в поезде оставалось человек пятнадцать. Вокзал Штутгарта (у Эренбурга 1920-х годов — символ транзитной Германии) кажется Неменову вымершим: «Огромный штутгартский вокзал совершенно пуст...» (Неменов М. Из впечатлений о Германии сегодняшнего дня // Новый мир. 1934. № 2. С. 248).

⁹ Чумандрин М. Германия. [Л.]: ОГИЗ-ЛЕНГИХЛ, 1933. С. 5.

¹⁰ Там же.

¹¹ Там же. С. 10.

¹² Там же. С. 6.

¹³ Там же. С. 87.

¹⁴ Там же.

¹⁵ В одном из очерков путеводитель атрибутируется как жанр правящего класса. В школе имени Карла Маркса в Нойкельне обучаются дети

социал-фашистских аппаратчиков (распространенный термин объединяет двух врагов компартии — фашистов и социал-демократов). На специальной выставке для гостей развешаны работы учащихся о других странах. Это сплошной вылизанный путеводитель: подробно рассказано о достопримечательностях, ни слова нет о людях, страны населяющих. Во втором издании книги Чумандрина (*Чумандрин М.* Германия. Изд. 2-е, испр. и доп. [Л.]: ОГИЗ. ГИХЛ. Лен. отд-е, 1934) этот очерк опущен за ненадобностью: жанр путеводителя уже повержен.

¹⁶ *Чумандрин М.* Германия. С. 14—15.

¹⁷ Там же. С. 15. Здесь и далее жирным шрифтом дано выделенное мною.

¹⁸ Там же. С. 50.

¹⁹ Там же. С. 55.

²⁰ Там же. С. 56.

²¹ *Авраамов А.* Гопля, живем!.. (Эскизы современной Германии) // Красная новь. 1928. № 7. С. 204.

²² Там же.

²³ *Чумандрин М.* Германия. С. 54—55.

²⁴ Там же. С. 67.

²⁵ Там же. С. 20—21.

²⁶ Там же. С. 22.

²⁷ Там же. С. 105.

²⁸ Там же. С. 79.

²⁹ Там же. С. 80.

³⁰ Там же. С. 81.

³¹ Там же. С. 16.

³² Там же. С. 110—111.

³³ Там же. С. 112.

³⁴ Там же. С. 113. Выделено автором. В книге выделение дано разрядкой.

³⁵ Там же. С. 127.

³⁶ Там же. С. 128.

³⁷ Там же. С. 128—129.

³⁸ Там же. С. 130.

³⁹ Там же.

⁴⁰ *Слонимский М.* Германия. М.: Журнально-газетное объединение, 1932. С. 4.

⁴¹ Там же. С. 5.

⁴² Там же. С. 7.

⁴³ Там же. С. 10—11.

⁴⁴ Ср. в «Повести о Левинэ» фигуру русского капитана Мухтарова, бежавшего из России и мечтающего поймать Левинэ, за голову которого обещана большая сумма. В его сознании все смешалось, незбылемыми остались только деньги: «Границы стирались, как будто их никогда и не было. Русские солдаты вырвались из лагеря военнопленных и вместе с немцами сражались за Баварскую советскую республику. Венгерские батальоны били русских белогвардейцев в Сибири» (*Слонимский М.* Повесть о Левинэ. Л.: ГИХЛ, 1935. С. 13). Выводить нацизм из прежних российских реакционных идеологий принято и в публицистике. В этом плане особо популярна фигура А. Розенберга. По мнению Н. Корнева, его сочинение «Существо, принципы и цели национал-социалисти-

ческой партии» «...является логическим продолжением того политического курса, который вывез прибалтийский немец, связанный с российской черной сотней, из царской России» (*Корнев Н.* Германские фашисты. Альфред Розенберг // Красная новь. 1933. № 6. С. 153).

⁴⁵ *Слонимский М.* Германия. С. 21.

⁴⁶ Там же.

⁴⁷ Там же. С. 20.

⁴⁸ Там же. С. 14.

⁴⁹ Там же. С. 14—15.

⁵⁰ Там же. С. 19.

⁵¹ Там же. С. 23.

⁵² Там же.

⁵³ В издании 1935 года к очеркам о Германии добавится четвертый — «Католический бог», о простом батраке Гансе, олураченном фашистами.

⁵⁴ *Слонимский М.* Германия. С. 40.

⁵⁵ Там же. С. 41.

⁵⁶ Там же. С. 32.

⁵⁷ Там же.

⁵⁸ Там же. С. 29.

С. Левин

**«ЧУЖОЙ» СРЕДИ СВОИХ:
К ПРОБЛЕМЕ САМОИДЕНТИФИКАЦИИ ЛЮТОВА
(«Конармия» и конармейский дневник И. Э. Бабеля)**

При появлении «Конармии» И. Э. Бабеля было замечено, что писатель представил в книге революцию и войну «через себя» («Книга — это есть мир, видимый через человека»¹, — скажет он спустя десятилетие). «Оттого так силен и убедителен Бабель, — писал в 1924 г. критик Як. Бенни (Черняк), — что он самого себя — «очкастого», «паршивенького», «кандидата прав Петербургского университета», поставляет под огонь столкновения с большевистской Россией. «Сочинитель и интеллигент» в нем самом служат ему средством уяснения коллизий войны и революции»². Абрам Лежнев уточнял: «Объективные неудобства своего наблюдательного положения, как интеллигента и еврея, он (Бабель) нередко обращал в достоинства: если он кое в чем «искажил» реальные соотношения и пропорции, то сумел увидеть то, чего не заметил бы другой»³.

Alter ego автора в «Конармии» — Кирилл Васильевич Лютов (под этой фамилией Бабель участвовал в «польском походе» Первой Конной армии в 1920 г.). Он одновременно рассказчик и действующее лицо. Большинство событий в книге даны в его восприятии. Бабель наделил его собственным ми-

роощущением и биографией (в работе над «Конармией» писатель использовал дневник, который вел во время похода), но вместе с тем сделал объектом иронии интеллигентские рефлексии Лютова и резкие переходы его настроений — от «упоения в бою» до крайнего пессимизма...

Лютов в книге — «кандидат прав Петербургского университета», «из киндербальзамов», как говорит о нем начдив Савицкий; «с очками на носу», «пораженный жалостью и одиночеством», он «смутными поэтическими мозгами переваривал... борьбу классов». В то же время он стремится стать своим для казаков, усвоить казачью посадку, стал уже «счастливым обладателем тачанки», но так и не смог принять закон этого мира — «рубить, кровь» («Учение о тачанке»).

Литературная генеалогия этого **негероического героя**, несомненно, восходит к Дмитрию Оленину из «Казаков» Л. Н. Толстого, пытавшемуся сбросить с себя путы городской, искусственной культуры и войти в мир первобытной органически естественной жизни казаков и добиться любви красавицы-казачки Марьяны. Но гены этой культуры в нем все-таки возобладали над стремлениями души и, по выражению Юлия Айхенвальда, «объерошиться (от имени героя повести дяди Ерошки. — С. Л.] ему... не удалось <...> и чуткая женщина, любимое дитя и первеница природы Марьяна заметила это и презрела его»⁴.

Но был у бабелевского Лютова, на наш взгляд, и более близкий по времени предшественник — еврейский солдат-интеллигент из очерка С. М. Дубнова «История еврейского солдата. Исповедь одного из многих». Под названием «История одного из многих (Исповедь сына века)» он печатался в №№ 11 и 14—15 «Еврейской Недели» за 1916 год. Цензура изуродовала изъятиями текст очерка, а затем запретила его дальнейшую публикацию. После февраля 1917-го тот же еженедельник (№№ 19—20, 21, 22, 23) воспроизвел его в полном виде под своим подлинным названием и с предисловием автора. В 1918 г. петроградское издательство «Разум» выпустило его в виде брошюры⁵.

Создавался очерк, по признанию Дубнова, на основе подлинной биографии вольноопределяющегося А. Н. Гольденштейна и его предсмертного письма-исповеди (он скончался от ранения осенью 1915 г.), а также других «известных (Дубнову) фактов, малоизвестных документов и наблюдений». Через «историю» и «исповедь одного из многих» (историк привнес сюда и собственную исповедальность) Дубнов воссоздавал биографию поколения и одновременно историю «35-летней войны с евреями» царского режима. Он стремился выйти к широким

историческим обобщениям о судьбе еврейского народа на грани XIX—XX веков, что в дальнейшем сделал в полной мере в своей «Всемирной истории еврейского народа».

По этому же пути использования художественной потенции документа для актуализации писательского вымысла и обобщения пойдет и Бабель в работе над «Конармией». Между двумя этими произведениями есть и жанрово-стилевые переключки. Свой «исторический очерк» Дубнов писал, по его словам, «внимая ужасам войны» (Первой мировой. — С. Л.), «взволнованным стилем ритмической прозы» (предисловие к очерку). «Это — своеобразная поэма, с ритмическим стилем, страстная, насыщенная слезами...»⁶. Бабель в рассказах «Конармии» («Кладбище в Козине», «Песня» и др.) часто использует этот прием, а в планах и набросках к «Конармии» определяет будущую книгу как «поэму в прозе»⁷.

Создавая образ еврейского солдата XX века, Дубнов разрушал создававшийся в русской литературе этого и предшествующего столетия стереотип. В статье, посвященной этому вопросу⁸, Андрей Соболев полагал, что «русские писатели <...> знали только две дороги (в изображении евреев. — С. Л.): с одной стороны, путь злопыхательства, ненависти, клеветы (Крестовский — «Тамара Бендавид», Маркевич, новременские беллетристы), с другой — приторнейшее благорасположение и тошнотворнейшая сентиментальность (Мачтет, Станюкович в «Исайке» и др.)». Даже Чехов и Горький, по мнению Соболева, не смогли найти верного тона и ракурса в изображении еврейских персонажей. Единственным исключением был, по его мнению «Иом-Кипур» Короленко, «где правдивость художественного замысла и исполнения превысили трафаретность». Традиция изображать евреев либо черной краской, либо розовой не была нарушена и в XX веке. Грянула «великая война», и в рассказах о евреях в ход пошли старые приемы. «Снова над всем царит розовая краска, снова сладкое благорасположение, снова приторность, снова слащавость, но с одним, на первый взгляд незначительным добавлением: с легкой примесью добродушной насмешки. Еврей на войне — это комическая фигура. Правда, он так же сражается, как и остальные, но как он комичен в каждом своем поступке...». На конкретных примерах — «Еврейчик» С. Гусева-Оренбургского, «Четверо» Ф. Крюкова, «Животворящее» Л. Добронравова, «Еврей» Н. Арцыбашева — Соболев показывает, как напыщен, ненатурален и болтлив еврей в этих произведениях...

У Дубнова же еврейский солдат — это взятый из жизни тип, укорененный в еврейской истории и традиции. Это свое-

образный еврейский Гамлет эпохи катастроф, начало которым положила Первая мировая война. Его «исповедь сына века», «история одного из многих» обрывается признанием, что «век-волкодав», как назовет его потом О. Э. Мандельштам, оказался сильнее идеальных побуждений его еврейской души: «согнулась душа, встрепенувшаяся в первый момент мировой бури, и, кажется, не выпрямится ей более.<...> Пусть новые люди придут на смену нам, сокрушенным исторической бурей» (27, 32).

Бабелевский Лютов — законный наследник и продолжатель духовных исканий этого еврейского солдата-интеллигента, окончившего свой путь на полях Первой мировой войны. Типологическое их сходство рождено временем, переломом эпох. Если для героя Дубнова такой гранью была трагедия еврейства во время мировой войны, то для героя Бабеля — это революция и гражданская война, которые он осмысляет, пропуская их «через себя»...

Важный момент этого типологического сходства — следование еврейской традиции в изображении героического, действительного начала. С. А. Ан-ский в известной статье «Еврейское народное творчество» (1909) обратил внимание на то, что «еврейской национальной и народной поэзии совершенно чужды такие мотивы, как иделизация богатырской мощи, увлечение воинственным азартом, воспевание рыцарских подвигов и побед <...>» На место «богатырей физической силы», считает Ан-ский, еврейское народное творчество поставило «столь же, если не более, могучих богатырей духовной силы, которые действуют не мечем (sic! — С. Л.), а словом или духом»⁹. И идет это от традиций и духа Торы и Талмуда, проникнутых мыслью, что, как пишет Ан-ский, «духовное совершенство, праведная жизнь, а главным образом умственное развитие, олицетворенное в изучении Торы, — единственная цель жизни и высшее благо человека на земле, что это совершенство дает человеку универсальную силу, возвышает его до степени божественности и покоряет к его ногам самую могучую материальную, физическую силу, которая является синонимом грубости и глупости»¹⁰.

Герои Бабеля и Дубнова, воспитанные в русле традиции *маскилим*¹¹, тем не менее ощущают себя частью своего народа и стремятся обрести духовную опору в его древних верованиях и обычаях. Привычные для современников мифологические образы осмысливаются ими в духе еврейской народной традиции. Например, герой очерка Дубнова попадает вместе с отцом в Песах 1891 года в полицейскую облаву и оказывается

в тюрьме среди жертв т.н. «московского изгнания» евреев и ожидает вместе с семьей высылки по этапу на родину. Здесь, в тюрьме, его отец — старый *маскил*, потрясенный и разочарованный в своих ожиданиях, открывает сыну истину. «Мой отец, обыкновенно молча сидевший в уголке и читавший свою маленькую карманную Библию, однажды подозвал меня и, ткнув пальцем в страницу, сказал: читай. Я прочел: «Истязуемый и пытаемый, он не открывал рта, как агнец, ведомый на заклание, как овечка перед стригущим ее, он был нем и безгласен. Темница и судилище похитили его... Его бросили в гроб вместе со злодеями» (Иесайа, гл. 53). Отец тихо сказал мне: «Ты знаешь, сын мой, о н и думают, что это пророчество относится к основателю их религии; но мы, евреи, знаем истинный смысл пророчества: здесь речь идет не о распятом Человеке, но о распятом Народе. Вот и теперь сыны нашего народа только за то, что они — евреи, брошены в темницу вместе с злодеями»...» (8).

А потом, в октябре 1914 г., оказавшись «в самом огне войны» на территории русской Польши, он увидит жертв «военного навета» — обвинения в измене, изгнания из прифронтовой полосы и казни невинных людей. «Я видел, как казак с налитыми кровью глазами бил седобородого хасидского раввина с лицом святого за то, что тот не ответил ему на заданные вопросы, которых несчастный не понимал, не зная ни слова по-русски. Выражение лица избитого старика показалось мне знакомым, и я вспомнил: ведь это обыкновенный лик Распятия, с тем же страдальческим выражением обращенных к небу глаз, вопрошающих: за что?.. И я вспомнил то, что сказал мне в детстве отец о распятом Человеке и распятом Народе...» (25)

А вот как открывается тот же персонаж в рассказе Бабея «У святого Валента» (таким его изобразил на иконе живописец, возможно, пан Аполек):

«В глубине открывшейся ниши, на фоне неба, изборожденного тучами, бежала бородатая фигурка в оранжевом кунтуше — босая, с разорванным и кровоточащим ртом. Хриплый вой разорвал тогда наш слух. Человека в оранжевом кунтуше преследовала ненависть и настигала погоня. Он выгнул руку, чтобы отвести занесенный удар, из руки пурпурным током вылилась кровь <...> фигурка в нише была всего только Иисус Христос — самое необыкновенное изображение бога из всех, виденных мною в жизни.

Спаситель пана Людомирского был курчавый еврей с клочковатой бородкой и низким, сморщенным лбом (выделено мной. — С. Л.). Впалые щеки его были покрашены кармином, над

закрывшимися от боли глазами выгнулись тонкие рыжие брови» (2, 88—89).

Образ Христа с ясно обозначенными еврейскими чертами у Бабеля, как и у Дубнова, — это образ преследуемого и «распятого народа»...

Первая линия сопоставления — герой очерка Дубнова и Лютов Бабеля — приводит нас к выводу об общем для этих персонажей (и их авторов) типе исторического мышления — с опорой на конкретику фактов и стремлением к широким историческим обобщениям. Так, говоря о погромах в прифронтальной полосе, о поголовном изгнании и издевательствах над еврейским населением со стороны русской армии и казаков, Дубнов употребляет выражение «нашествие новых Небухаднецаров (Навуходнасоров. — С. Л.), свирепствовавших в литовской Иудее» (27). А Бабель в «Конармии» видит в нашествии красных казаков на Польшу возвращение времен хмельничины: «Нищие орды катятся на твои древние города, о Польша, песнь об единении всех холопов гремит над ними, и горе тебе, Речь Посполитая, горе тебе, князь Радзивилл, и тебе, князь Сапега, вставшие на час!..» («Костел в Новограде» (2, 9).

Вторая линия сопоставления — Лютова, преобразованного двойника автора, с Бабелем времен конармейского похода, отразившимся в его Дневнике 1920 г., — позволяет уяснить направление и ход процесса эстетического освоения автором «Конармии» жизненного материала, поскольку, повторим, книга для Бабеля «есть мир, видимый через человека».

Кто же такой Лютов и каким он себя осознает, попав в казачью конармейскую среду? При всем сходстве его мироощущения и биографии с бабелевскими, нельзя, как нам представляется, отождествлять Лютова с молодым Бабелем дневника. Между автором и его персонажем действуют как силы притяжения, так и отталкивания. Бабель сумел в определенной степени (но не до конца) объективировать Лютова, чему служила направленная на героя ирония и введение в повествование других рассказчиков («Жизнеописание Павличенки...», «Конкин»).

Общим для Бабеля и Лютова являются отчужденность, отъединенность от окружающих. «Я чужой... не свой, я одинок», — записывает Бабель в Дневнике (3.8.20.; 1, 399). В рассказе «Конармии» «Мой первый гусь» Лютов, чтобы преодолеть «голод и одиночество без примера» и завоевать расположение казаков, неловко убивает шатавшегося по двору гуся и приказывает хозяйке изжарить его. Казаки одобряют его поведение («Парень нам подходящий»), принимают в свой круг и выслушивают прочитанную им «ленинскую речь». Лютов

спит рядом с ним на сеновале, он, казалось бы, свой для них и... не свой. «я видел сны и женщин во сне, и только сердце мое, обогренное убийством, скрипело и текло» (2, 34).

Для кого Лютов «чужой» и кто для него «свой»?

Прикомандированный к штабу дивизии («военный корреспондент 6 кавдивизии К. Лютов» — так подписывал свои корреспонденции в газету «Красный кавалерист»), он не остается там, несмотря на предложение начдива: «Поживешь с нами, што ль?», а идет к казакам и завоевывает их расположение. Он становится «обладателем тачанки и кучера в ней», испытывает при этом «восторг первого обладания» и пытается даже сформулировать «учение о тачанке» (одноименный рассказ). Но ему никак не удается научиться «тихомоловской посадке» (казацкому способу верховой езды) и сделать так, чтобы на него перестали обращать внимание казаки. И дело здесь не в стиле езды, а в стиле жизни и поведения. «Тихомоловской посадке» Лютов, как сообщает в эпилоге рассказа «Аргамак», все-таки научился, перейдя в другой эскадрон, но слиться с казаками так и не смог, потому что не изменил своим жизненным принципам. Он, как говорят о нем казаки, «молокан», «без врагов жить норовит». Идет вместе с другими в атаку, но «патронов не залаживает», предпочитая быть убитым, но не убивать. И поэтому эскадронный Баулин говорит ему: «Пошел от нас к трепаной матери...» («Аргамак» — 2, 135).

Во-вторых, Лютов «чужой» для политрука Галина из-за своего «слюнтяйства» («Вечер»). «Пораженному жалостью и одиночеством» интеллигенту («я болен, мне, видно, конец пришел, и я устал жить в нашей Конармии») политрук формулирует программу вовлечения «попутчика» (прямо по Троцкому) в революционный процесс: «Вы слюнтяй, и нам суждено терпеть вас, слюнтяев... Мы чистим для вас ядро от скорлупы. Пройдет немного времени, и вы увидите очищенное это ядро, выймете тогда палец из носу и воспоете новую жизнь необыкновенной прозой. А пока сидите тихо, слюнтяй, и не скулите нам под руку...» (2, 78).

Но Лютов «чужой» и для «своих» — евреев, с которыми его связывает общность судьбы и духовной жизни. Причиной оказывается его нееврейское поведение — ведь им он представляет себя как русского, в нем видят «начальство». Чтобы скрыть свои истинные чувства и утолить голод, он вынужден вести себя, как мародер и насильник («Мой первый гусь», «Песня», «Замостье»).

Отчуждение Лютова от окружающего мира доходит порой до крайних пределов. Так, «ленинскую речь» он прочел казакам «громко, как торжествующий глухой» («Мой первый гусь»).

Самоидентификация Лютова в книге происходит по отношению к двум равновеликим в его глазах величинам — «нашей Конармии» и еврейству, частью которого он постоянно себя сознает. Еврей-интеллигент, образно говоря, оказывается между молотом и наковальней.

В литературе о «Конармии» в прошлом много внимания уделялось взаимоотношениям Лютова и конармейской массы, значительно менее исследованной была область взаимоотношений героя-рассказчика и местечковой еврейской среды.

В книге, где основной сюжет — это Конармия, ее бои и походы, быт казаков и их взаимоотношения с местным населением, эта еврейская тема опосредствована, во-первых, позицией Лютова как стороннего наблюдателя, а во-вторых, тем, что в нем видят прежде всего интеллигента, «четырёхглазого» (участь которого, впрочем, в глазах казаков ничем не отличается от участи еврея: «тут режут за очки», — говорит начдив Савицкий в рассказе «Мой первый гусь»). Наконец, надо принять во внимание и то, что Лютов настолько отождествил себя с принятой им маской «русского» («Русский, хучь в рабины отдавай...» (2, 202)) — говорит о таком, как он, мужик-грабитель в рассказе «Дорога»), что в его сновидении («Замостье») таинственная Марго даже совершает над ним православный обряд прощания с мертвым...

Но избыть своей еврейской сущности Лютов не может. Он постоянно выдает себя неприятием кровавого насилия, ставшего на войне привычным ремеслом многих, **арифметики убийства** — он отказывается «вымарать одного», убитого Труновым пленного: «Не стану вымарывать! — закричал я изо всех сил, — Было десять, стало восемь» («Эскадронный Трунов», 2, 94). Лютов называет «сына раби» Илью Брацлавского, «последнего принца» в династии, умершего «среди стихов, филактерий и портянок», своим «братом» и принимает его «последний вздох» («Сын рабби», 2, 129).

Если в книге эта еврейская тема подчинена теме конармейской, то в Дневнике она выражена более отчетливо и имеет самостоятельное значение. Жанр дневника позволяет Лютову-Бабелю не скрывать своего тяготения к еврейству. Его «очки» постоянно обращаются в сторону еврейского быта и евреев, хотя в поле его зрения и другие национальности, а главное, что он хочет описать, — «буденовцы, кони, передвижения и война».

Но именно здесь, в Дневнике, возникает проблема межэтнического положения Лютова, человека с русской фамилией, который пошел в Конную армию, в сущности, не только чтобы наблюдать происходящее, но и защищать соплеменников-

евреев. «Разговоры с евреями, мое родное, — записывает Бабель в Житомире 5.06.20, находясь в семье Дувида Ученика, они думают, что я русский, а у меня душа раскрывается. <...> Иду защищать Ученика. Я им сказал, что у меня мать еврейка...» (1, 366)

Однако из-за этого скрываемого еврейства и маски «русско-го» Лютов-Бабель нередко попадает в двусмысленное положение и оказывается лишенным возможности не только защищать евреев, но даже сочувствовать им. В эпизоде «Демидовка. 24.7.20» он становится свидетелем надругательства казаков над еврейской семьей, но ничего не может предпринять в ее защиту, потому что, как он пишет, «я русский» (1,386).

Но эта маска не спасает Лютова от армейского антисемитизма. В рассказе «Мой первый гусь» начдив Савицкий, принимающий его документы, сразу определяет и кто, и откуда он: «Ты из киндербальзамов... и очки на носу. Какой паршивенький!..» (2,32). По древним антисемитским преданиям, евреи якобы были наказаны «паршой» за казнь «бога»...

Уже в Дневнике, как говорилось, Бабель сумел подняться над бытом и реалиями войны и увидеть судьбу своего народа в свете повторяющейся со времен Богдана Хмельницкого коллизии: «поляки — казаки — евреи — с поразительной точностью повторяется, новое — коммунизм» (1, 377—378). В черновом варианте рассказа «Костел в Новограде»¹² эта мысль выражена еще отчетливее: «Богдана Хмельницкого стали звать Буденным и кто-то неумирающий рвет с мясом угодливые пейсы жидовских арендаторов».

В свете этого, по выражению Бабеля, «фокуса» предстает ему рушащаяся жизнь, где приютами вечности остаются синагога и еврейская семья. Прикосновения к этим ценностям оживляют еврейскую душу автора Дневника и побуждают его усомниться в справедливости идеи отмены наций и будущего всемирного Интернационала. Предчувствуя, что его народ вступил в век Катастрофы, Бабель, тем не менее, отказывается верить, что это конец еврейской истории...

Уже в начале революции, в 1918 году, в одном из своих новожизненных очерков («Дворец материнства») Бабель полемически настаивал на приоритете общечеловеческих ценностей перед всеми остальными:

«Вскинуть на плечо винтовку и стрелять друг в дружку — это, может быть, иногда бывает неглупо. Но это еще не вся революция. Кто знает — может быть, это совсем не революция.

Надобно хорошо рожать детей. И это — я знаю твердо — настоящая революция» (1, 162).

«Человеки мрут, человеки рождаются <...> Дети должны жить. Рождать их нужно для лучшего устройства человеческой жизни» (Там же).

В Дневнике эта «мысль семейная», пользуясь толстовским выражением, занимает ведущее место. Куда бы ни попадал молодой Бабель, семья, семейная жизнь людей разных национальностей привлекает его пристальное внимание. Но особенно близка ему еврейская семья.

Вокруг семей в дневнике возникают сюжеты, которые, по-видимому, должны были получить дальнейшее художественное развитие в книге, но в большинстве своем остались за ее пределами. Вот несколько примеров.

Дважды возникает в дневнике **сюжет «Хелемская»**. Впервые — в «Житомир. 4.6.20»: «Хелемская, у которой был плеврит, понос, пожелтела, грязный капот, яблочный мусс. Зачем ты здесь, Хелемская? Тебе надо выйти замуж, муж — техническая контора, инженер, аборт или первый ребенок, вот какова была твоя жизнь, твоя мать, ты брала раз в неделю ванну, твой роман Хелемская, и вот тебе надо жить, и ты приспособливаешься к революции» (1,364). И вторая запись, почти в конце дневника («11.8.20. Ковель»), закрепляющая впечатление об истинном предназначении этой женщины: «В поезде грязно и голодно. Все исхудали, обовшивели, пожелтели, все ненавидят друг друга, сидят, запершись в своих кабинках <...> Хелемская грязная кухарит, контакт с кухней, она кормит Володю, еврейская жена «из хорошего дома» (1, 433).

Подробно описана **семья Дувиды Ученика** («Житомир. 5.6.20; Ровно. 6.6.20»): «... решаю остаться у Дувид Ученик, солдаты отговаривают, евреи просят. Умываюсь, блаженство, много евреев. Братья Ученика — близнецы? <...> Настоящий чай, ужинаю. Дети Ученика, маленькая, но многоопытная девочка с прищуренными глазами, трепещущая девушка 6 лет. Толстая жена с золотыми зубами. Сидят вокруг меня, в доме тревога. Ученик рассказывает — ограбили поляки, потом эти налетели, с гиком и шумом, всё разнесли, вещи жены.

Девочка — вы не еврей? Ученик сидит и смотрит, как я ем, на его коленях дрожит девочка. Она напугана, погребя и стрельба и ваши. Я говорю — будет хорошо, что такое революция, говорю от избытка. С нами плохо, нас будут грабить, не ложитесь спать» (1, 365—366).

Здесь яснее видна логика поведения Лютова-Бабеля. Оказавшийся между евреями и казаками и скрывающий свое еврейство, он, тем не менее, благодаря своим небольшим властным полномочиям («Я медик» (Там же)) и неравнодушию

(сказалась кровь!), все-таки одним своим присутствием («Не сплю. Я помешал <...> Спас» (1, 367)) отодвигает неминуемую беду, надвинувшуюся на еврейскую семью. И так поступает не раз.

Понимая обреченность таких семей, он пытается поднять их настроение и внушить хоть какую-нибудь надежду на лучшее будущее своими рассказами о «сладкой революции», «небылицами о большевизме»: «...Я говорю — ...все идет к лучшему — моя обычная система — в России чудесные дела — экспрессы, бесплатное питание детей, театры, интернационал. Они слушают с наслаждением и недоверием. Я думаю — будет вам небо в алмазах, всё перевернет, всех перевернет, в который раз, и жалко» (1, 385; «27.7.20. В Вербе»).

Автор дневника жадно всматривается в быт и людей из еврейских семейных гнезд. И отнюдь не всегда они вызывают у него сочувствие. Например, **семья Хастов** вызывает у него реакцию резкого эмоционального отторжения, однако он внимательно всматривается в них, стремясь понять «механизм» их внутрисемейных отношений («Ровно. 6.6.20»):

«Хасты, черноволосая и хитрая девица, приехавшая из Варшавы, ведет, фельдшер, злое словесное зловоние, кокетство, вы у нас будете есть <...>

Описать тот Хаст, сложная фурия, невыносимый голос, думают, что я не понимаю по-еврейски, ссорятся непрерывно, животный страх, отец — не простая вещь, улыбающийся фельдшер, лечит от трипперов (?), улыбается, невидим, но, кажется, вспыльчив, мать — мы интеллигенты, у нас ничего нет <...> пусть будут эти, мы измучены, явление ошеломляющее — круглый сын с хитрой и идиотской улыбкой за стеклами круглых очков, вкрадчивая беседа, за мной ухаживают, масса сестер, все сволочи (?) <...> всматриваюсь в Хастов внимательно, пристально» (1, 367—368).

В сюжете, связанном с **семьей Мудрика** («Белев. 11.7.20»), Лютов-Бабель выступает в роли политинформатора, разясняя обворованным евреям пользу советских нововведений и принимая на себя град вполне законных упреков. А между тем, он писатель — его томит тоска по утраченным рукописям:

«Обедаю у Мудрика, старая песня, евреи разграблены, недоумение, ждали советскую власть как избавителей, вдруг крики, нагайки, жида. Меня обступил целый круг, я им рассказываю о ноте Вильсона, об армиях труда, еврейчики слушают, хитрые и сочувственные улыбки <...> Евреи сидят на завалинках, девицы и старики, мертво, знойно, пыльно <...> тоска, рукописи, вот что туманит душу» (1, 369).

Молодого Бабеля чрезвычайно привлекает эта «густота еврейская» (1, 432 — «Владимир-Волынский, 8.9.20»), интенсивность еврейской семейной жизни. Его восхищает самоотверженная и энергичная еврейская женщина: «Ишес Хакл (ошибка интерпретатора бабелевского текста: вероятно, *Эшес Хаил* — *Доблестная жена*¹³. — С. Л.) угощает меня хлебом с маслом. Она «сама» зарабатывает, бой-баба. Шелковое платье, в доме прибрано. Я растроган до слез, тут помог только язык, мы разговариваем долго, муж в Америке, рассудительная и неторопливая еврейка» («13.9.20. Киверцы», 1, 434).

В «Планах и набросках к «Конармии» (запись “[31] Владимир Вол[ынский]”) эта непосредственность ощущений родной рассказчику еврейской семейной жизни достигает своего апогея:

«Копошусь в теплой яме. Горячность еврейской семьи. (здесь и далее подчеркнуто мной. — С. Л.) Сижу, не выхожу в город. Я сплю против беременной женщины. (см.: «Переход через Збруч». — С. Л.) <...>

Баня. Фантастическое зрелище. Жалкое русское зрелище. — Главное — к[а]к хорошо ощущать себя в этой горячей, потной яме. Даже корысть — не раздражает, она дружная, у них — восторг наживы, пятница, вечер, они мне благодарны. —

Заметка психологическая. — У русских есть смерть — здесь нет. Не представляешь себе этих лиц в гробу. — После этой призрачной сухой беспощадной жизни. С добротой такой простой и дикостью — бессмысленной — здесь к[а]к-то распариваешься. — Набираешься сил бессмертия. — Этот таинственный жар семьи. — Описать старика и старуху, корыстных, трудолюбивых, жадных к жизни без угасания. — Жизнь придушенная, но бьющая, к[а]к пламень — вверх из ямы...»¹⁴.

По свидетельству Дм. Фурманова, первого редактора «Конармии», книга задумывалась Бабелем в значительно большем объеме и работу над ней автор не считал законченной¹⁵. Сохранилось около 60 планов и набросков к «Конармии». Среди них, по словам их публикатора в 74 томе Литературного наследия покойного И. А. Смирин, есть и такие, которые «доведены до степени полузавершенности, когда сквозь черновой текст проступают и очертания композиции рассказа и контуры основных действующих лиц, общий смысл целого»¹⁶.

К их числу относится сюжет, озаглавленный автором «Демидовка»¹⁷ и имеющий непосредственное отношение к «семейной теме» в «Конармии». Возник этот сюжет из подробной записи в Дневнике от 24.7.20, начинающейся словами: «Из Кривих (села. — С. Л.) с Прищепой еду в Лешнюв на Демидовку...» (1, 386—388). Сюжет этой записи — вторжение При-

щепы (героя будущего одноименного рассказа) и казаков в жизнь и быт традиционной еврейской семьи. «...Мы в доме, где масса женщин. Семья Ляхецких, Швехвелей <...> Зубной врач — Дора Ароновна, читает Арцыбашева, а вокруг гуляет казачьё. Она горда, зла, говорит, что поляки унижали чувство собственного достоинства, презирует за плебейство коммунистов, масса дочерей в белых чулках, набожные отец и мать. Каждая дочь — индивидуальность, одна жалкая, черно-волосая, кривоногая, другая — пышная, третья — хозяйственная, и все, вероятно, старые девы.

Главные раздоры — сегодня суббота. Прищепа заставляет жарить картошку, а завтра пост, 9 Аба, и я молчу, потому что я русский. Зубной врач, бледная от гордости и чувства собственного достоинства, заявляет, что никто не будет копать картошки, потому что праздник» (1, 386).

Дальнейшие события приводят к тому, что гордость Доры Ароновны «сломлена» и евреек, разбудив в ранний час 9 Аба, заставляют варить «русское мясо». Мародерство казаков сопровождается их сексуальной агрессией. Лютов особенно остро переживает это, потому что сознает себя плоть от плоти **родового еврейского тела**. Ему невыносимо сознавать, что Прищепа, который «ухаживает за еврейкой из Кременца» на глазах у ее «кривого тестя», может иметь у нее успех: «...я думаю с тоской — неужели она, говорит Прищепа — согласилась (у него все соглашаются). Вспоминаю, у него, вероятно, сифилис, вопрос — излечился» (1, 387).

Пытаясь, как-то разрядить ситуацию и внушить евреям надежду на лучшее, Лютов, как уже говорилось, рассказывает «небылицы о большевизме, расцвет, экспрессы, московская мануфактура, университеты, бесплатное питание <...> я увлекаю всех этих замученных людей» (Там же).

Но жестокая реальность войны, которая «зевает за окном», говорит лишь о том, что «все повторяется» на новом витке истории — и не только ужасы хмельничины, но и все то, что связано с разрушением Храма:

«9 Аба. Старуха рыдает, сидя на полу, сын ее <...> приятным тенором поет и объясняет историю разрушения храма. Страшные слова пророков — едят кал, девушки обесчещены, мужья убиты, Израиль подбит, гневные и тоскующие слова. Коптит лампочка, воеет старуха, мелодично поет юноша, девушки в белых чулках, за окном Демидовка, ночь, казаки, всё как тогда, когда разрушали храм» (1, 387).

Завершается эпизод отъездом автора Дневника и казаков из Демидовки.

Материал будущего рассказа сложился, теперь надо выстроить его фабулу и расставить акценты, что Бабель и делает в планах и набросках к рассказу, который, по-видимому, должен был носить название «Демидовка». Видно, как Бабель ищет сюжетную его доминанту, сопоставляя различные события — семейную жизнь, войну и 9 Аба (разрушение Храма). Определяет форму («короткие главы») и темп повествования («рассказ стремителен, быстр»).

Порядок глав-эпизодов неоднократно меняется, так же как варианты его начала и конца. Наиболее важен, с нашей точки зрения, второй набросок — по сути законченный сюжет, в котором «мысль семейная», пользуясь известными выражениями Льва Толстого, сопрягается с «мыслью народной» — постижением смысла происходящих исторических событий через сопоставление их с поворотным событием еврейской истории — разрушением Храма и Иерусалима. Именно на уровне семьи, в традициях Льва Толстого, видит Бабель воздействие истории на человеческие судьбы...

Позволю себе процитировать в извлечениях этот набросок, выделив графически то, что, на мой взгляд, является доказательством высказанного суждения.

«Начало — описание семьи, анализ ее чувств и веры. — Как я всё это узнаю? Повсеместное явление. (Их) политическое мировоззрение <...> II. Наш приезд. Картошка, кофе. Спор Прищепы с юношей. Мой рассказ о Соввласти. — Вечер. Местечко за окнами. 9 Аба. — Разрушение Ерусалима. — Описание девушки из Кременца. В доме у *будущего* тестя. На утро она — распатланная, посеревшая защищает телегу, разговор с комиссаром. Прищепка ходит вокруг нее и тискает, наши девушки варят свинину, кременецкая шьет. — Демидовские экстерны. — Зубной врач — гордость семьи. Описание семьи — отец старого закала почтенный еврей, новые побегги, <...> прислушивается к новому, не мешая, мать — посредница, дети разъезжаются, живут, напоенные традицией, есть горбунья, есть гордая (зубной врач), есть пышная (замуж<няя>), одна, посвятившая себя семье и хозяйству, другая — акушерка, помогающая бабам, она состарится в Демидовке, — Описать каждую сестру отдельно. (Три сестры — Чехова?). — Литерическое вступление. — **В эту-то семью, все еще не раскалывающихся, приехали мы с Прищепой** — Нам прислуживает горбунья, потом к утру раскачалась и Дора Ароновна, как тяжело смотреть на сломленную женскую гордость. Красивая девушка, единственная красивая, поэтому так сложно выйти замуж — в ней смесь местечкового здоровья, евр<ейских>

влажных, очень черных глаз, польского лукавства и варшавские туфли, ее эти всегда озабоченные родители зачали в простую веселую минуту, в остальных сложность, самолюбие — единственный сын, 16 лет, значит шесть лет войны, нервен, фантаст, любимый сын матери. — Плач Иеремии. — Сын читает, дочери лежат на кроватях, в белых чулках. — Все нам подносят. — **О 9 Аба — построить на соответств<ии> молитвы и того, что за стеной** (вот эта доминанта! — *С. Л.*) — Выстрелы — замок, пулеметчики с позиций, гуляет казачня. — Дора Ароновна — у нас праздник — бледнеет от гордости. — Прищепка — кровь проливаем. — Я рассказом увлекаю всех — дольше всех сопротивляется Дора Ароновна...».

Ниже Бабель сжато набрасывает план этого варианта рассказа:

«I. Описание семьи. II. Картошка, скандал, мы едим, Прищепка с затуманенными от ласки глазами. — Они жалкие. Говорим о поляках. Дора Ароновна мечтает о Западной Евр<опе>, она в Киеве была в кружках, я рассказываю небылицы. — Прищепка и гимназист. — Вечер. Погода пасмурная. Местечко невыразимо печально, кривой тесть, приходят пулеметчики. Пр<ищепка> любезничает с девушкой, гимназист идет в синагогу. — III. 9 Аба. — Плач Иеремии. Ночь на дворе. Утро. Пулеметчики уезжают, телега, девушка из Кременца. Гордость Иды (sic! — *С. Л.*) Ароновны сломлена. — Что читают 9 Аба?»

Это видение жизни в тысячелетней перспективе, сопоставление кровавого настоящего с прошлым воплотится затем в «Конармии», хотя такой подробной разработки семейной темы, по условиям времени, книга уже не предполагала. Вероятно, поэтому не появился в ее составе рассказ «Демидовка», в свою очередь восходящий к раннему «семейному» рассказу Бабеля «Мама, Римма и Алла» (1916). А от «Демидовки» отпочковались рассказы «Прищепка» (1923) и «Поцелуй» (1937).

Но и в самой «Конармии» «мысль семейная» проходит красной нитью. По нашим подсчетам, в книге прослеживается не менее шестнадцати сюжетов, связанных с темой семьи в условиях революции и гражданской войны...

На связь Бабеля и его Лютова с еврейской традицией указывают имеющиеся в тексте еврейские аллюзии. Это убедительно показал в своем недавнем исследовании профессор Эфраим Зихер (Израиль). По его мнению, «еврейские читатели — современники Бабеля, выросшие до революции в русско-еврейской культурной среде, легко могли распознать в «Конармии» «скрытые мотивы» и аллюзии, которые могут

быть поняты лишь двуязычными или многоязычными читателями, умевшими читать между строк <...> Поколение Бабеля, с детства говорившее на идише, но считавшее русский своим родным языком и знавшее в какой-то степени иврит, по мере усиления ассимиляции все больше и больше отдалялось от мира еврейских молитвенников и жизни местечка. Идиш и русский стали для этих молодых интеллектуалов языками современности и революции <...> Многоязычие открыло им доступ к секретному коду, известному выросшим до революции, но утерянному следующим поколением, когда ассимиляция и сталинский террор уничтожили последние еврейские культурные учреждения, связанные как с идишем, так и с ивритом. Так, использование еврейских текстов (Маймонида, Раши) в рассказе «Гедали» из «Конармии» отсылает читателя к приговоренной к исчезновению культуре, вызывают у него специфические культурные ассоциации и отражают определенную иронию»¹⁸.

Приводятся примеры. «Лютов в «Гедали» пристально вглядывается в небо над Житомиром в поисках «робкой звезды». «Робкая звезда» подмигивает ему, как бы намекая, что наступила суббота и евреи идут молиться в синагогу. Это тоже след той жизни, которая была разрушена погромами и войной. Лютов отвернулся (? — С. Л.) от своего еврейского прошлого, но его все-таки к нему тянет: он вспоминает дом дедушки, тома Ибн-Эзры, средневекового испанского комментатора Библии, вспоминает, как бабушка зажигала субботние свечи, закрыв глаза и напевая молитвы. Детское сердце раскачивалось, «как корабль на заколдованных волшебных волнах» — волнах Талмуда, который обычно сравнивают с морем <...> Имя лавочника Гедали, связанное с именем Гедальяху, чье убийство примерно в 585 г. до н.э. положило конец еврейскому суверенитету после разрушения Первого Храма, — напоминает о падении Иудеи. <...> Гедали — «а зайденер менш» (шелковый человек), Бабель использует идишское выражение, обозначающее человека, старательно изучающего Талмуд, а «шелковые ремни его дымчатых глаз» также вызывают ассоциацию с филактериями».

Эти еврейские аллюзии, полагает Э. Зихер, входили в текст «Конармии» и через интертекстовые переключки с Бяликом и другими старшими современниками автора.

Можно было бы отыскать в тексте книги Бабеля и другие «отсылки» к Священным книгам и примеры того, как оценка революционной действительности дается в переосмысленной форме библейской образности. Так, в том же «Гедали» Лютов формулирует свой ответ на упрек собеседника, говорящего,

что «она (революция. — С. Л.) прячется от Гедали и высылает вперед только стрельбу»:

«— В закрывшиеся глаза не входит солнце, — отвечаю я старику, — но мы распорем закрывшиеся глаза...» (2, 30).

Здесь — скрытая и переиначенная цитата из Священных книг. В 146-м псалме сказано: «Господь дает зрение слепым» (146: 8). Причем под «слепыми» подразумеваются поколения, «которые «передвигаются» в Торе, как слепые... Читают в Торе и не знают, что они читают. Учат и не знают, что они учат».¹⁹ Но в будущем, когда придет Господь, «тогда откроются глаза слепых и уши глухих отверзнутся» (Йешая 35: 5). По мнению комментатора, «выражение “открыть глаза” часто используется в Торе в переносном смысле и имеет значение “выйти на качественно новый уровень мышления, обрести понимание” (Рамбам)»²⁰.

Лютов пересмысляет этот образ и говорит как бы от имени самой революции, которая взяла на себя право насильем открывать «закрывшиеся глаза» и вести людей к «светлому будущему». И сам же понимает неубедительность этой концепции в сравнении с логикой Гедали: нельзя хорошее дело делать бесчеловечными средствами. Не найдя оправдания этой «разумной» жестокости, Лютов только констатирует факт: «Она не может не стрелять <...>, потому что она — революция...» (2, 30).

Коллизия самоопределения Лютова, на наш взгляд, в пределах цикла не разрешается, но тенденция ее разрешения обозначена движением авторской мысли. История «невхождения» Лютова в конармейскую массу («Аргамак» — это мнимый финал его попыток) является, тем не менее, важнейшим сюжетобразующим фактором всей книги. Тенденция разрешения коллизии Лютов — казаки — евреи, как нам представляется, заложена в подлинном финале — «Сын рабби».

Еврейский солдат-мечтатель — им и является Лютов — должен сделать выбор между любовью к матери («Все смертно. Вечная жизнь суждена только матери. <...> Память о матери питает в нас сострадание...» («Рабби», 2, 35)), присущим ему человеколюбием, поэтическим восприятием жизни и жестоким требованием «века-волкодава»: «Но если он скажет: «Солги», солги. / Но если он скажет: «Убей», убей» (Э. Багрицкий).

Коммунистическая идеология внушила «сыну рабби» Илье Брацлавскому, духовному брату Лютова, не решавшемуся оставить свою мать и броситься в омут революции, что «мать в революции — эпизод». Он подчинился приказу, был «услан» на фронт и потерпел крах своих надежд и мечтаний...

Лютов не переступает эту черту, а потому обречен на одиночество и непонимание окружающих. «Я устал жить в нашей Конармии...» — говорит он («Вечер», 2, 78). «Одиночество без примера» (2, 33), к которому он возвращается после безуспешных попыток «сесть на коня» и посадкой не отличаться от других,²¹ — это состояние переоценки нового жизненного опыта (революции и гражданской войны) в свете вечных духовных ценностей²².

Где же выход?

В рассказе «Рабби» (2, 36) происходит такой выразительный диалог между хасидским цадиком и Лютовым:

- Откуда приехал еврей? — спросил он и приподнял веки.
- Из Одессы, — ответил я <...>
- <...> Чему учился еврей?
- Библии.
- Чего ищет еврей?
- Веселья.

Средоточием этого знания о Всевышнем и «веселья» является для Лютова суббота, чей приход он не может пропустить:

— Гедали, — говорю я, — сегодня пятница, и уже настал вечер. Где можно достать еврейский коржик, еврейский стакан чаю и немного этого отставного бога в стакане чаю?..

(«Гедали», 2, 31)

За напускной иронией Лютова, как и самого Бабеля, несомненно, скрывалось искреннее чувство. Был ли Бабель религиозен? Если Юдит Штора-Шандор полагает, что да, то Симон Маркиш считает, что в традиционном смысле — нет, «но религиозные традиции были неотделимой частью его натуры всегда». И ссылается при этом на переписку Бабеля с матерью и сестрой (в России она до сих пор публикуется с большими купюрами)²³.

В письме из Одессы А. Г. Слоним 9 октября 1936 г. Бабель сообщает, что третью неделю живет в городе своего детства и юности «...и жил бы превосходно, если бы не тревожные сведения о здоровье матери и если бы не головная боль от гайморита. Дни стоят сияющие. Бывший бог наказывает меня за то, что я оставил удивительный этот город (выделено мной. — С. Л.)» (1, 347—348).

Бабель, как и его Лютов, мог иронизировать над «бывшим», «отставным» Б-гом (это настроение диктовала «безбожная» эпоха, отменившая все прежние духовные ценности: вспомним одну из реклам Маяковского: «Нами оставлены от прежнего мира только папиросы «Ира»), но он не мог не по-

нимать, что это слишком серьезно, что здесь — единственная опора человека в рушащемся мире...

Война и революция увидены Бабелем сквозь призму вечных ценностей, куда входят знание о Всевышнем и полагание на Него, семья и человек во всей его сложности и противоречивости. «Мысль семейная», сопрягаясь с «мыслью народной» — размышлениями об исторических судьбах еврейского народа во взаимосвязях с другими народами, — проходит через Дневник и главную книгу писателя «Конармию». В этом эпическом повествовании находит свое место «исповедь сына века» — еврейского солдата-интеллигента, ищущего свое истинное «я» в слиянии со своим народом и Тем, Кто его создал...

¹ *Бабель И.* Соч.: В 2 т. М., 1990. Т. 2. С. 385. В дальнейшем художественные произведения, публицистика и письма Бабеля, кроме оговоренных случаев, приводятся по этому изданию с указанием в скобках номера тома и страницы.

² *Бенни Як. И.* Бабель // Печать и революция. 1924. Кн. 3. С. 136.

³ *Лежнев. А.* Русская литература за десять лет // Лежнев А. З., Горбов Д. Литература революционного десятилетия. [Харьков], 1929. С. 60.

⁴ *Айхенвальд Ю.* Силуэты русских писателей. М., 1994. С. 234.

⁵ *Дубнов С. М.* История еврейского солдата. Исповедь одного из многих. Петроград, 1918. В дальнейшем цитаты из очерка даются по этому изданию с указанием в скобках страницы.

⁶ *Дубнов С. М.* Книга жизни. Воспоминания и размышления. СПб., 1998. С. 531.

⁷ Литературное наследство. Т. 74. Из творческого наследия советских писателей. М., 1965. С. 494.

⁸ *Соболь А.* Русские беллетристы и евреи на войне // Еврейская неделя. 1915. № 25. С. 46—48.

⁹ *Ан-ский С. А.* Еврейское народное творчество. // Евреи в Российской Империи XVIII—XIX веков. Сб. трудов еврейских историков. М., 1995; Иерусалим, 5755. С. 666.

¹⁰ Там же. С. 658.

¹¹ Хаскала — («просвещение», откуда *маскил*, *маскилим* — просвещенный, просвещенные), еврейское идейное, просветительское, культурное, литературное и общественное течение, возникшее во второй половине XVIII в. Хаскала выступала против культурно-религиозной обособленности еврейства и за усвоение светского европейского образования.

¹² РГАЛИ, ф. 1559, оп. 1, ед.хр. 13.

¹³ На нее впервые указал Йоханан Петровский-Штерн в статье «Одиссей среди кентавров» // Егупец. Вып. 9. Киев, 2001. С. 222.

¹⁴ *Бабель И.* Собр. соч.: В 4-х т. М., 2006. Т. 2. С. 354—355.

¹⁵ Литературное наследство. Т. 74. С. 482.

¹⁶ Там же.

¹⁷ Впервые опубликован в указанном томе «Лит. наследства» (с. 495—496). В более полном виде (подготовка текста и комментарии Э. Когана) — в: Лит. обозрение. 1995. № 2. С. 49—56; *Бабель И.* Собр. соч... Т. 2, с. 335—340.

¹⁸ *Зихер Э. Бабель, Бялик и другие... Культурно-литературный контекст рассказов И. Э. Бабеля // Параллели mlprp: русско-еврейский историко-литературный и библиографический альманах. № 8—9. М., 2007. С. 56—76.*

¹⁹ Теилим. «Швуг Ами». 2004. С. 573.

²⁰ Пятикнижие и Гафтарот. Комментарий составил д-р Й. Герц. М.; Иерусалим, 1999. С. 102.

²¹ В пьесе «Закат» один из героев (Левка) полагает: «Еврей, который сел на лошадь, перестал быть евреем и стал русским» (2, 278).

²² Напрашивается сравнение с «Экклезиастом» («Кохелет»), в котором скептически-уничтожающая оценка всех жизненных ценностей — «суета суета, всё суета» (1:2) — подводит к мысли — «всё деяния Всесильного» (8: 17), «Всё, что тебе по силам делать, делай» (9: 10), «В конце концов все будет услышано, Всесильного бойся и заповеди его соблюдай, ибо в этом [и состоит] весь [смысл сотворения] человека» (12:13).

²³ *Маркиш С. Русско-еврейская литература и Исаак Бабель // Бабель И. Детство и другие рассказы. Биб-ка Алия, 1989. С. 327.*

О. Б. Вайнштейн

«СЛАДОСТЬ И СВЕТ»:

КОНЦЕПЦИЯ КУЛЬТУРЫ МЭТЮ АРНОЛЬДА

Видный английский критик и поэт Мэтью Арнольд (1822—1888) мало известен нашему читателю. Между тем его «Литературно-критические эссе» (1865 и 1888 г.) регулярно переиздаются на Западе, а стихотворение «Дуврский берег» входит во все поэтические антологии. В англоязычных странах Арнольд считается классиком либерального гуманизма, родоначальником современной критики, и для британцев его имя звучит так же, как для французов — Сент-Бев, а для русских — Белинский.

В творческом наследии Мэтью Арнольда особое место занимают размышления по теории культуры. Они встречаются практически во всех критических эссе и лекциях по литературе, однако наиболее четкое выражение концепция культуры Мэтью Арнольда получила в его программном труде «Культура и анархия» (1869). В этой книге суммированы не только его взгляды на европейское образование, но и наблюдения над английским обществом и собственный опыт работы школьным инспектором. Тематический стержень книги составляет противопоставление культуры и анархии как духовности и бездуховности. Эта оппозиция разрабатывается на двух уровнях. Первый уровень — развитие личности. Здесь культура и анархия

предстают антитеза образованности и невежества, духовного просветления и общих предрассудков. На втором уровне речь уже идет об общественном развитии, и культура выступает носителем всеобщего просвещения, гармонии и гуманизма, анархия же олицетворяет собой бездуховную машинную цивилизацию и сопутствующее ей обывательское сознание.

Наиболее общее определение культуры в книге формулируется следующим образом: «Культура — поиски общего совершенства, стремление узнать лучшее из того, что известно и осмыслено в мире и посредством этого знания по-новому и свободно взглянуть на устоявшиеся привычки и понятия, которых мы механически придерживаемся»¹. Как обобщает австралийская исследовательница Имельда Палмер, арнольдовское понятие культуры включает три аспекта: 1) культура как стремление к совершенству во всем: в поведении, в знаниях, в морали; 2) культура как самопознание, открытие своего лучшего «Я», что восходит к религиозным представлениям Мэтью Арнольда; 3) культура как средство духовного преобразования общества через просвещение. Таким образом, культура — познание себя и мира, сознательное предпочтение и распространение лучшего².

Арнольдовская концепция культуры соединяет в себе образованность, творчество, научное познание и этику: вопросы взаимоотношений людей, нравственного поведения и, в конечном счете, веру. Используя знаменитое выражение Свифта из памфлета «Битва книг», Арнольд называет культуру «сладостью и светом» («sweetness and light»)³. У Свифта это выражение возникает, когда речь идет о споре Древних и Новых авторов. Эзоп, герой «Битвы книг», рассуждает о преимуществе Древних, сравнивая их с пчелой, которая дает мед и воск, обеспечивающие две существенных субстанции — сладость и свет⁴. Арнольд подхватывает аргументацию Свифта, усматривая в классической литературе основы базового образования и культуры. «Свет» для него символизирует рациональное начало, «сладость» — моральное. В «Литературе и догме» аналогичным образом религиозное просветление названо «сладостным разумением» («sweet reasonableness»), т.е., как видим, для Арнольда важен синтетический характер духовности. В самом широком смысле культура для него — «внутренняя духовная активность, характеризующаяся распространением сладости, света, жизни, сочувствия»⁵, в самом узком — классическая образованность.

Свет — неслучайное обозначение культуры. Арнольд использует его как традиционную метафору «свет истины», «про-

свещение», так и в специфическом смысле как синоним радости, культуры и духовности. Свет знаменует путь к истине: «Красота и свет — свойства истины»⁶. Насыщенность светом — признак разума, синоним рационального познания, образованности. «Свет — редчайшая вещь, — писал Мэтью Арнольд, — и его надо беречь как настоящее сокровище»...⁷.

Исходя из «светоносности», Арнольд различает два принципа в английской культуре. Хотя названия этих принципов ориентированы на конкретные исторические типы культур, они употребляются Арнольдом скорее метафорически, в широком обобщающем смысле слова. Первый, эллинизм (Hellenism), связывается с приматом мысли над действием, со спонтанностью сознания, легкостью и радостью. Непредвзятая ясность духа и свободная игра мысли — характерные черты эллинизма. Второй, иудаизм (Hebraism), сосредоточен на практическом действии, на проблемах совести и поведения, греха и послушания. Иудаизм требует прежде всего строгости, ориентации на определенные правила, и эти черты иудаизма унаследовала христианская этика: самопреодоление, самопожертвование, подчинение во имя Христа. Сравнивая греческую и христианскую модели сознания, Арнольд приходит к выводу, что первая более расположена стать оплотом культуры как «сладоности и света». Именно светоносные культуры, в рамках данной концепции, могут победить анархию. Отсюда следует логичный призыв расширить изучение классических авторов как залог духовного преобразования общества через просвещение: «постепенно преодолевать невежество культурой, богатством и разнообразием духовной жизни»⁸.

Собственно, просветительская деятельность самого Мэтью Арнольда, — и его инспекторская работа, и популяризация классической культуры, и ознакомление англичан с немецкими и французскими авторами — все это было пропагандой «эллинизма».

Книга «Культура и Анархия» писалась под впечатлением многочисленных поездок по Англии. Арнольд как инспектор школ имел случай близко познакомиться с жизнью самых различных слоев британского общества. Выводы были поистине удручающими. В жизни англичан господствует «machinery» — механический, материальный принцип, обуславливающий и узость взглядов, и пренебрежение духовными благами во имя комфорта и самодовольства. Техницизм, по мнению Арнольда, подавляет культуру. Средний англичанин гордится хозяйственными и политическими достижениями своей страны, считая, что он всего добился и что «все дозволено». Девиз

«Делай, что хочешь» («doing as one likes») приводит к Анархии, верной спутнице механической цивилизации.

Анархия — реальная угроза государству, порядку и прежде всего, культуре, ибо она мыслится как гармоническое, организирующее начало. Заметим, что здесь Арнольд отчасти сам себе противоречит, поскольку ранее он приписал строгость и подчинение правилам именно иудаизму, а основанием культуры считал спонтанно-радостный эллинизм. Однако вспомним, что четкое иерархическое строение, жесткая система власти и подчинения — этими приметами издавна отличались литературные утопические государства — «Касталия» Гессе, «Педагогическая провинция» Гете, «Город Солнца» Кампанеллы, «Новая Атлантида» Ф. Бэкона. И все же иерархия у Арнольда — особого порядка. Менее всего она опирается на классовые различия.

Одно из самых известных мест «Культуры и анархии» — критика английской классовой системы. Арнольд выделяет три класса: аристократия, средний класс и бедняки. Ни один из них не годится на роль носителя культуры. Аристократы, с которыми наш автор общался, служа секретарем лорда Лэндсоуэна, представляются ему варварами: они превыше всего ценят красивые вещи, спорт, заботясь исключительно о внешнем, и абсолютно непроницаемы для идей. В лекциях о кельтской литературе он с возмущением говорит о лорде Ашберэме, владельце древних манускриптов, который держит их под замком из желания увеличить цену.

В своем полемическом пафосе Арнольд был неодинок. По существу, он продолжает довольно традиционную критику английского среднего класса, для характеристики которого Байрон употреблял термин «лицемерие» (*sant*), а Теккерей — «снобизм». Арнольд вслед за немецкими романтиками заклеил средний класс презрительной кличкой «филистеры»: он рассуждает о «филистинизме» (*philistinism*) по аналогии с немецким словом «*Philister*» и библейскими филистимлянами. Филистер, обыватель, противящийся новому и судящий обо всем с точки зрения здравого смысла — постоянный мысленный оппонент Арнольда. Он начисто лишен интеллектуального любопытства, а потому и критичности взгляда, основанной на бескорыстном желании расширить свой кругозор. Вытекающее отсюда печальное свойство — провинциальность суждений, неразличение средства и цели, отсутствие иерархии культурных ценностей. Решающее значение для филистера имеет не «лучшее из того, что известно и осмыслено в мире», а мнение большинства, *das Gemeine*. «Филистер — сильный, упорный,

просвещенный противник избранных, «детей света»⁹. Англия, по мнению Мэтью Арнольда, — цитадель филистинизма, поскольку традиционная британская косность стает на пути любых прогрессивных начинаний. Итак, средний класс безнадежен для импульсов культуры в силу своих обывательских предрассудков, а бедняки, думающие о куске хлеба, нуждаются прежде всего в элементарном просвещении.

Его позиция, как легко предположить, вызвала волну возмущения среди соотечественников. Так, Фицджеральд Стивен в полемике с Арнольдом настаивал на величии достижений Британии. А Арнольд в ответ написал знаменитое обращение «Мои сограждане», в котором привел ряд нелестных мнений иностранцев об англичанах и поставил следующий диагноз британскому обществу: три фактора составляют современную английскую жизнь — возрастание промышленности, богатства и торговли; распространение знаний; любовь к прекрасному. Из них филистер усвоил лишь первый фактор»¹⁰.

Но, к счастью, в каждой среде есть чужаки, энтузиасты духовности. Они-то, объединившись, и могут стать исходной силой для культурных преобразований. «Это социальная идея, и люди культуры — настоящие апостолы равенства»¹¹. Идеальные адепты культуры, преодолевшие классовые ограничения — Абельяр, Гердер, Лессинг, Гумбольдт.

Спрашивается, каким же образом могут адепты культуры осуществлять свою миссию в викторианской Англии, славящейся своей консервативностью и приверженностью к традиционным формам? Рецепт Арнольда звучит весьма утопично: «Проникнувшись идеями разума и совершенства, мы постепенно наполняем ими основы Государства, приспособляем его внутреннюю структуру, законы и учреждения, и делаем Государство выражением нашего лучшего Я»¹². Подобный интеллигентский проект, по существу, разумеется, невыполнимый, был достаточно характерен для викторианской Англии — недаром впоследствии именно арнольдовскую линию стал развивать на словах и на деле Уильям Моррис.

Тем не менее «Культура и анархия» не оставляет сомнений в том, кого Арнольд прочит на роль носителя культуры. Идеальных адептов культуры Арнольд называет «дети света». Это культурный человек независимо от его социального происхождения. Он — наглядное претворение в жизнь принципов «сладости и света». Из всех сочинений Арнольда складывается образ культурного человека, интеллигента — этот концепт возникает и из образа автора, из обращений к читателю, из характеристик героев эссе и книг, из общего тона повествования.

Культурный человек — продукт «того субстрата правильно-го мышления и правильного поведения, который, наверное, существовал во все века»¹³. Он напрямую связан с золотым запасом «лучшего из того, что известно и осмыслено в мире», особенно если в этот бесценный источник включить и нравственные модели. В нем он черпает и взгляды, и манеры, и жизненную мудрость, в нем — залог его силы и уверенности.

Первая примета культурного человека — «гармоническое совершенство, соединяющее красоту и разумение»¹⁴. Гармония — движение к «сладости и свету», то есть к культуре. Обладающий ею открыт для всего нового. У него появляется раскованность, гибкость («flexibility»). Это одно из излюбленных понятий Арнольда. В Итонской лекции читаем:

«“Flexibility” — прозрачность мыслей, чистота и уместность языка, свобода от предрассудков и косности, открытость ума, дружелюбные манеры — все это сопутствует и зависит от счастливой гибкости»¹⁵. Гибкость — следствие интеллектуального освобождения, когда проясняется порядок среди множества идей и фактов. Но это просветление не означает успокоения — напротив, подразумевается внутренняя активность, расширение и уточнение своих представлений о мире.

В обращении с людьми главное свойство культурного человека — *amenity*, любезность или приятность: «Мягкое и располагающее обхождение, услаждающая вежливость»¹⁶. Здесь можно попутно привести характеристику истинного джентльмена из эссе Джона Генри доктора Ньюмена об университете: «Что образует джентльмена? Легкость, владение собой, вежливость, умение вести беседу, способность никогда не причинять боль, возвышенные принципы, тонкость суждений, красноречие, вкус, уважение к приличиям, благородство и терпимость, искренность и осмотрительность, честность»¹⁷. Воплощением этих качеств для Арнольда всегда оставался его отец, Томас Арнольд, директор знаменитой школы Регби.

Сам Арнольд по мере сил старался воплощать в жизни свой идеал культурного человека. Уже молодым человеком он свободно говорил по-французски, щеголял изысканными манерами и отличался остроумными суждениями. Не случайно Генри Джеймс заметил: «В отсутствие Арнольда разговор сразу стал казаться более плоским и буквальным»¹⁸. Концепт культурного человека служил для Арнольда немаловажным критерием и при оценке литературно-критических произведений. Так, французская легкость и шарм пленили Арнольда в эссеистике Сент-Бева. «Беседы по понедельникам» излучают веселость и свежесть, так как чувствуется, что их автор наслажда-

ется своим занятием»¹⁹. И в своих текстах Арнольд старался культивировать аналогичный тон, что ему неплохо удавалось. Своим собратам по ремеслу он рекомендовал перенять у французской критики «тонкий такт»²⁰ и чувство юмора, удерживающее от крайностей и однобоких суждений. «Ясная и спокойная улыбка»²¹ — непрменный атрибут критика и любого культурного человека.

Концепция культурного человека, выдвинутая Мэтью Арнольдом, обуславливает переход Арнольда в 1870-е годы к усиленным занятиям этическими проблемами. В его ранних трудах уже чувствовалось, что его прежде всего интересует духовная жизнь человека, однако Арнольд никогда не пытался выступить с последовательной этической теорией. Уильям Роббинс, автор серьезной монографии «Этический идеализм Мэтью Арнольда», резюмировал: «Арнольд не отваживался, отбросив гуманистические ограничения, обрести свободу метафизических рассуждений без оговорок и противоречий, но, с другой стороны, он не мог удовлетвориться решением нравственных проблем на чисто человеческом уровне»²². Действительно, Арнольд не принимал этические теории, популярные в его время. Учение И. Бентама о всеобщем счастье, утилитаризм Д. Милля и даже сравнительно мягкая система Генри Сиджвика казались ему чересчур схоластическими, жесткими, сводимыми к набору правил и определений²³. Но и повседневную мораль здравого смысла Арнольд считал достоянием филистеров. Ему оставался третий почетный вариант: классическая философия. Однако у философов он искал не столько систему, сколько «живую атмосферу, одухотворенное чувство: «Власть философа над человечеством заключается не в метафизических формулах, а в том стремлении и духе, которые привели его к этим формулам»²⁴.

Основными источниками этических идей для Арнольда были стоическая философия, Библия, средневековый трактат «Подражание Христу», Спиноза и Гете. Вот, к примеру, его оценка стоиков из эссе о Марке Аврелии: «Сентенции Сенеки стимулируют ум, Эпиктет помогает выстроить характер, но Марк Аврелий просвещает душу. Эмоции у Марка Аврелия не растапливают атмосферы усилия и суровости, но просвечивают насквозь, украшая их; это дух не столько веселья и энтузиазма, сколько нежности и сладости, деликатное и тонкое чувство, меньшее, чем радость, но большее, чем смирение»²⁵. Стоики давали Мэтью Арнольду по сути удовлетворительный ответ на вопрос «Как жить?». Эпиктет, «несравненный мастер проникновенного суждения», так определял цель жизни:

«обрести свой дом, выполнять долг по отношению к семье, друзьям и согражданам, достичь внутренней свободы, ясности и счастья»²⁶. Из стоической философии Арнольд извлек для себя одну очень важную мысль: необходимость ограничений для счастья, поскольку стойки усматривали прямую связь между счастьем и следованием определенным правилам поведения.

Этот же принцип Арнольд воспринимал через Гете, чья доктрина «отречения», наиболее отчетливо сформулированная членами «Общества башни» в романе «Годы учения Вильгельма Мейстера», оказала существенное влияние на его взгляды. Гете всегда был для Арнольда одним из наиболее почитаемых и любимых авторов. Арнольд постоянно обращался к его трудам, причем особенно ценным источником для повседневного пользования для него служили письма, разговоры Гете с Эккерманом, Римером и канцлером фон Мюллером. Многие высказывания и слова Гете включались Арнольдом в текст своих работ в виде скрытых цитат и терминов: например, «das Gemeine» — для обозначения сознания филистеров, «Aberglaube» — суеверия и религиозные предрассудки. В таких случаях немецкое слово не переводилось, а неоднократно толковалось на протяжении статьи и постепенно приобретало статус ключевого понятия²⁷. От Гете идет и культ классической античности, и идея Weltliteratur, предвосхищающая арнольдовскую концепцию культуры как «лучшего из того, что известно и осмысленно в мире»²⁸. В личности Гете Арнольд видел воплощение своего идеала культурного человека и реализацию своих этических принципов, прежде всего этики благоговения перед жизнью. Это центральное ядро определяло все остальные моменты: важность практической деятельности для нравственного становления человека, самоотречение во имя жизни, культ духовного здоровья, скептическое отношение к религиозной догме, недоверие к схоластике, оптимистические установки (свет и радость как высшая ценность). Именно от Гете идет арнольдовское подозрение к чистой теории. И в эстетике, и в этике, и в художественном творчестве Арнольду важно реальное действие, изменяющее хоть что-то в мире.

Это подход Арнольд сохраняет и в трактовке религиозных проблем. Его труды «Святой Павел и протестантство», «Литература и догма», «Бог и библия», «Последние статьи о церкви и религии» были написаны в 1870-е годы и содержат взгляды, весьма далекие от ортодоксального церковного учения.

Религия должна быть, по мнению Арнольда, руководством в повседневной жизни человека. «Когда нас спросят: в чем состоит предмет религии? Мы ответим — в поведении. А ког-

да затем нас спросят: что такое поведение? — мы ответим: три четверти жизни»²⁹. Согласно Арнольду, в сфере поведения религия требует от человека праведности. А праведность подразумевает самоограничение, следование принципам добра, любовь к мудрости и разуму — то есть, в сущности, преред нами незначительно модифицированная концепция культурного человека. Однако в определении праведного человека все же присутствуют некоторые нюансы, отличающие его от культурного человека. Так, праведность приобщает людей к вечности, дает им духовное убежище. «Следуя праведности, человек приобретает сознание жизни»³⁰. Подобная мысль, хотя и опирается на стоическую философскую традицию, позволяет Арнольду сделать достаточно нетривиальные выводы. Например, Бог получает определение: «То бесконечное, что требует от нас праведности»³¹. Не случайно именно это арнольдовское определение Бога включил в свой «Круг чтения» Лев Толстой³², чьи взгляды на религию во многом совпадали с арнольдовскими. Из этой же серии — вполне «безбожное» определение религии: «религия есть этика, усиленная, согретая, освещенная чувством»³³.

Если сущность Ветхого Завета — учение о праведности, особенно внешне проявленной через поведение, справедливость и правосудие, то задача Нового завета, в толковании Арнольда — сделать праведность внутренним делом каждого. Путь Христа для него — «путь откровения, которое согревает чувством законы нравственности»³⁴. Это концептуальное разграничение и обусловило русский вариант заглавия книги (английское название — «Literature and dogma» — «Литература и догма»), поскольку Толстой считал наиважнейшим выяснение именно морального смысла Евангелия.

Здесь мы подходим к центральному понятию арнольдовской этико-религиозной доктрины — к понятию «эпизэкэ». Этим греческим словом Арнольд обозначает «любовную разумность» Христа («sweet reasonableness»). Слово «эпизэкэ», обычно переводимое как милость, снисхождение, нравственная чистота, для Арнольда включает три момента. Во-первых, «метод» Христа: человек должен обратиться внутрь себя и в процессе самосозерцания увидеть в себе второе, лучшее Я, стремящееся к праведности. Во-вторых, «тайна» Христа: самоотречение от низшего Я, поскольку «стремление обрести свою собственную душу, свое истинное, вечное Я должно быть самой главной задачей человека, источником его счастья»³⁵. Наконец, в-третьих, любовная разумность Христа: кротость, нежное, тихое счастье, сопутствующее самоотречению и проникновению внутрь

себя. И «если каждый будет так работать внутри себя, тихо и терпеливо, то все исправят себя и наступит новый мир»³⁶.

Таким образом, Арнольд переносит центр тяжести на моральные проблемы, отмечая все другие, что было по тем временам довольно смелым шагом. Ведь тем самым ставилось под удар традиционное толкование Библии: отыскивание в Ветхом завете пророчеств о Мессии, вера в чудеса, тонкие теологические дискуссии о Троице и богосыновстве. Все эти материи Арнольд презрительно именовал «Суеверия» и подверг решительной критике. Он даже осудил миссионерство, бывшее для викторианской Англии официальным обоснованием колониальной политики.

Впрочем, его критика Библии на тот момент уже была в достаточной степени подготовлена. С одной стороны, деятельностью естествоиспытателей — Дарвина, Лилля, Госса, Тиндалла, Тейлора, Хаксли (последний даже получил кличку «бульдог Дарвина», настолько он яро отстаивал его теорию), с другой — появлением сочинений Ренана, Штрауса, Коленсо, Милмэна и Ф. Д. Мориса. Вдобавок англиканская церковь была к тому времени сильно расшатана изнутри «оксфордским движением» во главе с учителем Арнольда доктором Д. Г. Ньюменом, а также борьбой с диссентерами и ритуалистами.

В сущности, Арнольд идет дальше простой критики Библии. Он считает Библию литературным памятником и видит исток ошибок ее комментаторов в непонимании образного языка Библии, в излишне буквальных толкованиях. Исходя из этой коонцепции, он советует теологам переквалифицироваться в литературных критиков, коль скоро «все равно, где мы находим религию — у Софокла или у Исаяи»³⁷. Более того, «мы можем, если пожелаем, называть искусство и науку, освященные чувством, — религией»³⁸. Такая позиция в духе светского гуманизма Эразма Роттердамского была тесно связана с теорией культуры Мэтью Арнольда, поскольку тезис — брать лучшее из всего, что известно и осмыслено в мире, — как раз и уравнивал в правах разные источники. Такая вольная трактовка имела успех у широкой публики и оттого, что Арнольд обращался не только к богословам, но и ко всем жаждущим морального совершенствования и просвещения. Ведь его излюбленный тезис о важности поведения, составляющего три четверти жизни, сводил религиозные проблемы к вопросам практической нравственности. Абстрактные категории тем самым получали наполнение за счет повседневного опыта каждого человека.

Практическим критерием праведности для Арнольда становится понятие характера. Характер — мерило добродетели,

показатель отношений человека с жизнью. В отличие от устоявшейся традиции понимать характер как нечто данное от природы и застывшее, вроде гиппократовских «темпераментов», Арнольд усматривает в характере лишь материал для работы по самосовершенствованию, по упорядочиванию мировоззрения. Для него четкий характер — один из важных признаков нравственного и культурного человека, противостоящего Анархии: «В характере соединяются нравственная зрелость и тихая отвлеченность созерцания. Посредством характера можно побороть мировой хаос как для себя, так и ради других. Характер знаменует готовность к моральному действию»³⁹.

Характер — решающая категория для Арнольда при оценке людей, но поскольку в критике он чаще всего пользуется биографическим методом, статьи о писателях сплошь и рядом превращаются у него в настоящие характерологические очерки. Определить характер поэта — значит для него понять особенности его творчества.

Эссе о Китсе Арнольд начинает с полемики против почитателей Китса, создавших легенду о «сусальном мальчике Джонни». Шаг за шагом Арнольд прослеживает, как развивается характер Китса, как поэт преодолевает жизненные трудности, болезнь, плохие отношения с издателями. Существенное свидетельство внутренней независимости Китса Арнольд видит в его словах: «Я ни разу не написал ни одной строчки, заботясь о чужом мнении»⁴⁰. Если учитывать грубую травлю Китса британскими обозревателями, это признание и впрямь красноречиво. Получается, что Китс достаточно трезво смотрел как на свои стихи, так и на журнальную критику, что заставляет Арнольда в восхищении воскликнуть: «Что за характер! Какая сила и ясность суждений!»⁴¹. И весомый финальный вывод: «Необходимо понять, что характер Китса — железо и кремь»⁴². Это открытие для Арнольда гораздо важнее, чем вся прелесть стихов Китса. Подобная иерархия ценностей восходит еще к Канту, чья концепция была хорошо известна Арнольду: «Иметь характер — максимум внутренней ценности человека, и в смысле достоинства это ставит его выше самого большого таланта»⁴³.

Однако Арнольд как литературный критик не успокаивается на определении характера Китса, а анализирует воздействие его характера на творчество. Главной чертой Китса он считает любовь к красоте, «интеллектуальную страсть к прекрасному»⁴⁴. Исходя из этого, он выводит следующую оценку поэтического дарования Китса: «По своей способности к естественному толкованию, которую мы называли ранее «натуральной

магией», Китс уступает только Шекспиру. Никто в английской поэзии, кроме Шекспира, не может с ним сравниться по чарующей сладости выражений и счастливому совершенству»⁴⁵.

Скрытый парадокс эссе Арнольда о Китсе состоит в том, что цитированный вывод никак не подкрепляется анализом стихов. Читатель подводится к этому заключению после тщательного разбора характера, и это показатель существенной переориентации Арнольда, произошедшей в 1870-е годы. Экспертиза характера для него подменяет толкование творчества, поскольку категория характера увязана с концепцией «культурного человека» и базируется на четко выстроенной иерархии ценностей, в которой нравственность приоритетна.

Как видим, арнольдовская концепция культуры не исключает внутренних противоречий, но все же обладает собственной логикой, которая прочитывается сразу на нескольких уровнях. Определение культуры как «сладости и света» Арнольду продиктовало то же чувство практической реальности, которое заставило его увидеть в религии лишь мораль, в поэзии — истолкование жизни, в критике — распространение знаний, а в художественных текстах — проявление характера автора. Его понимание культуры как «лучшего из того, что известно и осмыслено в мире», с одной стороны, имело чисто просветительскую подоплеку, но, с другой стороны, было ориентировано на узкий круг понимающих людей, адептов лучшего, что легко трактовалось как позиция элитарного эстетизма. В результате критические труды Арнольда по проблемам образования высоко котируются среди демократически настроенных журналистов, преподавателей высшей и средней школы. Но в то же время имя Арнольда священо для любителей чистого искусства и эстетов. Его лекции по культурной литературе были настольной книгой для деятелей «Кельтских сумерек»; Оскар Уайльд, чувствуя скрытый эзотеризм позиции Арнольда, увидел в нем собрата по эстетической критике, а У. Патер одобрительно цитировал его в предисловии к «Ренессансу».

Имя Мэтью Арнольда можно часто встретить и на страницах англоязычных критических трудов XX столетия. Многие исследователи культуры находят в его творчестве не объект для описания, а источник идей, актуальных и для нашего времени. Характерно, что люди, считающие Арнольда своим учителем, отнюдь не составляют, как говорится, «невидимый колледж». Каждый берет из наследия Арнольда какую-то одну близкую для себя тему, и отзвуки арнольдовских идей можно найти в текстах столь непохожих друг на друга критиков, как Т. С. Элиот, Ф. Ливис, Э. Форстер, Р. Уильямс. И это не-

случайно: ведь в сочинениях Арнольда всегда ощущается страстная и непосредственная интонация думающего человека. Как сказал Э. М. Форстер, «Арнольд — пророк, чей голос и сейчас слышен в наших спорах, а когда мы читаем его работы, кажется, что он сидит с нами в одной комнате»⁴⁶.

¹ *Arnold M. Culture and Anarchy*. Cambridge: Cambridge U. P., 1981. P. 6.

² Подробнее см. *Palmer I. Matthew Arnold: culture, society and education*. Melbourne: Macmillan, 1979.

³ В современном английском языке выражение “sweetness and light” используется в значениях «полное благополучие; благоденствие; безмятежность; внешняя и внутренняя привлекательность; беспечная жизнь; обаяние».

⁴ *Swift J. Gulliver's Travels, A Tale of a Tub, The Battle of the Books*. New York: Modern Library, 1931. P. 532.

⁵ *Ibid.* P. 64.

⁶ *Arnold M. Essays literary and critical*. London: Dent, 1914. P. 158.

⁷ *Ibid.* P. 170.

⁸ *Arnold M. On the Celtic literature and other essays*. London: Dent, 1976. P. 136.

⁹ *Arnold M. Essays literary and critical*. London: Dent, 1914. P. 107.

¹⁰ *Arnold M. On the Celtic literature and other essays*. L., Dent, 1976. P. 210.

¹¹ *Arnold M. Culture and Anarchy*. Cambridge: Cambridge U.P., 1981. P. 70.

¹² *Ibid.* P. 204.

¹³ *Arnold M. Essays literary and critical*. London: Dent, 1914. P. 194.

¹⁴ *Arnold M. Culture and Anarchy*. Cambridge: Cambridge U.P., 1981. P. 53.

¹⁵ *Arnold M. Irish essays and others*. London: Dent, 1891. P. 135—136.

¹⁶ *Arnold M. Mixed essays*. London: Smith and Elder, 1879. P. 220.

¹⁷ *Newman J. H. What is a University?* In: *Essays English and American*. New York, Collier, 1969, Harvard classics series. P. 34.

¹⁸ *Dictionary of biographical quotations*. London: Routledge and Kegan Paul, 1978. P. 30.

¹⁹ *Arnold M. Mixed essays*. London: Smith and Elder, 1879. P. 254.

²⁰ *Arnold M. Essays in criticism, second series*. London: Macmillan, 1956. P. 112.

²¹ *Ibidem.*

²² *Robbins W. The ethical idealism of Matthew Arnold*. Toronto, Toronto U.P., 1959. P. 166.

²³ Сходную линию критики впоследствии продолжил Джордж Мур, выявив в большинстве викторианских моральных систем «натуралистическую ошибку», т.е. неверное употребление терминов, заключающееся в отождествлении добра с другими категориями. См.: *Мур Д. Принципы этики*. М., Прогресс, 1984. С. 99—186.

²⁴ *Arnold M. Essays literary and critical*... P. 181.

²⁵ *Ibid.* P. 201.

²⁶ *Arnold M. Essays in criticism, second series*... P. 86.

²⁷ Подробнее о влиянии Гете на Арнольда см.: *Simpson D. Arnold and Goethe*. London: Modern humanities research Association, 1979.

²⁸ Подробнее см.: *Вайнштейн О. Б.* Литературный пантеон в критике Мэтью Арнольда // Литературный пантеон: национальный и зарубежный. М.: Наследие, 1999. С. 148—158.

²⁹ *Арнольд М.* В чем сущность христианства и иудейства? Перевод с английского. М.: Посредник, 1908.

³⁰ Там же. С. 239.

³¹ Там же. С. 26, а также 44.

³² Об отношениях Арнольда и Толстого см. *Вайнштейн О. Б.* Мэтью Арнольд и Лев Толстой // Типологические соответствия и контактные связи в русской и зарубежной литературах. Красноярск, 1984. С. 47—65.

³³ *Арнольд М.* В чем сущность христианства и иудейства... С. 18.

³⁴ Там же. С. 65.

³⁵ Там же. С. 73—74.

³⁶ Ibid. С. 77.

³⁷ Ibid. С. 42.

³⁸ Ibidem.

³⁹ Цит. по: *Buckley V.* Poetry and morality. London, Chatto and Windus, 1959. P.77.

⁴⁰ *Arnold M.* Essays in criticism, second series... P. 66.

⁴¹ Ibid. P. 65.

⁴² Ibid. P. 67.

⁴³ *Кант И.* Антропология с прагматической точки зрения // Кант И. Сочинения: В 6 т. М.: Мысль, 1966. Т. 6. С. 544.

⁴⁴ *Arnold M.* Essays in criticism, second series... P. 69.

⁴⁵ Ibid. P. 71.

⁴⁶ *Matthew Arnold: Prose writings: the critical heritage.* Edited by Carl Dawson and John Pfordresher. London: Routledge and Kegan Paul, 1979. P. 57.

В. И. Мельник

ЕЛИЗАВЕТА ГОНЧАРОВА И ЕЕ ВОСПОМИНАНИЯ («Четвертая тетрадь»)

Биография И. А. Гончарова еще пестрит белыми пятнами. В архивах России и за рубежом то и дело находят новые документы, проливающие свет на жизнь автора «Обломова», а также на многое, что ее окружало. С этой точки зрения определенный интерес представляют воспоминания жены племянника Гончарова (Александра) Елизаветы Александровны Гончаровой (рожд. Уманец). О ней мы знаем не слишком много — в основном из ее собственных воспоминаний о своем великом родственнике, писателе Иване Александровиче Гончарове. Известно, что после долгих сомнений, перипетий и даже отказа она стала женой гончаровского племянника Алек-

сандра Николаевича, сына Николая Александровича Гончарова. Кстати сказать, воспоминания Е. А. Гончаровой написаны довольно умелой рукой. Очевидно, их автор проявлял некоторые наклонности к литературной работе. Не случайно, видимо, то, что воспоминания другой родственницы писателя, Евдокии Петровны Левенштейн (приемной дочери сестры Гончарова Анны Александровны Музалевской), записаны с ее слов опять-таки Е. А. Гончаровой. Известно также, что ее отец Александр Алексеевич Уманец (1808—1877) был довольно крупным чиновником и в 1860-х годах являлся управляющим Тверской удельной конторой Министерства Императорского двора¹. Дядя Елизаветы Александровны, решительно возражавший против выхода ее замуж за А. Н. Гончарова, — П. А. Рихтер, был в 1870-е годы управляющим Самарской уездной конторой². Впервые она обратилась к воспоминаниям в 1907 году по просьбе биографа писателя — М.Ф. Суперанского, который и опубликовал их в своей обработке и с сокращениями в журнале «Вестник Европы»³. В этих воспоминаниях пробивается некоторая неудовлетворенность тем, что писатель не сумел и не захотел наладить хороших отношений с Александром Гончаровым, но в целом автор сумела сохранить сдержанный тон. Мы узнаем, что Елизавета Александровна познакомилась с писателем в 1874 году, а затем встречалась с ним еще трижды: в 1883 году и два раза в 1885 году. В 1912, юбилейном для великого писателя году Е. А. Гончарова вторично пишет воспоминания о нем. Их характер уже совершенно иной. В письме к М. Ф. Суперанскому она поясняет, что желала бы каким-то образом смягчить впечатление, произведенное воспоминаниями ее мужа, А. Н. Гончарова, о своем дяде — воспоминаниями слишком пристрастными, в которых писатель изображается с невыгодной для него стороны: «Мужа моего нет более в живых, он не может выяснить этих отношений, но они были тяжелы, и это не вымысел, все это пережито. Александр Николаевич был человек правдивый, честный, во многом не сходился с дядей, был, может быть, горяч в своих нападках, но явной неправды не было в его словах, и я желала бы по возможности выяснить некоторые причины раздора»⁴. Напомним, что ведь именно М. Ф. Суперанский опубликовал воспоминания А. Н. Гончарова в том же «Вестнике Европы»⁵.

Хранящееся в Рукописном отделе Института русской литературы (Пушкинский Дом) Российской Академии наук письмо Е. А. Гончаровой к известному гончарововеду Евгению Александровичу Ляцкому от 9 июля 1912 года⁶ помогает уяснить как

некоторые обстоятельства ее жизни, так и подробности ее вторичного обращения к воспоминаниям. Вот довольно пространная выдержка из этого неопубликованного письма: «Многоуважаемый Евгений Александрович. На днях получила Вашу книгу⁷ с любезной надписью. Я не могла поступить иначе, как послать Вам извинения. Я Вас так давно знаю. Очень благодарна за книгу. Я уже читала ее и в первом издании, и во втором⁸, где Вы жестоко нападаете на мужа моего Алекс<андра> Ник<олаевича>⁹ за его явно недоброжелательное отношение к дяде, а потому не придаете ему веры, как несправедливому¹⁰. Словесно я передала Александре Владимировне¹¹ несколько причин... таких отношений между дядей и племянником. Позволю себе повторить их вкратце: 1. Нелюбовь Ивана Ал<ександровича> к матери Ал<ександра> Н<иколаевича>. Это я знаю от самого Ивана Ал<ександровича>; он не любил ее¹² и считал виноватой перед мужем и семьей. А<лександр Н<иколаевич> знал об этом, и, вообще давая людям слишком строгую оценку, не щадя и себя самого при этом, строго осудил дядю, обидевшись за мать. 2. При многом общем в их характерах, слишком разные взгляды. Постоянно они друг друга раздражали, не желая понять один другого. 3. Я способствовала обострению отношений. Я два раза отказывала Ал<ександру> Н<иколаевичу> сделаться его женою. Все эти перипетии были известны Ив<ану> Ал<ександровичу>, и он жестоко высмеивал племянника и постоянно бередил незаживающую рану его сердца, что не вызывало в последнем хороших чувств к дяде.

Кроме всего этого, слова А<лександра> Н<иколаевича> в его воспоминан<иях> бьют в глаза, т. к. подобраны, сгруппированы заметки, разбросанные на десятках страниц в письмах мужа к Суперанскому... Муж мой в это время (конец 1905 года) был серьезно болен, и умер в апреле 1907. Из большой пачки писем, большого формата почтовой бумаги, убористого, мелкого почерка, Супер<анский> выбрал самые существенные, как ему показалось, переписал и переслал для просмотра А<ександру> Н<иколаевичу> под названием «Воспоминаний». А<лександр> Н<иколаевич> не успел до конца просмотреть эту рукопись, т. к. внезапно умер. Он бы согласился со всеми исправлениями Суперанского, которыми пестрят выноски и придали всему нежелательный характер. В письмах он откровенно высказывался, предаваясь былому, не предназначал для печати свои письма. Супер<анский> настаивал на получении подробных сведений «о проявлениях психической ненормальности Ив<ана> Ал<ександровича> — и

Ал<ександр> Н<иколаевич> отвечал, стараясь вспомнить всякие мелочи из отношений с дядей, подтверждающие его болезненное состояние.

Из-за всего этого над бедным моим мужем тяготеет такое тяжкое обвинение, которое то и дело всплывает в печати. Мне самой это крайне тяжело. Супер<анский> обещал многое исправить в следующем издании своей статьи. Но будет ли новое издание и когда. В своем большом неизданном еще труде он не исправляет, а только ссылается на материалы. Известно ли Вам, что в бытность свою в Симбирске в 50-х гг. Чернышевский был хорошо знаком с матерью Ал<ександра> Н<иколаевича> — Елиз<аветой> Карл<овной>. Как только муж ее, Ник<олай> Ал<ександрович>, уходил в гимназию, он являлся к молодой жене, развивал ее и старался ее уверить, что Бога нет, что надо уйти от мужа, которого больше не любит Она <нрзб.> над этими вопросами. Ив<ан> Ал<ександрович> знал об этом увлечении. Не Чернышевский ли прототип Марка Волохова?

Хотя роман в «Обрыве» это опять уже другие лица — он сам и В. Л.¹³

Простите за длинное письмо и примите уверение в моем искреннем уважении к Вам.

Е. Гончарова».

Письмо написано из села Покровское, что под городом Перемышлем Калужской губернии. В нем, как видно из приведенного отрывка, раскрывается много любопытных фактов, дополняя уже опубликованные воспоминания других родственников писателя, в частности, В. М. Чегодаевой. Но основной момент — это, конечно, объяснение и оправдание весьма субъективных воспоминаний мужа. Письмо еще раз поясняет стремление Е. А. Гончаровой вернуться к мемуарам о знаменитом родственнике. Вторая часть ее воспоминаний, писавшаяся в 1912 году, но опубликованная лишь в 1969 году, значительно отличается по тону от воспоминаний 1907 года. В них она приводит и новые факты, но главное — снова пытается объяснить конфликт дяди и племянника Гончаровых. Ее воспоминания 1912 года начинаются так: «Иван Александрович не любил жену своего брата и переносил это недружелюбное чувство на ее сына...». Однако до сих пор была неизвестной третья часть воспоминаний, написанная в феврале 1917 года.

Рукопись носит название: «4-я тетрадь (добавление и добавление к добавлению)»¹⁴. В верхнем левом углу первого из сшитых тетрадных листов проставлена точная дата: 10 февраля 1917 года. Из названия ясно, что автор рассматривала свои

воспоминания как «добавление». Добавление — к чему? Очевидно, к воспоминаниям, написанным прежде — и частично опубликованным в 1908 году в 12-м номере журнала «Вестник Европы». Сразу встает вопрос: каковы мотивы обращения Елизаветы Александровны к воспоминаниям о Гончарове — в очередной раз? Думается (и рукопись подтверждает это предположение), что мотивы эти в значительной мере те же, что и при работе над рукописью 1912 года, когда в письме к М. Суперанскому от 23 мая она поясняла: «Мужа моего нет более в живых, он не может выяснить этих отношений, но они были тяжелы, и это не вымысел, все это пережито. Александр Николаевич был человек правдивый, честный, во многом не сходил с дядей, был, может быть, горяч в своих нападениях, но явной неправды не было в его словах, и я желала бы по возможности выяснить некоторые причины раздора».

Большая часть значительной по объему рукописи 1917 года посвящена снова отношениям дяди и племянника. В то же время появляется описание характера и некоторых обстоятельств жизни Александра Николаевича и тех его черт, которые могли оттолкнуть автора «Обрыва» от молодого человека. Е. А. Гончарова, в частности, пишет о своем муже: «А<лександр> Н<иколаевич> был студент минералогии, как значится в его дипломе, но наряду с этим изучал и другие естественные науки, был любимым учеником проф<ессора> Гревинка¹⁵, он его прочил себе в помощники. Всему этому положила конец сердечная болезнь А<лександра> Н<иколаевича>, но с профессором хорошие отношения сохранились до конца жизни Гревинка». В то же время упоминаются факты, которые, по мнению мемуаристки, не могли не беспокоить писателя. Племянник вел в Дерпте жизнь студента-бурша, «где были и пиво, бывали и попойки... ухаживания, любовные похождения. Он, как балованное дите, беззаботно предавался этому с легким сердцем, радостно идя навстречу неизвестному в жизни... Ивана Александровича, умеренного человека, все эти студенческие выходки племянника раздражали, беспокоили, тревожили...». Но корень противоречий между Иваном Александровичем и Александром Николаевичем крылся, конечно, в причинах куда более важных и значительных, чем небезупречное поведение племянника. Е. А. Гончарова упоминает о разговорах родственников по поводу нигилизма Александра Гончарова: «Сашенька Гончаров тронут заразой 60-х гг., протестует, требует реформ, свободы! — так говорили об А<ександр> Н<иколаевич> близкие, родные... К ним примыкал и Ив<ан> Ал<ександрович>. В душе он не был противником

реформ, но он совсем был против горячности, против всякой ломки в жизни, а Александр, как ему казалось, был именно таким Марком Волоховым, которого он с болью вынашивал в своем сердце и уже против которого поднималась в его душе вся желчь, вся злоба...» Называя среди окружающих А. Н. Гончарова в Дерпте доктора Манасеина¹⁶, писателя П. Д. Боборыкина, профессора химии Хрущева, профессора ботаники Волкова и «многих других», автор воспоминаний пишет: «Они зачитывались Герценом...». Да, как и другой племянник Гончарова, Виктор Михайлович Кирмалов, Александр Николаевич мог послужить прототипом для Марка Волохова! Для таких заключений у автора «Обрыва» были основания. Во всяком случае в письме к Е. П. Майковой от апреля 1869 года романист замечал: «Эти крайности, повредившие серьезно направлению молодых людей, проявились не в двух-трех нигилистах, как вы говорите, а в целом легионе и я сам видел (не двух-трех, а десятки) их в 1862 году и в Москве и на Волге, а не на «племяннике» моем, по Вашим словам». В контексте письма становится ясно, что версия о племяннике не отмечается, но лишь корректируется: не только «племянник», но и целый «легион».

Все, что касается в рукописи взаимоотношений Гончарова и его племянника, может претендовать на достоверность, учитывая, разумеется, авторскую установку на «реабилитацию» Александра Николаевича. Почти все остальные факты и сведения, приводимые в четвертой тетради, получены, видимо, от родственников Гончарова либо симбирских знакомых. В двух случаях Е. А. Гончарова прямо ссылается на Г. Н. Потанина¹⁷ и Д. Л. Кирмалову. Дарья Леонтьевна Кирмалова (1841—1918) — жена другого гончаровского племянника, Виктора Михайловича Кирмалова, — сама, очевидно, получила эти сведения из чьих-то вторых рук, так как в 1849 году, когда Гончаров приезжал в Симбирск, она не могла быть свидетельницей происходивших событий. Таким образом, достоверность этих сведений остается под вопросом. Речь идет, например, о времени «романа» И. А. Гончарова и Варвары Лукиничны Лукьяновой, гувернантки детей сестры писателя А. А. Кирмаловой: «Роман, должно быть, произошел после его возвращения из плавания». Е. А. Гончарова высказывает предположение, что В. Л. Лукьянова — один из прототипов Веры в романе «Обрыв». Речь идет об отношениях Гончарова и Варвары Лукиничны Лукьяновой. Мы представляем их пока еще не очень ясно, ибо существуют противоречивые сведения на этот счет. Но, во всяком случае, ясно, что Варвара Лукинич-

на — одна из тех женщин, которые были отмечены серьезным чувством Гончарова. С. Шпицер в журнале «Огонек» в 1926 году (№ 20) назвал свою статью весьма характерно: «Ранняя любовь И. А. Гончарова». В воспоминаниях Елизаветы Александровны, опубликованных «Вестником Европы», уже были кое-какие сведения о Варваре Лукиничне: гувернантка детей сестры Гончарова Александры Александровны Кирмаловой «была красивая смольнянка, за которою он ухаживал; она также была равнодушна к нему»¹⁸. Известно, что в дальнейшем Варвара Лукинична устроилась в Петербурге не без участия Гончарова. Писатель помог ей получить место инспектрисы Николаевского института, поддерживал с ней добрые дружеские отношения. Б. Д. Чельшев в книге «В поисках редких книг» (М., 1970) рассказывает о потерянной гончаровской рукописи под условным названием «Пепиньерка», героиней которой была, по его убеждению, как раз Варвара Лукьянова (С. 46—50)¹⁹. Автор книги, между прочим, упоминает и тот факт, что Варвара Лукинична дважды отказала писателю, когда он делал ей предложение. Однако ныне повесть опубликована, и версия о Варваре Лукьяновой отвергнута²⁰. Действительно, в «4-й тетради» дана совершенно иная трактовка их взаимоотношений: «С Варварой Лукиничной у него был роман, конец его, совпадающий с концом романа Веры и Марка, сильно удручал Ив<ана>, Ал<ександровича>. Он старался поддержать В<арвару> Л<укиничну> морально и материально, но о женитьбе на ней не думал. Это казалось ему совсем не подходящим по их характерам: она была женщина властная, связать свою судьбу с ней казалось ему крайне жестокой расплатой за прежний грех... В<арвара> Л<укинична> потом вышла замуж, имела 3-х детей. Ив<ан> Ал<ександрович> постоянно помогал ей и ее детям в устройстве их материального положения. По воскресеньям навещал детей в Институте, возил им конфеты, Когда В<арвара> Л<укинична> овдовела, Ив<ан> Ал<ександрович> помог ей устроиться клас-ной дамой в одном из Институте. Это мне рассказывала Дарья Леонтьевна Кирмалова». Итак, перед нами одно из семейных преданий о Гончарове. Варвару Лукиничну автор воспоминаний называет как один из возможных прототипов Веры в романе «Обрыв». Однако следует учесть, что рассказ Д. Л. Кирмаловой мог быть (естественно) недостаточно достоверным. Это ясно хотя бы из того, что время романа между Гончаровым и Лукьяновой отнесено к «возвращению из плавания». Во всяком случае, в рукописи дан словесный портрет Варвары Лукиничны — первый, насколько нам известно:

«Красивая, высокая, с прекрасными глазами, нежная красота, вызывающая».

При этом называется еще одна знакомая Гончарова — Аделаида Карловна Рудольф, о которой известно, в частности, из воспоминаний В. М. Чегодаевой, что она действительно могла быть одним из прототипов Веры. Правда, следует учитывать, что и В. М. Чегодаева писала об отношениях Гончарова с семьей Рудольф с чьих-то слов: она описывает 1840-е годы, тогда как сама родилась в 1844 году. Воспоминания Е. А. Гончаровой прибавляют к уже известному несколько штрихов. В частности, она дает портрет Аделаиды Карловны: «Аделаида Карл<овна>, была среднего роста, некрасива, большие рот и нос, брюнетка, но глубокие, карие, умные глаза украшали это лицо, и оно привлекало. Я знала ее уже старухой, но понимала, что она могла сильно нравиться». Вообще, что касается прототипов, то воспоминания Е. А. Гончаровой дают весьма приблизительные сведения. Единственное, видимо, исключение — это упоминание прототипа Софьи Беловодовой. Как известно, О. М. Чемена считает, что скорее всего прототипом Беловодовой могла быть Елизавета Васильевна Толстая, которой Гончаров был увлечен определенное время²¹. Воспоминания В. М. Чегодаевой и Е. А. Гончаровой указывают на иное лицо. В. М. Чегодаева обозначает это реальное лицо лишь инициалами: «В семье Рудольф познакомился Иван Александрович и с красавицей, их кузиной, Е.И.Э., которая с своей семьей приезжала на зиму в Петербург из Смоленской губернии. Она, как и Аделаида Карловна, обращала на себя внимание на балах своей красотой, но это была бессловесная красавица. Первым браком она была замужем за кн. Др. С-м, с которым, однако, разошлась, и вышла за своего двоюродного брата, по фамилии тоже Э. Ее черты — в Софье Беловодовой»²². Е. А. Гончарова в своих воспоминаниях расшифровывает загадочные инициалы: Е.И.Э. — это Екатерина Ивановна Энгельгард: «Софья Беловодова первоначально списана была с княгини Екатерины Ивановны Друцкой-Соколинской, рожд<енной> Энгельгард, по второму мужу тоже Энгельгард. Она была двоюродная сестра девицам Рудольф. Эк<атерина> Ив<ановна>, была очень богатая женщина, имела дом в Смоленске и имение в... Смол<енской> губ<ернии> С. Покровское, где был громадный 7-ми этажный дом с куполом. Детей не имела. Была красавица, спокойная, холодная, очень светская, имела массу поклонников, мужа не любила...». Насколько нам известно, это первое упоминание Е. И. Энгельгард как знакомой Гончарова и как прототипа

Софьи Беловодовой. В портрете, нарисованном Е. А. Гончаровой, много сходства с образом Софьи Беловодовой, как она изображена в «Обрыве».

Хотя рукопись Е. А. Гончаровой дает представление почти обо всех прототипах романа «Обрыв», не следует, вероятно, сводить все к обнаруженным конкретным прототипам. В апреле 1869 года Гончаров писал Е. П. Майковой: «Там (в Симбирске. — В. М.) задумана была и Вера, никогда не существовавшая, — это мой тогдашний идеал. Марфеньки никакой я не знал никогда...». Однако, с другой стороны, в статье «Лучше поздно, чем никогда» романист признавался, что если Софья Беловодова «сочинение», то бабушку и внучек он писал «с живых лиц» (бабушку, например, — со своей матери, в чем он признается в том же письме к Е. П. Майковой). Противоречие понятное: писатель создавал глубоко типические образы, не сводимые к какому-либо одному конкретному прототипу. Семейная же легенда всегда «центростремительна», втискивает громадные художественные обобщения в знакомые черты близких людей, абсолютизируя значение житейского факта. Не избежала этого и Елизавета Александровна в своих воспоминаниях. Но во всяком случае указания, сделанные в «4-й тетради», в ряде случаев новы и интересны.

В архиве известного русского юриста и мемуариста Анатолия Федоровича Кони, близкого знакомого Гончарова в последний период его жизни, хранится письмо Е. А. Гончаровой к нему. Письмо это как раз и показывает, что «4-я тетрадь», помеченная 1917 годом, была, очевидно, почти готова уже к октябрю 1916 года. Также письмо бросает свет на подготовку к печати воспоминаний Евдокии Петровны Левенштейн. Вот это письмо:

«Покровское, 14 октября 1916 г.

Глубокоуважаемый Анатолий Федорович!

Не осудите, что пишу Вам. Дело в том, что Б. Л. Модзалевский²³ от Академии Наук обратился ко мне с просьбой — нет ли у меня каких-либо писем, бумаг, воспоминаний об Ив<ане> Ал<ександровиче> Гончарове. Я собрала немного из неиспользованных еще материалов, что имела — под рукой, запросила кое-кого из родных. Создалась небольшая статья. Но я, помня наш краткий разговор в Симбирске, не хотела бы передавать статью мою в печать без Вашей санкции. Не сетуйте же на меня, что посылаю Вам мою статью на просмотр²⁴. Я знаю, как Вам дорого все, что касается Ивана Александровича. Но и мне тоже дорога его память, и мне не хотелось бы коснуться имени его неумелой рукой. Кро-

ме моей статьи, посылаю Вам отрывки из воспоминаний о нем Елиз<аветы> Петр<овны> Левенштейн, приемной дочери Музалевской. Если Вы найдете что лишнее в обеих статьях, вычеркните, прошу Вас. Если одобрите, напишите мне об этом, и тогда я спокойно могу поместить статью в какой-нибудь журнал.

Я бы не смела беспокоить Вас, если бы это касалось кого-либо иного, но тут другое дело, и я не могу обойти Вас.

Глубоко уважающая Вас Е. Гончарова.

г. Перемышль Калуж<ской> губ<ернии> с-цо Покровское».

Статья, о которой говорит здесь Е. А. Гончарова, разумеется, «4-я тетрадь». Очевидно, А. Ф. Кони не одобрил ее содержание, посчитав малозначительным для помещения в журнал. А вот вторая часть воспоминаний Левенштейн (первая появилась в журнале «Вестник Европы» за 1908 год) была опубликована М. Ф. Суперанским в сборнике «Огни»²⁵. Еще одно весьма важное обстоятельство: «4-я тетрадь» приоткрывает завесу над судьбой семейного архива Гончаровых. В этом архиве были, в частности, многочисленные письма романиста к брату Николаю Александровичу и племяннику Александру Николаевичу. Вот что мы узнаем из рукописи Е. А. Гончаровой: «На этих страницах мне хотелось бы поместить все, что мне известно о Гончарове. Есть еще один неиспользованный источник. Это архив Николая Александровича Гончарова. После его смерти архив хранила его жена Елизавета Карловна, перевезла чемодан с письмами в деревню к сестре своей Эмилии Карл<овне> Ульяновой, в Симбирскую губ<ернию>, около г<орода> Курмыша, деревня Ульяновка (описанная Луговым-Тихоновым в одном из его романов). После смерти Елиз<аветы> Карл<овны> там же в 1883 г. архив был снесен на чердак, со многим хламом и старьем, оттуда он был извлечен и рассмотрен настоящей владелицей Ульяновки княгиней Верой Михайловной Чегодаевой — дочерью Аделаиды Карл<овны> Дмитриевой. В 1910—1912, разобрав этот архив, она выбрала письма Ив<ана> Ал<ександровича> к брату и племяннику Ал<ександру> Ник<олаевичу>, отослала их в редакцию Нов<ого> Вр<емени>, где некоторые из них и были напечатаны²⁶. Кн<ягиня> Чегодаева, двоюродная сестра моего мужа, пишет мне, что у нее не осталось больше писем Ив<ана> Ал<ександровича>. Так ли это, и не уничтожила ли она писем его к своей матери? и что было еще в архиве, кроме этих, посланных в редакцию Нов<ого> Вр<емени> писем?».

Итак, гончаровские письма переходили из рук в руки, затем были частично опубликованы в газете «Новое время», после чего их следы теряются. Елизавета Александровна ставит

весьма интересные вопросы в конце своей рукописи. Действительно, что еще было в архиве, кроме писем, опубликованных в «Новом времени»? Уже сейчас, без подробного исследования, можно утверждать, что в этой газете были помещены лишь некоторые из писем, хранившихся в таинственном чемодане. По просьбе М. Ф. Суперанского (очевидно, в 1907 или 1912 году) В. М. Чегодаева написала свои воспоминания о Гончарове, опубликованные сравнительно недавно, в 1969 году. Так вот, в этих воспоминаниях она цитирует письмо романиста к брату Николаю от 12 августа 1862 года. А ведь это письмо неизвестно: оно не было опубликовано ни в «Новом времени», ни в каком-либо другом издании. Более того, оно не обнаружено в архивах. Значит, в упомянутом чемодане наверняка были еще гончаровские письма (для пятнадцати не понадобился бы целый чемодан). Где же они сейчас?

Рукопись Е. А. Гончаровой обозначает направление поиска. Она пишет: «Кн<ягиня> Чегодаева теперь через меня дала доверенность М. А. Котляревскому²⁷ на получение из редакции Нов<ого> Вр<емени> всех писем Ив<ана> Ал<ександровича>; они были ею посланы в собственность Академии Наук, где они, вероятно, теперь находятся».

Таким образом, становится совершенно ясно, что в «Новом времени» была опубликована лишь часть сохранившихся гончаровских писем, — иначе не понадобилось бы давать академику Н. А. Котляревскому доверенность на получение из редакции газеты всех писем, посланных туда. Ясно также, что письма Гончарова к брату и племяннику скорее всего должны были все-таки попасть в руки Н. А. Котляревского. К сожалению, опись архива Н. А. Котляревского в Пушкинском Доме сведений об этих письмах не содержит. До сих пор было неизвестно, что Н. А. Котляревский вообще каким-то образом мог быть связан с гончаровскими письмами. Возможно, ему так и не удалось по каким-либо причинам получить их в собственность Академии Наук. Пока этот вопрос остается открытым. Но при этом представляет интерес следующий факт. В журнале «Звезда» (1945. № 7) было опубликовано еще одно письмо Гончарова к брату Николаю Александровичу — от 30 июня 1858 года. Скорее всего, перед нами письмо, следы которого ведут все к тому же упомянутому чемодану. Оригинал письма хранится в Рукописном отделе Российской библиотеки в Петербурге, в архиве искусствоведа Платона Львовича Векселя.

Между прочим, вместе с упомянутым гончаровским письмом в архиве искусствоведа хранятся и другие гончаровские материалы, не имеющие отношения ни к «Новому времени»,

ни к упомянутому «чемодану» В. М. Чегодаевой. К числу этих материалов принадлежат: недатированное письмо романиста к А. Н. Майкову, а также два его фотопортрета с автографами, один из которых датирован 2 февраля 1883 года. Как попали эти материалы в архив П. Л. Векселя? Не является ли письмо к брату от 30 июня 1858 года одним из тех, которые должны были попасть в Академию Наук, но оказались рассеянными по различным частным архивам и коллекциям? Необходимо дальнейший поиск.

Остается только добавить, что Е. А. Гончарова вскоре после 1917 года эмигрировала во Францию, где в 1920-е годы вышли ее воспоминания. А в 1974 году ее внук Саша Симон опубликовал в издательстве «Шток» роман «Душка моего детства» — роман-воспоминание, посвященный бабушке, Елизавете Александровне Гончаровой.

¹ И. А. Гончаров в воспоминаниях современников. Л., 1969. С. 316.

² Там же.

³ Вестник Европы. 1908. N 12.

⁴ И. А. Гончаров в воспоминаниях современников... С. 292.

⁵ Вестник Европы. 1908, № 11.

⁶ ИРЛИ. Ф. 163. Арх. Ляцкого Е. А. Опись 2. № 152.

⁷ Речь идет о книге Е. А. Ляцкого: Гончаров. Жизнь, личность, творчество. Критико-библиографические очерки. СПб., 1912.

⁸ Вероятно, речь идет о работе Ляцкого: И. А. Гончаров. Критические очерки. СПб., 1904.

⁹ Александр Николаевич Гончаров — племянник Гончарова, сын его брата — Николая.

¹⁰ Говоря о «жестоком нападении» на своего мужа, Е. А. Гончарова допускает явное преувеличение. В своих книгах Е. А. Ляцкий очень часто прибегает к воспоминаниям гончаровского племянника, хотя и ссылается при этом на мнение М.Ф. Суперанского о степени их объективности.

¹¹ Неустановленное лицо.

¹² Известно, что И. А. Гончаров не любил жену своего брата. Существует мнение, что именно она является прототипом Ульяны Андреевны, жены учителя Козлова в «Обрыве».

¹³ Имеется в виду, конечно, Варвара Лукинична Лукьянова, у которой с И. А. Гончаровым был роман в 1849 году в Симбирске.

¹⁴ РО ИРЛИ РАН. Ф. 163. Оп. 1, № 150.

¹⁵ Гревинк Константин Иванович (1819—1887) — профессор геологии и минералогии Дерптского университета.

¹⁶ Манасеин Вячеслав Авксентьевич (1841—1901) — врач-клинист, общественный деятель, редактор газеты «Врач», член и председатель Литературного фонда, автор трудов: «Материалы для вопроса о голодании» (СПб., 1869), «Материалы для вопроса об этиологическом и терапевтическом значении психических влияний» (СПб., 1876), «О значении психических влияний» (СПб., 1877), «Лекции общей терапии» (ч. I, СПб., 1879).

¹⁷ Потанин Гавриил Никитич (1823—1910) — писатель, уроженец и житель Симбирска, автор романа «Старое старится — молодое растет» (Современник. 1861. № 1—4).

¹⁸ Вестник Европы, 1908, № 12. С. 456.

¹⁹ Впервые это предположение высказал П. Н. Сакулин, публикуя письма Гончарова к Е. В. Толстой (Голос минувшего. 1913. № 11. С. 51).

²⁰ См.: Гончаров И. А. Полн. собр. соч.: В 20 т. Т. 1. СПб., 1997.

²¹ Чемена О. М. Создание двух романов. М., 1966. С. 29. О Е. В. Толстой см.: Мельник В. И., Мельник Т. В. Благословляю судьбу, что встретил ее... (Елизавета Толстая в жизни автора «Обломова») // Волга. Саратов. 1996. № 5—6. С. 149—156.

²² И. А. Гончаров в воспоминаниях современников С. 104.

²³ Модзалевский Борис Львович (1874—1928) — известный литературовед, с 1918 года — член-корреспондент Академии Наук, один из организаторов Пушкинского Дома, «собранный его основные рукописные, книжные, изобразительные фонды... Основная заслуга Модзалевского — систематические разыскания и публикации литературных и исторических документов» (Краткая литературная энциклопедия. Т. 4. М., 1967. С. 912). В частности, Б. Л. Модзалевский опубликовал письма И. А. Гончарова (Временник Пушкинского Дома. 1914. Пг., 1915. С. 94—130; Невский IX. Вып. 2. Пг., 1917. С. 8—43).

²⁴ Встреча Е. А. Гончаровой и А. Ф. Кони, очевидно, состоялась на праздновании 100-летия со дня рождения Гончарова в Симбирске, куда приезжал и А. Ф. Кони. Письмо дает возможность предположить, что Гончарова сама обратилась к Кони, который согласился взять на себя роль предварительного «цензора».

²⁵ Огни. Кн. 1. Пг., 1916. С. 179—184.

²⁶ В газете «Новое время» в 1912 году были опубликованы 13 писем романиста к брату и 2 — к племяннику.

²⁷ Котляревский Нестор Александрович (1663—1925) — литературовед, академик.

Д. И. Черашняя
К СЕМАНТИКЕ «ЗОЛОТОЙ ЗАБОТЫ»
И «ДВОЙНЫХ ВЕНКОВ»
(О. Манделъштам, «Сестры — тяжесть
и нежность — одинаковы ваши приметы...»)

Какая-то страсть налетела,
Какая-то тяжесть жива;
И призраки требуют тела,
И плоти причастны слова...

«Как облаком сердце одето...» (1910)

В статье предлагается одно из возможных прочтений заметного стихотворения Осипа Манделъштама, которое в разных

аспектах привлекало к себе внимание многих исследователей¹. Приведем сначала его текст.

Сестры — тяжесть и нежность — одинаковы ваши приметы.
Медуницы и осы тяжелую розу сосут,
Человек умирает, песок остывает согретый,
И вчерашнее солнце на черных носилках несут.

Ах, тяжелые соты и нежные сети,
Легче камень поднять, чем имя твое повторить!
У меня остается одна забота на свете,
Золотая забота, как времени бремя избыть.

Словно темную воду, я пью помутившийся воздух.
Время вспахано плугом, и роза землею была.
В медленном водовороте тяжелые, нежные розы,
Розы тяжесть и нежность в двойные венки заплела!²

1920

«Тяжесть и нежность» определены как «сестры» и в силу свойственной Осипу Мандельштаму «заклинательности» синтаксической конструкции³ изначально утверждаются как в своей антидетичности, так и в сестринской одинаковости.

Между тем по логике прямых оппозиций составляющие этой антитезы не абсолютно противостоят друг другу. Они как бы извлечены из своих пар, в которых «тяжести» противостоит *легкость*, а «нежности» — *грубость*, и сведены вместе как «сестры» на основе иной — внутренней, художественной — логики по приметам, обнажающим их родственность, то есть причастности к чему-то нераздвоимо-цельному⁴.

Номинированные сразу же, в самом начале стихотворения, «тяжесть и нежность» неоднократно варьируются затем в своих сочетаниях и значениях, скрепляя текст собой как главным предметом разговора, которым и определяется его предметный план.

Во второй строке первой строфы «нежность» предметно воплощается в «розе», тяжесть же атрибутируется ей как добавочная характеристика. А поскольку «роза» и есть сама нежность, то возникает образ «тяжелой нежности», может быть, материнства («сосут»).

В начале следующей строфы в сочетании «тяжелые соты и нежные сети» каждый из двух признаков обретает новое тело (оба — по аналогии с *dolce pena* — *сладкой мукой* Петрарки) и — соответственно — новые смыслы: зрелость меда (как метафора поэтического творчества⁵) и нежность любви.

В третьей строфе в сочетание «тяжесть и нежность» привносится качественно иной характер их отношений: «роза землею

была». «Земля», как «тяжесть», довлеет над «розой»-«нежностью» и в то же время предшествует ей⁶. «Роза» сама, в свою очередь, предстает как порождение «земли», ее материнского лона, или причины. «В медленном водовороте» *природной* жизни их взаимопревращения означают вечное возрождение и неразрывную связь «тяжести и нежности» в образе «тяжелых, нежных роз».

Обратим внимание на два момента: а) появляется множественное число, что привносит смысл перманентного участия «роз» в этом «водовороте» как способа их существования, и б) как бы в противовес предшествующему преобладанию «тяжести»-«земли» здесь происходит удвоение «нежности» (уподобим «нежные розы» образу «нежнее нежного» в раннем стихотворении Манделыштама), так что «в медленном водовороте» равновесие не нарушается.

В финальной строке: «Розы тяжесть и нежность» — «розе» возвращена единичность, единственность (*эта* роза). Кроме того, синтаксически ее «тяжесть» словно окружается (или поглощается) «нежностью».

Менее открыто проступает связь с «сестрами» в другом объектном сюжете:

Человек умирает, песок остывает согретый,
И вчерашнее солнце на черных носилках несут.

По-видимому, смысл этих строк проецируется на жизнь человека вообще и приложим ко многим конкретным судьбам⁷. Свет души человека и его телесное тепло (в чем можно увидеть источники «нежности») рассеиваются по смерти. Остается только «тяжесть» «черных носилок» (усиленная повтором: «на черных *носилках несут*»)⁸ да «остывшего песка», чем исчерпывается объектный план текста.

Перейдем теперь к собственно лирическому его содержанию, которое проявляется и в отношении говорящего к предмету речи, и в его слове о себе самом, и, наконец, в сюжетно-композиционной организации текста⁹.

Уже начальная строка, с ее фиксацией «одинаковых примет», лишь на первый взгляд безлична. Сам выбор «беспредметных» предметов разговора личностно окрашен. Это акцентировано прямым обращением «ваши», заведомо предполагающим (пусть пока имплицитно) и того, кому обращение принадлежит. Приложение «сестры», персонифицируя сочетание отвлеченных признаков в одинаковости их примет у двуединого адресата обращения, характеризует не только «тяжесть и нежность» как таковые, но и самого говорящего — в его отно-

шении к «сестрам» как *своим*, лично ему прирожденным. Так уже первая строчка вводит нас во внутренний мир лирического субъекта, придавая его монологу значение раздумья, в том числе о себе самом¹⁰.

Картина смерти «человека» разрешается междометным вздохом говорящего («Ах») и мысленным обращением к возлюбленной («имя твое») с индивидуально-личными по выразительности и разнокачественными по своей сути оценками испытываемых им самим ощущений «тяжести и нежности»:

Легче камень поднять, чем имя твое повторить!

В первой части этого сравнения логическое ударение падает на слово «камень» как воплощение «тяжести». Во второй же мы видим удвоенное выражение «тяжести», которое несет в себе не только «имя» в его противопоставленности «камню», но и (причем в большей степени!) глагол-действие «повторить», находящийся в сильной позиции, помноженной к тому же на восклицание. Лирический субъект устанавливает собственную шкалу «тяжести и нежности».

Но почему тяжелее всего ему «повторить» ее «имя»? Для него как *влюбленного* это не просто слово, но слово, причастное *милой плоти* («имя твое»). А для него как *поэта* имя-слово и само способно стать плотью (ср.: три года спустя в «Нашедшем подкову»: «Трижды блажен, кто введет в песнь имя; / Украшенная названьем песнь / Дольше живет среди других»). И в следующих двух строках уже открыто, от первого лица, лирический герой говорит о себе:

У меня остается одна забота на свете —
Золотая забота, как времени бремя избыть.

Здесь и осознание личной цели; и то последнее, только ему принадлежащее («золотая забота»); и особая выделенность *этой* заботы среди иных; так что на полувопрос, обращенный к себе: «как времени бремя избыть», — ответ у него есть.

Эпитет «золотой» родствен «солнцу» в составе метафоры «вчерашнее солнце». Но если в ней — безысходность угаснувшего светила, синоним бесследного исчезновения (см. также в 1937 г.: «Если я не вчерашний, не зряшный...»), то здесь мысль устремлена в завтрашний день. В чем же родственность?

Посмотрим, в каком отношении к «тяжести и нежности» находится образ «золотой заботы». «Времени бремя» — несомненная тяжесть для лирического героя, как и для его современников. Но и оставшаяся у него «одна забота» — «золотая забота» — тоже тяжесть, только иного рода. Это тяжесть духов-

ной работы: вынашивания, вызревания плода, тяжесть рождения поэтического слова (ср. в 1923 г.: «А небо будущим беременно — пшеницей сытого эфира» — «Опять войны разногласица...»). В третьей строфе говорится о цене его творчества: «Словно темную воду, я пью помутившийся воздух». Образом «тяжести» определяется суть доставшейся ему эпохи, усугубляющей «бремя» его личного ограниченного времени. «Воздух» современности «помутился» настолько, что в ощущении героя он тяжелее «темной воды». Смещение стихий говорит о нарушении общего мироустройства¹¹.

Лирический герой выходит в пространство большого времени, «вспаханного плугом», то есть человеческой культурой¹², и в сегодняшней «розе», в единственности ее существования¹³, сопоставимой с жизнью каждого отдельного человека, он видит и продолжение тех «тяжелых, нежных роз» как проявление непреложного закона бытия, и неповторимо личное, кратковременное переживание бытия. Тем и определяется его «золотая забота» — воплотить в слове «тяжесть и нежность» общего закона и каждого отдельного существования¹⁴. (См. в продолжение эпиграфа к нашей статье:

Как женщины, жадут предметы,
Как ласки, заветных имен.
Но тайные ловит приметы
Поэт, в темноту погружен...)

«Золотая забота» лирического героя как *поэта*, по нашему мнению, и есть деятельное, творческое начало, которое заплетает в финале «двойные венки»¹⁵.

Обратим внимание на то, что венки сплетаются не из «роз», и даже не из этой единственной «розы», а из ее «тяжести и нежности». Иначе говоря — из того, что присуще всем розам — и *этой* в особенности; всем людям — и лирическому герою в его неповторимости; жизни вообще — и его эпохе в частности. Только поэту дано выразить всё это в слове, которое есть «плоть и хлеб. Оно разделяет участь хлеба и плоти... Не требуйте от поэта сугубой вещности, конкретности, материальности... Разве вещь хозяин слова? Слово — Психея. Живое слово не обозначает предметы, а свободно выбирает, как бы для жилья, ту или иную предметную значимость, вещьность, милое тело»¹⁶.

Но если «венки» заплетены из «тяжести и нежности», не возвращается ли стихотворение к своему началу — к исходной беспредметности признаков? Из начальной строки «венков» не сплести, в ней задается, говоря словами Мандельштама, толь-

ко «звучающий слепок формы, который предваряет написанное стихотворение. Ни одного слова еще нет, а стихотворение уже звучит. Это звучит внутренний образ, это его осязает слух поэта»¹⁷. И для того, чтобы поэт не унес с собой этот внутренний образ, а сделал его достоянием людей, слово поэта становится плотью.

Мы подошли к загадочности смыслов «двойных венков»¹⁸. Не умаляя важности уже выявленных многочисленных внешних ассоциаций, попытаемся увидеть, какие значения приданы этому образу в самом тексте. Прежде всего, в «двойных венках» диагонально отражается образ «медленного водоворота», так что две заключительные строки окольцованы образом двойного круга. В «медленном круговороте» представлен общий закон бытия. А «двойные венки», в своей индивидуально-творческий неповторимости, выражают *духовную суть* миропорядка и его сегодняшнего состояния, выполняя для будущего «золотую» работу: «вспахивать время плугом».

Их внутреннее устройство — не просто круг, но круг «двойной». «Двойные венки» по своему устройству родственны сотам («Ах, тяжелые соты...»). Известно, что и в дикой природе, и в бортевом пчеловодстве соты строятся как круглый двойной пласт в воронке дупла. Аналогом может быть верша, представляющая собой двойную воронку: наружную — с широким отверстием, которое называется «творилом»; и внутреннюю — с узким отверстием, именуемым «лаз», или «очко»¹⁹. Живая жизнь, в самом широком спектре ее превращений — как в природе, так и в творчестве — зарождается и возрождается в «тяжести и нежности». В этом видятся нам смысл и связь «золотой заботы» и «двойных венков»²⁰.

Эта связь воплощена в самом тексте, каждая строка и каждая строфа которого, как и стихотворение в целом, есть результат двойного плетения поэтом «тяжести и нежности».

Отошла в прошлое эпоха Осипа Мандельштама, уже 70 лет нет его на земле, но сплетенные им «двойные венки» по-прежнему «тяжелы и нежны»...

¹ См., напр., рецензию С. Боброва на сб. «Tristia», не обнаружившего в этом стихотворении логических связей ни между отдельными строчками ни между катренами (Печать и революция. 1923. № 4. С. 260); статью Б. Бухштаба 1929 г. «Поэтика Мандельштама», увидевшего специфику системы Мандельштама, и этого стихотворения в частности, в роли «внутренней игры значений», которой «никакой комментарий не поможет» (Вопросы литературы 1989. № 1. С. 147, 146); «нерасторжимость жизни, любви и смерти» (Струве Г. П., Филиппов Б. А. О некоторых образах Мандельштама // Мандельштам О. Э. Собр. соч.: В 4 т. М.: Тер-

ра — Тегга, 1991 (в дальнейшем — С4) [Репринтное воспроизведение изд. 1967], т. 3—4, С. 408); «В этом стихотворении переплетаются темы времени, умирания, бренности жизни и неразделенной любви» (Тарановский К. Ф. Пчелы и осы в поэзии Мандельштама: К вопросу о влиянии Вячеслава Иванова на Мандельштама // То Honog Roman Jakobson. The Hague; Paris, 1967. Vol. III. 1967); «Техника постепенного ухода от опознаваемых деталей и примет жизненной ситуации... работает не на самоценный бред и не на рационалистический ребус — она создает контраст для внезапного прорыва «узнавания»... Так и построены наиболее абсолютные образцы срединного периода творчества Мандельштама — «Сестры — тяжесть и нежность — одинаковы ваши приметы...» (Аверинцев С. Судьба и весть Осипа Мандельштама // Мандельштам О. Соч.: В 2 т. М., 1990. Т. 1. С. 44); «Еще чаще бессвязных слов — бессвязные фразы (поэтика пропущенных звеньев): почти сплошь из бессвязных фраз состоит «Сестры — тяжесть и нежность...» (Гаспаров М. Поэт и культура. Три поэтики Осипа Мандельштама // Мандельштам О. Полн. собр. стихотворений. СПб., 1995, С. 32) и др.

² Здесь и далее тексты цит. по: Мандельштам О. Стихотворения. Проза. М.: РИПОЛ КЛАССИК, 2001. С.91.

³ См. об этом: в статье Б. Бухштаба, напоминая, 1929 г. («Все формулы Мандельштама, все синтаксические линии, все ритмические ходы, в которые они уложены, вся мелодическая структура его стихов, являющаяся результатом определенных ритмико-синтаксических структур, — всё это опирается на традицию и воспринимается на ее фоне...». — Указ. соч. С. 136); также: Струве Н. Осип Мандельштам. Лондон, 1988 («У меня остается одна забота на свете: / Золотая забота, как времени бремя избыть». Такие двуступища, на полпути между афоризмом и молитвенным восклицанием, входят в сознание читателя и служат заклинательными формулами». — С. 217).

⁴ См., напр.: «Здесь главный пункт работы Мандельштама — создание особых смыслов. Его значения — кажущиеся, значения косвенные, которые могут возникать только в стихе, которые становятся обязательными только через стих. У него не слова, а тени слов» (Тынянов Ю. Н. Поэтика. История литературы. Кино. М., 1977. С. 189).

⁵ См. об этом: «Высокая степень организованности пчелы и мёда (особенно сотового), олицетворяющих начало высшей мудрости, делает пчелу и мёд универсальными символами поэтического слова, шире — самой поэзии» (Иванов В. Н., Топоров В. Н. Пчела // Мифы народов мира. В 2 т. М., 1982. Т. 2. С. 355).

⁶ Об этом см.: «С той же легкостью, с какой он раздвигает века, Мандельштам плывет вверх по течению времени: “Время вспахано плугом, и роза землею была...”» (Струве П. Г. Судьба Мандельштама // С4, т. 3—4, С. XXVI).

⁷ Из обширной литературы об этом см., напр.: «По сборнику проходит выражение “солнце черное,” не получая символического значения вследствие неустойчивости контекста» (Бухштаб Б. Указ. соч. С. 146); «Весьма устойчивый, частый образ Мандельштама: ч е р н о е солнце, н о ч н о е солнце, солнце в ч е р а ш н е е ... Итак, Солнце — Аполлон, Гелиос, Феб — и бог света-жизни, и бог ночи-смерти, и сам учмирает, и его несут на погребальных черных носилках» (Струве П. Г., Филиппов Б. А. О некоторых образах Мандельштама // С4, т. 3—4,

С. 404, 406); «Есть у него *вчера* солнце («Сестры тяжесть и нежность...», 1920). Ахматова утверждает — это Пушкин» (*Ивакк Ю.* Дитя Европы // Там же, С. X); В. В. Мусатов ссылается еще на одну запись А. Ахматовой в «Листках из дневника» — о том, что в 1920 г. Мандельштам сообщил ей о недавней смерти Н. В. Недоброво (*Мусатов В. В.* Лирика Осипа Мандельштама. Киев, 2000. С. 196) и др.

⁸ Ср. с маленькой трагедией «Пир во время чумы», написанной 6 ноября 1830 г., то есть 90 лет тому назад: «Поминутно мертвых *носят*» и «Но знаешь? Эта *черная* телега // Имеет право всюду разезжать» (*Пушкин А. С.* Собр. соч.: В 10 т. М., 1981. Т. III. С. 330, 333).

⁹ «Композиция — сеть отношений между сюжетами, охватывающими в совокупности всё произведение»; «Сюжет — последовательность отрывков текста, объединенных либо общим субъектом (тем, кто воспринимает и изображает), либо общим объектом (тем, что воспринимается и изображается)» (*Корман Б. О.* Целостность литературного произведения и экспериментальный словарь литературоведческих терминов // *Корман Б. О.* Избранные труды. Теория литературы. Ижевск, 2006. С. 321, 329).

¹⁰ «В “Tristia” и в стихах 20-х годов... опыт поэта в еще большей мере становится внутренним опытом. Всё же и теперь перед нами не столько лирическая личность, сколько некий тип сознания и присущая ему жизненная позиция» (*Гинзбург Л.* О лирике. М., 1997. С. 352).

¹¹ Ср.: «Воздух бывает темным, как вода, и всё живое в нем плавает, как рыба... Воздух замешен так же густо, как земля: / Из него нельзя выйти, в него трудно войти» (*Мандельштам О.* Нашедший подкову. 1923).

¹² См.: «”время вспахано плугом”, т.е. время плотно, как земля, и, как она, может быть “культивировано”» (*Левин Ю. И.* Избранные труды. Поэтика. Семиотика. М., 1998. С. 82).

¹³ Ср.: «жизнь и смерть — круговорот, роза рождается из земли и уходит в землю, а память о своем единичном существовании она оставляет в искусстве («двойные венки»)» (*Гаспаров М.* Поэт и культура // Указ. соч. С. 26).

¹⁴ Ср.: «Блестит между минутных роз / Неувядаемая роза...» (стихотворение А. С. Пушкина «Есть роза дивная...» написано 1 апреля 1827 г., через две недели после безвременной смерти Д. В. Веневитинова; см. впоследствии у О. Мандельштама: «Веневитинову — розу»).

¹⁵ Ср.: «Стихотворение заканчивается синтаксически открытой конструкцией, в которой заключительный глагол, поставленный в конце последнего стиха, не имеет безусловного подлежащего. Эта неопределенность — один из эстетических ключей стихотворения, составная часть его поэтики: выбирай, что хочешь» (*Струве Н.* Указ. соч. С. 217).

¹⁶ *Мандельштам О.* Слово и культура // *Мандельштам О.* Указ. соч. С. 498.

¹⁷ Там же. С. 499.

¹⁸ См., напр.: «в *медленном водовороте* времени уходит в землю *человек* и из земли рождается *роза*, символ этого кругового повторения — *двойные венки* из роз» (*Гаспаров М.* Комментарий. Прим. 2. С. 760).

¹⁹ См. также: «Так двум была работой Красота // *Единая, как мёд двойного сота*» (Венок сонетов. № 8. Цит. по: *Иванов Вяч.* Стихотворения и поэмы. Л., 1976. С. 215).



ВОПРОСЫ ТЕОРИИ

К 100-летию со дня рождения К. Леви-Стросса

С. Н. Зенкин

ДАР И САКРАЛЬНОЕ

1

В статье «“Договор” и “вручение себя” как архетипические модели культуры» (1981) Ю. М. Лотман выделил две противоположные «архаические социокультурные модели <...> представляющие особый интерес в свете их дальнейших трансформаций в истории культуры». Эти две модели имеют прямое касательство к исследованию сакрального, и Лотман не случайно обозначают их терминами, отсылающими именно к сфере сакральных практик и представлений: «С известной степенью условности одну из них мы будем именовать магической, другую — религиозной»¹. Лотман делает оговорку об «известной степени условности» таких названий; действительно, религия и магия служат в его статье скорее обобщающими метафорами, а непосредственным предметом описания являются не столько отношения людей с потусторонними силами, сколько их социальные, и особенно политические, отношения между собой. Тем не менее выбор именно этих, а не других терминов следует рассматривать серьезно — как попытку семиотической теории культуры сконструировать категориальную сетку, позволяющую описывать *в числе прочего* и собственно феномены сакрального: религию и магию.

Магическая модель характеризуется, по Лотману, 1) взаимностью («например, колдун совершает определенные действия, *в ответ на которые* заклинаемая сила совершает свои»), 2) принудительностью («совершение определенных действий одной стороной требует ответных определенных действий со стороны другой»), 3) эквивалентностью («отношения контрагентов <...> носят характер эквивалентного обмена и могут быть уподоблены обмену конвенциональными знаками»), 4) договорностью (причем «наличие договора подразумевает и возможность его нарушения в такой же мере, в какой из конвен-

ционально-знаковой природы обмена вытекает потенциальная возможность обмана и дезинформации»². Напротив того, религиозные отношения строятся как «безоговорочное вручение себя во власть»³ и характеризуются 1) односторонностью («отдающий себя во власть субъект рассчитывает на покровительство, но между его акцией и ответным действием нет обязательной связи», 2) непринудительностью для той силы, которая получает власть над отдающимся субъектом («одна сторона отдает все, а другая может дать или нет»), 3) неэквивалентностью («отношения <...> исключают психологию обмена и не допускают мысли об условно-конвенциональном характере основных ценностей»), 2) «следовательно, отношения этого типа имеют характер не договора, а безусловного дара»⁴.

Оппозиции Лотмана основываются в конечном счете на общесемиотической оппозиции знаков конвенциональных и мотивированных, чисто реляционных и субстанциальных. «Магическая» деятельность отличается от «религиозной» тем, что в ней реальные субстанции подавляются условными семиотическими функциями. Так, например, обстояло дело в средневековой рыцарской этике:

Здесь все — невеста, бой, свадьба — превращено в знаки рыцарской чести и ценно не само по себе, а лишь в связи с этим, приписанным значением. Невеста ценна не сама по себе, а лишь в связи с трудностью ее получения — без этих трудностей она теряет свою ценность, бой ценится не победой как таковой, а, во-первых, победой, одержанной по определенным условным правилам, и, во-вторых, в максимально трудных условиях. Поражение и гибель при попытке выполнения невыполнимой задачи ценятся выше, чем победа и связанные с ней практические выгоды, полученные путем расчета, практической сметки или обычных военных усилий. Эффектность ценится выше, чем эффективность⁵.

Противоположный, «религиозный» случай «вручения себя» описан у Лотмана с меньшим количеством примеров (главным образом на материале государственной системы Московской Руси), причем термины этого описания заимствуются из сферы не дискретных, а континуальных представлений: перед лицом небесной или воплощающей ее земной власти «отдельный человек выступает не как договаривающаяся сторона, а как *капля, вливающаяся в море*»; для него «наградой является *растворение в абсолюте*, от которого не ждут никакой взаимности»⁶. Сама власть осуществляет в таком случае не условно-знаковую, а символическую деятельность:

Распространяя на государственность религиозное чувство, социальная психология этого типа требовала от общества как бы передачи всего се-

миозиса царю, который делался фигурой символической, как бы живой иконой⁷.

Для Лотмана метаязыком, позволяющим различить две культурных модели, служат категории семиотики. В случае «договорного» обмена его объект является инертной, пассивной вещью, становящейся знаком лишь извне, благодаря действиям людей. Напротив того, в случае дарственного акта имеет место уже не обмен, а «вручение себя», предметом которого является сама личность совершающего такой акт. Дар — это *символ*, интимно связанный с дарителем, и в этом его тревожная и требовательная сила, считать ли ее «магической» или «религиозной». Тем самым схема Лотмана занимает место в дискуссии о сакральном потенциале дара, которая уже около столетия ведется в разных общественных науках.

Действительно, в антропологии и социологии уже с 1920-х годов, а особенно в последние десятилетия, активно обсуждается институт ритуального или «церемониального» дара, который наблюдается во многих традиционных обществах и в котором нетривиальным образом перераспределяются и перекомбинируются элементы выделенных Лотманом оппозиций. Существенно, что это перераспределение происходит не на уровне эмпирической реальности, всегда смешивающей разные культурные нормы (в таком смысле и Лотман признавал, что «выявившиеся в истории культуры религии чаще всего сложно состоят из обоих элементов», то есть и из «религии», и из «магии»)⁸, а на уровне самой нормы. С одной стороны, ритуальный дар взаимен и обоюдно принудителен — в этом отношении он тяготеет к «магической» модели; с другой стороны, в него вовлечена не только даримая вещь, но и личность дарителя, он часто не признает принципа эквивалентности и не подразумевает никакого договора, соответственно возможность толкования и нарушения правил, игрового отношения к архаическому дару исключается — что соответствует «религиозной» модели в терминах Лотмана.

2

Впервые эта проблема была сформулирована Марселем Моссом в знаменитом «Опыте о даре» (1924)⁹.

Обязательный характер архаического дара, отличающий его от современного понимания дара как бескорыстно-добровольного благодеяния, заявлен уже в программе-предисловии к работе, где говорится, что во многих традиционных культурах «обмены и договоры осуществляются в форме подарков, теоретически добровольных, в действительности же обязательно

вручаемых и возмещаемых»¹⁰. Понятия «договора» и «подарка», по схеме Лотмана взаимодополнительные и одноуровневые, оказываются здесь совмещены в рамках двухуровневой системы, различающей «теорию» и «действительность». Дар служит *формой* обмена и договора, в которой последние выступают для людей традиционных культур; то есть одновременно имеет место и то и другое, взаимно обязательный (реципрокный) обмен осуществляется в неузнаваемом облици дара. (Заметим на будущее эту имплицитно отмеченную уже Моссом роль *неузнавания* в дарственных отношениях.)

Особо показательным примером взаимно обязательного и демонстративно неэквивалентного дара послужил для Мосса потlach — «система взаимообмена дарами»¹¹ между семьями и кланами, описанная у индейцев Северо-Западной Америки и у некоторых других народов. Потlach устраивают по многим торжественным поводам, и уклониться от его устройства или от участия в нем считается бесчестьем. В ходе потлacha обе стороны стремятся превзойти друг друга в щедрости, что ведет к безрасчетному расточению запасов и ценностей, копившихся долгое время:

Потребление и разрушение при этом действительно не знают границ. В некоторых видах потлacha от человека требуется истратить все, что у него есть, и ничего не оставлять себе. Тот, кому предстоит быть самым богатым, должен быть также самым безумным расточителем. Принцип антагонизма и соперничества составляет основу всего <...> Устроить брак детей, добиться членства в братствах можно только в ходе обменных и ответных потлacha <...>. В ряде случаев вещи даже не дарят и возмещают, а уничтожают, чтобы не иметь даже видимость желания получить что-либо обратно. Сжигают целые ящики рыбьего жира или китового жира, сжигают дома и огромное множество одеял, разбивают самые дорогие медные изделия, выбрасывают их в воду, чтобы подавить, унижить соперника¹².

Итак, с одной стороны, потlach осуществляется без всякого договора между участниками и обмен в нем идет по нарастающей, то есть заведомо неэквивалентно, с другой же стороны, это именно двусторонний обмен, и каждый дар образует обязанность отдаться. Обращает на себя внимание практика публичного уничтожения богатств (в форме пышного пира или просто разрушительных действий вне всякого потребления), которую сам Мосс не преминул сопоставить с жертвоприношением¹³. Разрушительный потlach — это по своей форме (квази)сакральный ритуал, жертвоприношение без божества, осуществляемое в чисто человеческом, социальном контексте¹⁴.

Еще теснее связано с проблематикой сакрального то объяснение, которое дается обязательности дара. Сопоставляя ряд древних или же сохранившихся до начала XX века традиций, Мосс разделяет три обязанности, связанные с даром: *дарить*, *принимать* и *возмещать* дары¹⁵. Научного объяснения им он не дает — его задача скорее вычленил и описать, чем каузально истолковать феномен архаического дара, — а на уровне самопредставлений традиционных культур показал только то, как в них толкуется третья из обязанностей: обязанность отдариться, возместить полученный дар. Люди архаических обществ объясняют ее двояко — во-первых, через понятие социального престижа, которым обладает даритель, во-вторых, через понятие силы, заключенной в самих вещах.

В первом случае Мосс называет мотивами потлача «честь, престиж, *ману*, которую несет с собой богатство, и безусловную обязанность возмещать дары под угрозой потерять *ману* — власть, талисман и источник богатства, воплощенный в этой самой власти»¹⁶. Мана функционирует здесь как синоним престижа, чести, то есть социального достоинства, которое утрачивается или умаляется, если проиграть состязание в щедрости.

Второе объяснение обязанности возмещать, возвращать дары дается несколькими страницами ниже, и оно носит уже не социальный, а собственно магический характер. Дарственные предметы, продолжает Мосс, «очень тесно связаны с личностью, кланом, землей: они проводники своей «маны», магической, религиозной и духовной силы»¹⁷; «в вещах, обмениваемых на потлаче, имеется свойство, заставляющее дары циркулировать, заставляющее дарить в возмещать их»¹⁸. Комментируя сообщение Э. Беста, исследователя культуры новозеландских маори, и в частности объяснение, данное одним из его информантов о духах-«хау» даримых вещей¹⁹, он делает следующий вывод:

Обязывает в полученном «обменном» подарке именно то, что принятая вещь не инертна. Даже оставленная дарителем, она сохраняет в себе что-то от него самого. Через нее он обретает власть над получателем...²⁰

Связанная со своим исконным владельцем сверхъестественной силой, подаренная вещь «стремится вернуться в место своего рождения»²¹, и такой гравитацией регулируется дарственный обмен в традиционных обществах:

В этой системе идей считается ясным и логичным, что надо возвращать другому то, что реально составляет частицу его природы и субстанции, так как принять нечто от кого-то — значит принять нечто от него духовной сущности, от его души. Задерживать у себя эту вещь было бы опасно, смертельно, и не просто потому, что это не дозволено, но

также и потому, что не только морально, но и физически и духовно эти идущие от личности вещи, эта сущность, пища, движимое и недвижимое имущество, женщины или потомки, обряды или союзы обладают над вами религиозно-магической властью. Наконец, даваемая вещь не инертна. Будучи одушевленной, часто индивидуализированной, она стремится к возвращению в «родительский дом»...²²

Таким образом, при дарственном обмене даримые предметы сохраняют сущностную связь с дарителем, служат продолжением его личности — индивидуальной или коллективно-племенной — и в этом смысле никогда до конца и не отчуждаются от него²³. Даря, человек дарит себя²⁴ — и вместе с тем оставляет даримое у себя²⁵. Показательны, например, упоминаемые Моссом обычаи залога при имущественных сделках в архаических обществах, когда дар служит гарантией договора:

В германском праве всякий договор, всякая продажа или покупка, заем или отдача на хранение включают создание залога; другому участнику договора дают какую-нибудь вещь, обычно малоценную: перчатку, монету (*Treugeld*), нож, во Франции, кроме того, — булавки <...> вещь обладает незначительной стоимостью и, как правило, является личной <...>. Переданная таким образом вещь вся наполнена индивидуальностью дарителя. Тот факт, что она находится в руках получателя, заставляет участника договора выполнить его, выкупить себя, выкупив вещь²⁶.

Два объяснения обязательного отдаривания, приводимые Моссом, не вполне совпадают и даже противоречат друг другу. В одном случае речь идет о «мане» как чести, которая *завоеывается* или по крайней мере поддерживается щедростью на потлаче — то есть является результатом дарственного действия. В другом случае «хау» — «духовная сущность» вещей, связывающая их с дарителем и направляющая к воссоединению с ним, предшествует дарению, заключена в них еще до и помимо их вовлечения в дарственный процесс. Причем в этом втором случае перед нами тоже несколько несовпадающих вариантов объяснения: то ли отдавать дар необходимо потому, что его иначе получатель находится под властью дарителя, то ли, наоборот, в случае дара-залога в магической зависимости от партнера оказывается не получатель, а сам даритель (вынужденный «выкупить себя, выкупив вещь»), то ли, наконец, вещь сама активно стремится вернуться «в родительский дом», независимо от властных потенциалов людей, передающих ее друг другу. Действующая сила связывается то с вещью, то с человеком (соответственно и называется она либо «хау», либо «маной»)²⁷, причем во втором случае — с разными участниками обмена. Кроме того, ни одно из этих объяснений (кроме, пожалуй, чисто морального толкования маны как чести) не

позволяет понять, почему вместо одного подарка можно отдать *другой*, не обязательно подобный ему ни по природе, ни по происхождению. А ведь, хотя в этнографии и зафиксированы абсурдные на наш современный взгляд случаи отдаривания в форме возврата *той же самой вещи*, которую фактически лишь дают ненадолго «подержать»²⁸, все же преобладающим является ответный дар в виде других (похожих или даже совсем иных) предметов. В рамках теории «хау» пришлось бы приписывать им — чего Мосс избегает делать — некую расширенно понимаемую симпатическую магию, когда внешне или даже только функционально сходные предметы передают друг другу свой энергетический заряд и его направленность на первоначального дарителя...

Все эти противоречия не следует ставить в вину Марселю Моссу. Он не искал единого научного объяснения архаического дара, а лишь сводил вместе разные версии, которые можно найти в разных культурных традициях или более или менее правдоподобно вывести из них²⁹. Общим знаменателем этих «туземных теорий» является наличие некоторой действенной силы (называть ли ее «мана», «хау» или как-то еще), которая так или иначе связывает вместе участников дарственного обмена и вещи, которые в нем циркулируют. Она, по-видимому, не поддается дискретной квантификации и действует наподобие летучей или текучей субстанции или силового поля. Обуславливая собой, в сознании участников архаического дара, непреложность его правил и обязанностей, она в реальности вырабатывается в ходе самого дарственного обмена и своей воображаемой непрерывностью компенсирует реальную дискретность участников обмена, разделенных самим фактом своего взаимодействия лицом к лицу. Мосс довольно точно отмечает эту двойственную атмосферу дарственного обмена (потлача), близкую к праздничному возбуждению:

...собрание племен, кланов и семей, даже народов сообщает ему немалую нервность и возбуждение. Люди братаются и в то же время остаются чужими; они общаются и противостоят друг другу в процессе грандиозной торговли и постоянного турнира³⁰.

По-видимому, именно такая тревожная амбивалентность традиционных дарственных обменов, заставляющая вспоминать об амбивалентности «маны», как она была описана у Дюркгейма, способна порождать мифические сюжеты о злонамеренном, часто даже смертоносном даре — от легенд о Giftmädchen, «ядовитой деве», подсылаемой врагу в качестве невесты или наложницы и убивающей его ядом, которым насыщено ее тело³¹, до классического греческого мифа о «да-найском даре», троянском коне.

Таким образом, интеллектуальное богатство «Опыта о даре» в немалой мере обусловлено тем, что Мосс соединяет, не всегда четко их разграничивая, два гетерогенных элемента — метаязык современной антропологии и язык-объект архаических культур, объективное описание дискретных социальных структур и действий и «туземные теории», включающие более или менее смутные представления о континуальных действенных субстанциях. Точкой, в которой сходятся эти два несовпадающих дискурса, является теория дара, рассматриваемого то как нейтральный предмет обмена, то как внутренне насыщенный, энергетически заряженный объект сакрального типа (в терминах Лотмана, то как «знак», то как «символ»). Дальнейшая интерпретация трактата Мосса развивалась либо по пути редукции сакрального начала, по пути гомогенизации дискурса в сторону чистой научной объективности, либо по пути углубленных толкований первобытного символизма, которые могут подводить толкователя к границам рационального знания. Сторонники первой, реляционистской гипотезы сводят дар к социальным отношениям дарителя и получателя, посредством которых они стремятся объяснить и особенный статус даримой вещи, сторонники же второй, субстанциалистской гипотезы, вовлекают в свои размышления собственно подарок как парадоксальную, не замкнутую в своих границах вещь. Пользуясь туземными терминами, которые не вполне последовательно, но все же различаются у Мосса, можно сказать, что одна традиция имеет дело с десакрализованным, просвеченным социальными структурами понятием «маны» как человеческого престижа, тогда как другая — с сакрально-непроницаемым понятием «хау» как темной «души вещей».

3

С последовательно реляционистской критикой Мосса выступил Клод Леви-Стросс в своем предисловии к сборнику трудов Мосса (1950) — манифесте структуралистского метода в этнологии. Именно в связи с теорией дара Леви-Стросс показывает недостаточность традиционных методов этой науки и предлагает им структуральную альтернативу. Не принимая в качестве объяснительного средства понятие «маны» (которое он отождествляет с «хау»), он замечает, что при его использовании мы имеем дело «с одним из случаев (не таким уж и редким), когда этнолог поддается мистификации со стороны туземца»³². По его мысли, Марсея Мосса заставила прибегнуть к такому (само)обману кажущаяся несводимость воедино трех отдельных эмпирически выявляемых обязанностей дарственного обмена — дарить, получать, возмещать:

Вся теория требует наличия структуры, а опыт представляет лишь разрозненные части или, скорее, элементы этой структуры. Если обмен необходим, но его нет среди данных, значит, надо сконструировать его. Как? Прилагая к изолированным телам — единственному, что имеется в наличии, — источник энергии, осуществляющий их синтез³³.

Разумеется, подобная гипотеза оказывается шаткой, и Леви-Стросс тут же выявляет в ней внутренние противоречия (в частности, необъяснимость обмена дарами, обладающими *разной природой*), после чего заключает:

Избежать этой дилеммы можно только одним способом: заметить, что обмен, а не отдельные [discrètes] операции, на которые раскладывает обмен социальная жизнь, конституирует примитивный феномен³⁴.

Целостность социального «примитивного феномена» Леви-Стросс предлагает не выводить индуктивным путем из его эмпирически наблюдаемых частей и более или менее понятных «туземных теорий», а постулировать как изначальную данность, обладающую большей реальностью, чем свои части. Такой целостностью является, с его точки зрения, сам обмен как таковой — он образует фундаментальный феномен любого общества, и объяснять требуется не его, а лишь различные его формы и применения в конкретных обществах. В своих трудах Леви-Стросс упоминает несколько разновидностей этого глобального обмена: обмен брачный, дарственный, словесный, — которые все мыслятся по дискретно-знаковой модели, как операции свободными и отдельными друг от друга объектами³⁵; из структурного целого, которое они образуют, исключены энергетические потоки и непрерывные субстанции вроде маны. Соответственно Леви-Стросс редуцирует ману, описанную Дюркгеймом и Моссом, до «текучего *неустойчивого означающего*» в знаковой структуре³⁶.

В последние десятилетия дар все чаще привлекает внимание не только этнологов, но и социологов, как универсальный феномен, свойственный всем обществам, и «первобытным» и «цивилизованным». Основу для такого универсализма дал сам Мосс, описывая в главе IV своего «Опыта о даре» некоторые феномены современной цивилизации, сближающиеся с архаическим даром, — например, авторское право или пенсионное обеспечение, объединяемые общей идеей неразрывной связи между человеком и продуктом его труда. Как подаренная вещь, перейдя в чужие руки, сохраняет связь с дарителем, так и предмет интеллектуальной собственности или прежний труд вышедшего на пенсию работника не до конца отчуждаются от них и продолжают приносить им отложенный доход. Разумеется, в этих случаях нет речи ни о каком магическом объясне-

нии, подобные факты в современном мире описываются в социально-юридических терминах и оцениваются по критериям морали. Будучи убежденным социалистом, Мосс усматривал в дарственном обмене гуманную альтернативу господствующим товарно-денежным отношениям:

Итак, можно и нужно вернуться к архаическому, к исходным началам. Мы обнаружим мотивы жизни и действия, до сих пор известные многочисленным обществам и классам: радость отдавать публично; удовольствие тратить художественно и великодушно; удовольствие принимать гостей и участвовать в личном и общественном празднике³⁷.

И ниже:

Мы неоднократно видели, насколько вся эта экономика обмена дара далека от рамок так называемой естественной экономики, от утилитаризма³⁸.

«Дарственное» и «товарное» общества рассматриваются как идеальные типы, которые в разных соотношениях присутствуют в любом реальном обществе, как архаическом, так и современном, и задачей современного общества является, следуя заветам Мосса, усилить влияние дарственной системы, не отказываясь воссе от системы товарно-рыночной.

Эта проективно-идеологическая тенденция работы Мосса, выходящая за рамки чистого научного описания, не всеми разделяется в современной социологии, даже тогда, когда последняя сосредоточивается на разработке «дарственной» альтернативы капиталистическому утилитаризму.

Последователями Мосса-«антирыночника» являются французские исследователи, объединившиеся в группу «Антиутилитаристское движение в общественных науках» («Mouvement anti-utilitariste dans les sciences sociales», сокращенно MAUSS, как фамилия Марселя Мосса): Ален Кайе, Жак Годбу, Камиль Таро, Филипп Роспабе, Жан-Поль Виллем, Марсель Энафф и другие³⁹. У Алена Кайе дар трактуется как проявление свободной солидарности между людьми, позволяющей преодолеть бесплодную альтернативу индивидуалистического (совершенно отдельного от других) и «холистского» (не выделенного из общины) субъекта: первый, объясняет Ален Кайе, не способен дарить, так как слишком независим от отношений с другими, второй — потому что слишком зависим от них и вообще не может совершать свободных поступков. В терминах Макса Вебера, первый ведет себя целерационально, второй — традиционно⁴⁰, первый принадлежит сфере экономического обмена, второй же, как можно понять, гипотетическому первобытному коммунизму. Дарственный акт занимает промежуточное положение или служит синтезом этих двух моделей поведения:

его совершают добровольно, но и не ради непосредственной выгоды. Марсель Энафф уточняет, что взаимный церемониальный дар

одновременно и обязателен и свободен. Абсолютно принудительный дар был бы чисто природным явлением (как потребность в питании или размножении) и ничего не сообщал бы нам об устройстве общества. Поэтому церемониальный дар, сколь бы обязательным он ни был для группы, остается актом выбора. Дар — это свободная обязанность, так как это обязанность свободных людей⁴¹.

Энафф четче других участников MAUSS проводит границу между архаическим церемониальным и современным «моральным» даром; в этом смысле он отмежевывается и от попыток толковать дар в социалистическом духе. Архаический дар, напоминает он, никоим образом не бескорыстен:

...это не просто уступка, из благожелательности или по расчету, того, чем ты владеешь; это выдача обязывающего залога, как бы замещающего собственную личность, равнозначная заключению пакта⁴².

Отличие дарственного обмена от товарно-рыночного не в том, что первый совершается «даром», а второй ради выгоды. На самом деле и тот и другой преследуют транзитивные цели, просто понимаемые в двух случаях по-разному. Еще в 1982 г. Кристофер Грегори в книге «Дары и товары» провел концептуальное различие между ними: при дарственных отношениях участники обмена рассматривают себя как членов сообщества, связанных взаимными обязательствами на длительный срок, а при товарных — как атомарных индивидов, независимых друг от друга до и после конкретного акта обмена⁴³. В первом случае целью обмена служит установление и поддержание индивидуальных связей между социальными агентами, во втором — передача анонимных, не связанных с ними вещей. Марсель Энафф развивает эту мысль, соединяя ее с леви-строссовской концепцией обмена словами, дарами и женщинами:

Церемониальный дар — это не отношение между людьми через посредство вещей (этим определяется экономика), это отношение между людьми через посредство символов, которые могут быть материальными благами (рассматриваемыми как нечто ценное), но могут быть также и лицами (как при брачном союзе), жестами, словами, плясками, музыкой, праздниками, песнями, пирами⁴⁴.

В этой формулировке обращает на себя понятие *символа*, которое также и Ален Кайе использует для характеристики объекта, служащего для дарения, и противопоставляет его *знакам* товарного обмена:

Недостаточно сказать, что дары являются символами. Необходимо также уточнить, что именно они символизируют и осуществляют: это

союз <...>. Знаки разделяют, символы соединяют. Знаки денотативны, символы коннотативны. Знаки значат, означают, у них есть значение. Символы обладают смыслом, дают почву для мысли⁴⁵.

Энафф напоминает конкретное этимологическое значение слова «символ»: по-гречески *symbolon* назывались обломки разбитого горшка, которые брали себе в качестве опознавательного знака участники заключаемого союза. Сходным образом и подарки в системе церемониального обмена служат *символом* установленных взаимно обязательных отношений между людьми и группами. Соответственно сущность этих подарков — не товарно-имущественная, и у них нет потребительной стоимости:

Ошибочной интерпретацией является фетишизировать даримый объект как предмет потребления для получателя, тогда как на самом деле для обоих партнеров это свидетельство — символ — союза⁴⁶.

Дар-символ отличается от товара своей прямой связью с участниками обмена и потому способен агрессивно покушаться на их личность: «Дар возвращают как удар, а не как ссуду»⁴⁷. Энафф даже сопоставляет дарственное признание-признательность, возникающее в ходе обмена дарами, с тем признанием, которого добивались друг от друга будущие Господин и Раб в знаменитом пассаже из «Феноменологии духа» Гегеля. Между двумя ситуациями сохраняется та существенная разница, что при дарственном обмене борьба за признание опосредована предметами дара и не посягает непосредственно на жизнь и свободу участников; оттого-то обмен дарами, даже чреватый конфликтами потлач, служит альтернативой обмену ударами (а не товарами):

При церемониальном даре предмет изначально преподносится как залог и заместитель — как подарок, опосредующий отношения между партнерами; конфликт возникает лишь тогда, когда дары оказываются отвергнуты или же когда их вовсе не было. А потлач, даже самый агонистический, представляет собой дарственную борьбу, то есть поединок через посредство имущества, «символизирующего» собой участников, но не бой с помощью оружия. Вообще говоря, гегелевская модель предполагает, что дух церемониального обмена исчез⁴⁸.

Книга М. Энаффа интересна тем, что ее автор, стоя на жестко реляционистских позициях, рассматривая дар только как особую конфигурацию отношений между людьми⁴⁹, признает особенную социальную сущность «вещи», которая опосредует собой эти отношения. Сам факт такого опосредования позволяет перевести борьбу за признание из конфликтно-враждебной формы в форму *коммуникации*, мирного состязания. Такая вещь-посредница («вещь» в широком смысле слова — как мы видели, предметом дара могут быть и многие невеществен-

ные объекты, включая даже свободных людей) перестает быть пассивно-инертной и выступает как символ союза, общественного отношения, в конечном счете общества и социального мира вообще. Здесь получает дальнейшее развитие не только московское понятие «тотального социального факта», но и мысль Дюркгейма о сакральном как выражении общества в целом, распространяющего сферу своего влияния на мир в целом. Действительно, по такой теории дар затрагивает не только своих прямых участников (поэтому он всегда публичен), дары между людьми не отличаются принципиально от даров между людьми и богами, дарственные отношения охватывают и скрепляют собой мироздание:

Церемониальный дар как социальный факт является тотальным лишь потому, что он также является и космическим фактом⁵⁰.

Итак, не обязательно опираться на «туземные теории» с их понятиями «маны» и «хау», чтобы установить, что при традиционном, архаическом дарении сами вещи, приносимые в дар, обретают новую символическую природу, выделяющую их из ряда других, даже внешне схожих вещей, функционируют подобно сакральным предметам.

4

Возможна и иная трактовка особого статуса таких вещей, подразумевающая принципиально другое понимание сакральности. Она также основывается на критически переосмысленном «Опыте о даре» Мосса (лишний раз подтверждая необыкновенное богатство и многосмысленность этого трактата) и сформулирована французским антропологом Морисом Годелье в книге «Загадка дара» (1996). Марсель Энафф сочувственно пересказывает ее концепцию в своей собственной монографии, но оставляет без дальнейшей разработки, возможно именно потому, что Годелье не уклоняется от проблемы сакральности дара и не пытается свести дар к одним лишь отношениям между людьми, хотя и отвергает его объяснение с помощью «туземных теорий»⁵¹.

Стремясь разрешить противоречие между субстанциализмом Мосса и реляционизмом Леви-Стросса в трактовке дарственного обмена, Годелье фактически возвращается к старинному, до-дюркгеймовскому пониманию сакрального. Если Дюркгейм, а вместе с ним и Мосс доказывали независимость представлений о сакральном от веры в богов — в частности, у Мосса ярким проявлением сакрального выступал потлач, чисто человеческое действие, где не присутствуют никакие божества, — то Годелье последовательно «деконструирует»⁵² эту теорию, вновь утверждая родство дара и религиозного культа.

Во-первых, он поддерживает (и подкрепляет собственными полевыми исследованиями в Новой Гвинее) этнографическую критику московской теории потлача. С такой критикой уже выступали ряд исследователей, указывая, что потлач был описан этнографами, прежде всего Ф. Боасом, у североамериканских индейцев на позднем этапе их истории, после встречи с европейцами, существенно искажившей первоначальные мотивы и формы их дарственных обычаев. Из-за занесенных европейцами болезней численность индейцев резко сократилась, а вместе с нею сократилось и число высокостатусных положений, обострив конкурентную борьбу за «вакансии»; британские власти Канады запретили межплеменные и межклановые войны, перенаправив разрушительную энергию соперничества на дарственный обмен; наконец, своей торговлей европейцы создали среди индейцев слой нуворишей, которые, не имея наследственного статуса вождей, должны были утверждать себя в обществе посредством демонстративной щедрости⁵³. Вследствие этих возмущающих влияний традиционный потлач, щедрость которого ранее строго ограничивалась ритуальными рамками, «обезумел» и пошел вразнос, а московская теория как раз абсолютизирует это его искаженное состояние:

...в ходе преемственности идей от Боаса к Моссу и Батаю постепенно сформировалось определенное видение потлача, и это видение опирается лишь на поздние и крайние черты социального института, который лучше всего восстанавливается для доколониальной эпохи как общий способ регуляции общественных отношений, экономической по своей основе наладки отношений неравенства в иерархизированных обществах⁵⁴.

Подхватывая эту критику, М. Годелье высказывает более общее предположение, что потлач, представляющий собой лишь частный случай дарственного обмена, возникает в тех обществах, где социальная иерархия недостаточно сильна и устойчива по сравнению с межродовым соперничеством; именно последнее порождает агонистический обмен, направленный на завоевание престижа и влияния, которые ни за кем не закреплены раз и навсегда. Если воспользоваться очень огрубленными и анахроничными понятиями, то потлач — феномен первобытной (клановой) «демократии», тогда как в обществах более «авторитарных» он отсутствует:

Таким образом, основой обществ, практикующих потлач, оказываются отсутствие твердо установленной политической иерархии и наличие родственных отношений, когда для скрепления союзов требуется передача имущества и богатств. Их функционирование находит свое объяснение именно в этом, а не в вере в «душу вещей»⁵⁵.

Итак, потлач — не правило, а скорее исключение в быту традиционных народов. Чаще всего их жизнь жестко иерархизирована, а при иерархических отношениях между агентами обмена — старшими и младшими поколениями, правящими и подчиненными родами, богами и смертными — невозможно равное и азартное состязание за престиж и власть, каким является потлач по Моссу. Это второе принципиальное возражение, выдвигаемое Морисом Годелье против теории агонистического дарственного обмена:

Нам представляется первостепенно важным напомнить, что в иерархизированной целостности не бывает собственно реципрокных отношений. Существуют только асимметричные отношения взаимодополнительности и взаимозависимости⁵⁶.

Дарственный акт сам по себе создает неравные отношения между участниками — не только солидарность, но и превосходство дарителя над получателем⁵⁷. Соответственно и дарственный обмен в целом асимметричен в отношениях между низшими и высшими: одни лишь последние вправе невозбранно отклонить подношение или же принять его без ответного дара. С другой стороны, в любом, не только традиционном обществе есть люди, располагающиеся на низшей ступени социальной лестницы (дети, рабы, всякого рода отверженные), вообще не имеющие собственности и не способные сами приносить даров. Таким образом, выделяются две категории людей и социальных групп, которые хотя бы частично, в некоторых ситуациях, свободны от обязанностей взаимного дарственного обмена: «те, кто в силу своего высшего ранга находятся вне арены состязаний, и те, кто исключены из них снизу, из-за своего приниженого или рабского положения»⁵⁸. Асимметрия дара особенно очевидна в отношениях между людьми и богами, сотворившими мир и людей: от них в принципе невозможно отдариться, даже жертвуя самым ценным. Жители Новой Гвинеи, пишет Годелье,

не могли бы практиковать потлач с [богиней] Афек, которая сама им все дала и однажды могла бы все забрать у них назад. Конечно, жертвоприношение, жертва жизнью — это такой дар, который по сравнению с обычной молитвой способен наложить на получателя более сильную обязанность ответного дара. Но жертвоприношение никогда по-настоящему не является сделкой, срочным капиталовложением⁵⁹.

Вряд ли знакомая французскому ученому лотмановская оппозиция двусторонне-эквивалентного «договора» и односторонне-неэквивалентного «вручения себя» помогает разграничивать два типа дарственного обмена в традиционных обществах: «горизонтальный» потлач, в принципе совершаемый между

равными, и «вертикальную» циркуляцию ценностей по ступеням общественной и онтологической иерархии⁶⁰.

Наконец, третьим и важнейшим тезисом Годелье, вытекающим из предыдущего и переворачивающим все отношения между даром и сакральным, является его теория предметов, *исключенных из дарственного обмена*.

Своими корнями эта идея восходит опять-таки к «Опыту о даре» Мосса. Опираясь на описание церемониального обмена «кула» у жителей Тробрианских островов, данное незадолго до того Брониславом Малиновским, Мосс отмечал, что предметом этого обмена служат специально изготавливаемые драгоценные предметы (браслеты и ожерелья из раковин) — «нечто вроде денег»⁶¹, но индивидуализированные, обладающие магическими свойствами, имеющие «имя, личность, историю <...> даже любовные приключения <...> некоторые индивиды даже заимствуют их имена»⁶². Таким образом, предметы церемониального дара выделены из числа обычных товаров⁶³. Сходное разделение существует и у североамериканских индейцев:

...существуют, с одной стороны, объекты потребления и обыкновенного раздела <...>. А с другой стороны, существуют фамильные ценности, талисманы, медные гербовые пластины, одеяла из шкур или гербовые ткани. Этот последний класс объектов передается столь же торжественно, как передаются женщины на бракосочетаниях, «привилегии» зятю, имена и обереги детей и зятьев. Было бы неточно говорить в данном случае об отчуждении. Эти объекты скорее даются взаймы, чем продаются и уступаются навсегда. У квакиютлей некоторые из них, хотя и появляются на потлаче, не могут уступаться. В сущности, такая «собственность» — это *sacra*, святыня, с которой семья расстается с трудом или не расстается никогда⁶⁴.

Именно это последнее замечание Мосса стало краеугольным камнем в концепции Годелье. Общественная жизнь, вопреки теории Леви-Стросса, не сводится к одним лишь процессам обмена, в ней обязательно есть нечто изъятое из обмена, и именно оно является сакральным (*sacra*):

Наряду с «вещами» — имуществом, услугами, людьми, — которые обменивают, есть еще и такое, что не дарят и не продают и что также составляет предмет специфических институтов и практик, образующих особую, ни к чему не сводимую составную часть общества как целого...⁶⁵

Такое неотчуждаемое достояние состоит из предметов, обладающих, по словам Мосса, «именем, личностью, историей», то есть подобных людям. В мифических рассказах они характеризуются как *дары*, полученные людьми от «лиц более значительных, чем люди, — богов, духов, славных пращуров»⁶⁶. Функционально они сближаются с фетишами. Иерар-

хическое превосходство этих изъятых из дарственного обмена предметов над всеми другими вещами изоморфно иерархическому положению высокопоставленных людей, которые, подобно этим предметам, тоже не зависят, по крайней мере в некоторых случаях, от дарственного обмена. Даже если речь идет о предметах не культового, а бытового применения, лучшие из них часто рассматриваются как неотчуждаемые, даже на потлаче их скорее демонстрируют соперникам как свидетельство своего богатства, но реально не пускают в процесс обмена:

...в экономике дара из дарения должны исключаться предметы однотипные с даримыми (циновки, изумруды и т.п.), но более красивые, более редкие, более дорогие⁶⁷.

В сознании архаических народов, практикующих такие изъятия из дарственного обмена, можно усмотреть своего рода стихийный платонизм: в самом деле, в дар не полагается приносить *образцы*, заключающие в себе сущность всего ряда подобных им вещей, которые уже могут быть подарены или даже проданы. Сходным образом и платоновский эйдос (обладающий, правда, не материальной, а чисто интеллектуальной природой) остается неизменен и исключен из циркуляции и трансформаций реальных объектов, которые его воплощают. В современной потребительской цивилизации любопытную аналогию может составить диалектика «модели» и «серии» модных вещей: модели все время находятся вне реального товарооборота, вне доступа реальных потребителей, в идеально-воображаемой сфере общественных желаний, где обитают современные небожители — модные кутюрье и дизайнеры, «звезды» массовой культуры и т.п. Модели, эти современные «возвышенные объекты», не продаются, а *даруются* всему обществу сразу, но лишь издалека, вприглядку — через «бесплатную» для потребителей рекламу. В отличие от эйдосов, они изменчивы. Их коммерческая недоступность обеспечивается не столько высокой ценой, сколько характерно современным средством — стремительным обновлением, из-за которого большинству покупателей всегда достаются лишь серийные копии уже устаревших моделей⁶⁸.

Сам М. Годелье, пользуясь восходящими к Платону терминами «копия», «архетип» и «прототип»⁶⁹, приводит другую аналогию из современной цивилизации, не связанную с даром и взятую из финансовой сферы, как она описана Марксом («К критике политической экономии», 1857) и современным франко-американским философом и эссеистом Жан-Жозефом Гу. Исключенные из дарственного обмена *sacra* подобны золотому запасу, который неподвижно хранится в банке, вне

повседневного денежного оборота и этой своей неподвижностью как раз гарантирует, делает возможным стремительный оборот капитала, осуществляемый с помощью не «сакральных» денег (золота), а их «профанных» заместителей (ассигнаций и ценных бумаг):

...деньги <...> должны одновременно выполнять две функции, занимать сразу два места: одно в ходе самих обменов, где они функционируют как средства платежа, а другое по ту сторону обменов или же до них, образуя неподвижную точку, которая служит точкой отсчета для измерения того, что находится в обращении. Таким образом, деньги одновременно и увлекаются движением всевозможных товаров, и неподвижно застывают в точке, вокруг которой вращается весь этот механизм, задавая меру его объема и скорости⁷⁰.

Сходным образом и в традиционных обществах в дарственный обмен вовлекаются не оригиналы, а их *заместители*:

...драгоценные предметы, циркулирующие при дарственных обменах, могут это делать лишь потому, что являются вдвойне заместителями — заместителями сакральных предметов и заместителями людей [участников обмена]⁷¹.

Предметы архаического дара — это не сага, которые вообще не могут отчуждаться, но и не товары, которые полностью отчуждаются от продавца, переходя в руки покупателя. Они занимают промежуточную позицию между сага и товарами. Если вновь обратиться к платоновской системе категорий, в рамках которой, по-видимому, развивается мысль Годелье (а возможно, и мысль архаических народов, изучаемых им), то это как бы положение заместителей первой степени — копий, близко отстоящих от замещаемых ими эйдосов, в отличие от заместителей второй степени — симулякров, отпавших от сущностной полноты эйдоса и, подобно товару, лишенных неразрывной связи с ним⁷².

Таким образом, если у Мосса архаический дар происходит в горизонтально интегрированном силовом поле, где встречаются равноправные партнеры и между ними циркулируют заряженные их личностной энергией предметы, то Годелье строит иную модель: вертикально интегрированную иерархическую структуру участников обмена (людей и богов), по ступеням которой передаются также иерархизированные, обладающие неравным достоинством предметы — а некоторые, самые важные, не передаются вовсе. На с. 200—202 своей книги ученый дает сводный перечень таких иерархических предметов, которые он наблюдал в новогвинейском племени баруйя: одни из них хранятся как неотчуждаемое достояние рода, другие служат объектом ритуальных даров, третьи покупаются и продаются

как обычные товары, в том числе при сношениях с чужими, иноплеменными людьми. Субстанциальная природа этих предметов интересует автора лишь в последнем случае товарного обмена — так, универсальным эквивалентом, примитивным прообразом денег, служит у баруйя соль, вываривание которой составляет их традиционный промысел: сплошное, однородное, легко делимое и квантифицируемое вещество, удобное для обменных и расчетно-оценочных операций. Субстанциальная природа дарственных и исключенных из дарения предметов не получает в книге специального анализа, между тем новогвинейские *sasra* в описании автора напоминают символические останки мертвых⁷³, а среди «дарственных» объектов фигурирует, в частности, такая жидкая субстанция жизни *rag excellence*, как сперма⁷⁴. Возможно, это образцы двух субстанциальных категорий, к которым относятся сакральные, не-товарные объекты, — с одной стороны, «мертвые», неподвижные вещи-реликвии, с другой стороны, «живые», передаваемые в ритуальный дар вещества-силы.

Сам Морис Годелье называет «сакральными» только первые объекты — *те, которые нельзя дарить*. Они образуют «точки зацепки» (*points d'encrage*)⁷⁵, необходимые места неподвижности в процессах циркуляции, причем эта неподвижность как раз и обуславливает их субстанциальную непрозрачность. Изъятые из обмена, они в общественном сознании оказываются исключенными и вообще из социальных процессов и отношений, то есть *сакральными*. Считая их дарами богов или легендарных пращуров, общество скрывает от себя, *не узнает* собственное начало — рукотворно-человеческое происхождение социального мира:

Недостаточно утверждать, как Дюркгейм, что источником сакрального является общество. Следует также показать, что *сакральное скрывает* от коллективного и индивидуального сознания *кое-что из содержания* социальных отношений, кое-что существенно важное для общества, и тем самым сакральное преобразует социальное, делает его *непрозрачным* для себя самого. Следует пойти и дальше — показать, что в обществе есть нечто такое, что составляет часть социального бытия составляющих его членов и нуждается в *непрозрачности* для своего производства и воспроизводства. Можно сказать, что именно по социальным в основе своей причинам социальное скрывается от себя самого, делается непрозрачным, сакрализуется⁷⁶.

Эта идея неузнавания обществом самого себя, которое служит источником сакрального, уже встречалась нам в имплицитном виде у Мосса и еще не раз будет встречаться в дальнейшем. Подобно капиталу или идеологии (по Марксу), сакраль-

ное работает в качестве действенного социального механизма лишь постольку, поскольку его истинная суть не опознается членами общества. Согласно концепции М. Годелье, оно существует в пространстве общественных отношений как иллюзорно неподвижные «точки зацепки», которые исключены из реальных — товарных и дарственных — обменов и отсылают к мифическим «дарам» высших существ, полученным в незапамятную пору и с тех пор хранящимся неизменными. На самом деле общество постоянно пребывает в движении, в процессе обмена (прав Леви-Стросс!), но для регуляции этого процесса ему необходимы островки кажущейся стабильности, реальная изменчивость которых скрадывается, не узнается обществом; им-то и приписывается сакральное достоинство.

¹ Ю. М. Лотман, *Избранные статьи*, т. 3, Таллин, Александра, 1993, с. 345.

² Там же.

³ Там же.

⁴ Там же, с. 346.

⁵ Там же, с. 350.

⁶ Там же, с. 351. Курсив мой.

⁷ Там же.

⁸ Там же, с. 345.

⁹ В русском переводе А. Б. Гофмана (в сборнике: Марсель Мосс, *Общества. Обмен. Личность*, М., Восточная литература, 1996) эта работа, «Essai sur le don», озаглавлена «Очерк о даре», что неоправданно отступает от прямого смысла слова *essai*.

¹⁰ Марсель Мосс, *цит. соч.*, 85.

¹¹ Там же, с. 138.

¹² Там же, с. 140—142. Перевод уточнен; ср. оригинал: Marcel Mauss, *Sociologie et anthropologie*, P., PUF, 1997 (Collection Quadrige), p. 200—202.

¹³ «В эту практику разрушения в потлаче вторгаются также две движущие силы. Во-первых, тема войны <...>. Вторая тема — это тема жертвоприношения» (там же, с. 142, примечание 239). И в другом месте: «Все формы потлача северо-запада Америки и северо-востока Азии знакомы с этой темой уничтожения. Предают смерти рабов, жгут драгоценный жир, выбрасывают в море медные изделия и даже сжигают дома вождей не только для того, чтобы продемонстрировать власть, богатство, бескорыстие, но и для того, чтобы принести в жертву духам и богам...» (там же, с. 107).

¹⁴ Ю. М. Лотман тоже отмечает примеры если не прямого уничтожения, то демонстративного «унижения» даренного добра, однако помещает их в контекст «магической», знаковой (то есть, в его терминах, не-дарственной) культурной модели и толкует как подавление материальной субстанции вещей ради их знаковой функции: «Так, “честь” для феодала древней Руси связывалась с получением от сюзерена богатой части военной добычи или большого подарка. Однако, получив награду, ее следовало по законам чести употребить так, чтобы максимально

унизить вещественную ценность и тем самым подчеркнуть знаковую: “Орьтъмами и япончицами, и кожухи начаша мосты мостити по болотомъ и грязивымъ мѣстомъ, и всякими узорочьи Половѣцкими” [“Слово о полку Игореве”] (Ю. М. Лотман, «Договор» и “вручение себя” как архетипические модели культуры», *цит. соч.*, с. 349).

¹⁵ См.: Там же, с. 146.

¹⁶ Там же, с. 94.

¹⁷ Там же, с. 96.

¹⁸ Там же, с. 155.

¹⁹ В наши дни этот комментарий Мосса подвергается критике за отрыв комментируемого сообщения от контекста — от беседы о ритуале, в ходе которого приносились жертвы духам леса; то есть на самом деле маорийский информант Э. Беста толковал об отношениях со сверхъестественными существами, а обмен дарами между людьми приводил лишь в качестве поясняющего сравнения. См.: Maurice GODELIER, *L'énigme du don*, P., Fayard, 1996, p. 70—78.

²⁰ Марсель Мосс, *цит. соч.*, с. 98.

²¹ Там же, с. 99.

²² Там же, с. 100.

²³ Идея социальной функции вещей, которые в известном смысле являются «членами общества» наряду с людьми, развивает прозорливое замечание Эмиля Дюркгейма: общество, писал Дюркгейм, состоит не только из индивидов, они лишь «составляют его единственные активные элементы. Строго говоря, общество включает в себя также и вещи» («Представления индивидуальные и представления коллективные», 1898; Эмиль Дюркгейм, *Социология*, М., Канон, 1995, с. 237. Перевод А. Б. Гофмана).

²⁴ «...одаривая, отдают себя, а отдают себя потому, что именно себя вместе со своим имуществом “должны” другим» (Марсель Мосс, *цит. соч.*, с. 168). О дарственном «вручении себя» (впрочем, не совсем в смысле Лотмана, потому что здесь идет речь о «вручении себя» не высшей власти, а равному, вообще говоря, партнеру, причем последний представляет собой не индивидуума, а родоплеменную группу) пишет и Филипп Роспабе, считая подлинным содержанием архаического дара передачу «жизненного капитала»: «...у диких народов ценное имущество дарится в качестве заместителя жизни, в качестве залога, посредством которого дарители обязываются возместить чьей-то жизнью ту жизнь, что они взяли у другой группы» (Philippe ROSPABÉ, «Don archaïque et monnaie sauvage», *Revue du MAUSS semestrielle*, n° 1, 1993, p. 35). Под «взятой жизнью» исследователь подразумевает либо невесту, переходящую в чужую семью, либо мужчину, убитого в столкновении, — за обоих полагается выкуп, залогом которого как раз и служит дар.

²⁵ См.: Annette WEINER, *Inalienable Possessions: The Paradox of Keeping-while-Giving*, Berkeley, University of California Press, 1992.

²⁶ Марсель Мосс, *цит. соч.*, с. 196—197.

²⁷ Сам Мосс не вполне последовательно проводит различие этих двух терминов — меланезийского «мана» и маорийского «хау», — очевидно, понимая их изначальную смысловую близость. Тем не менее их взаимно дополнительное распределение все же прослеживается в тенденции, и современные интерпретаторы «Опыта о даре» обычно стараются соблюсти его.

²⁸ «Случается, одни и те же вещи, которые приобрели и отдали, возвращаются обратно в тот же день» (Марсель Мосс, *цит. соч.*, с. 130).

²⁹ «...важнейшим уроком Мосса является то, что если мы и не можем ответить на вопрос “почему?”, это не мешает вырабатывать новые и новые подходы к вопросу “как?”» (Marcel HENAFF, *Le prix de la vérité*, Paris, Seuil, 2002, p. 158).

³⁰ Марсель Мосс, *цит. соч.*, с. 145. Перевод уточнен, ср. оригинал: Marcel MAUSS, *Sociologie et anthropologie, op. cit.*, p. 205.

³¹ Сам Мосс (*цит. соч.*, с. 198) упоминает только об амбивалентности древнегерманского слова gift, которое может означать и «дар» (как в современном английском языке) и «яд» (как в немецком). Ученик Мосса Роже Кайуа, опираясь на исследование немецкого ученого В. Херца (1893), рассматривает легенды о Giftmädchen в своей статье «Богомол» (см.: Роже Кайуа, *Миф и человек. Человек и сакральное*, М., ОГИ, 2003, с. 70–72) в более широком контексте сексуальных фобий, отражающихся в мифах.

³² Клод Леви-Стросс, «Предисловие к трудам Марселя Мосса», в кн.: Марсель Мосс, *Социальные функции священного*, СПб., Евразия, 2000, с. 426. Перевод под редакцией И. В. Утехина.

³³ Там же, перевод незначительно уточнен.

³⁴ Там же.

³⁵ Именно эту семиотическую модель перенял у Леви-Стросса Лотман, который, однако, указал предел ее применимости – а именно наличие в культуре альтернативной символической («религиозной») модели.

³⁶ Там же, с. 433. В оригинале – signifiant flottant, буквально «плавающее означающее»; слово «текущее», отсылающее к континуально-«флюидным» моделям, принадлежит переводчику. С другой стороны, говоря в предыдущей цитате о недостаточности описания «дискретных» эмпирических частей структуры, Леви-Стросс понимает дискретность в чисто логическом смысле, противопоставляя ее скорее целостности, чем континуальности, и переводчик оправданно передал это слово как «отдельные» части.

³⁷ Марсель Мосс, *Общества. Обмен. Личность*, с. 206.

³⁸ Там же, с. 209. Среди современных интерпретаций Мосса есть и попытки оспорить эту альтернативность, находя родство между московской моделью дара и классическими схемами экономического либерализма: «Самое плодотворное в теории Мосса – это теоретическая эквивалентность между логикой дара и теорией “невидимой руки”» (Mary DOUGLAS, «Il n’y a pas de don gratuit», in Mary DOUGLAS, *Comment pensent les institutions*, Paris, La Découverte – MAUSS, 1999, p. 175).

³⁹ В Соединенных Штатах сходную тенденцию развивает Льюис Хайд, напечатавший несколько статей в журнале MAUSS, а в 1983 г. выпустивший монографию «Дар» (Lewis HYDE, *The Gift: Imagination and the Erotic Life of Property*, Vintage Books, 1983). Он рассматривает дар в этической перспективе, в таких явлениях как спонсорство и меценатство в искусстве (а также и «творческий дар» самого художника), преобразующие человека «дары» педагога или врача, «даровое» распространение идей и открытий в науке. Хотя книга Хайда и начинается с апелляции к Мосу и к архаическому дару, проблематика сакрального исключается таким подходом.

⁴⁰ См.: Alain CAILLE, *Anthropologie du don. Le tiers paradigme*, Desclée de Brouwer, 2000, p. 52.

⁴¹ Marcel HENAFF, *Le prix de la vérité: le don, l'argent, la philosophie*, Le Seuil, 2002, p. 188.

⁴² *Ibid.*, p. 180. Уже после выхода своей книги, в одном из интервью, Энафф объяснял отличие своей позиции от установок «Антиутилитаристского движения в общественных науках»: не следует, говорил он, «превращать феномен дара в некую разновидность общего имущественного оборота, а в конечном счете в форму их дележа или распределения — считая ее вполне гуманной альтернативой «экономическому ужасу» лицемерно-жестокоего капитализма, торжествующего ныне, в пору глобализации [...]. Как я объясняю в своей книге, церемониальный дар — это не обмен имуществом, а процедура публичного признания между партнерами» (*Revue du MAUSS semestrielle*, n° 23, 2003, p. 243).

⁴³ Christopher GREGORY, *Gifts and Commodities*, London — New York, Academic Press, 1982. Ср.: «Таким образом, живущие в этих обществах “лица” представляют сами себя не как своекорыстных индивидов неоклассической экономики, а как сеть социальных обязательств» (Mark OSTEEEN, «Introduction: questions of the gift», in Mark OSTEEEN (ed.), *The Question of the Gift: Essays Across Disciplines*, London — New York, Routledge, 2002, p. 4).

⁴⁴ Marcel HENAFF, *op. cit.*, p. 188.

⁴⁵ Alain CAILLE, *op. cit.*, p. 206, 209.

⁴⁶ Marcel HENAFF, *op. cit.*, p. 189.

⁴⁷ *Ibid.*, p. 187. Связь дара с телом человека и с социальными представлениями о теле — отдельный сюжет. Обзор современных (преимущественно французских) концепций, касающихся этого вопроса, см. в статье: Andrew COWELL, «The pleasures and pains of the gift», in Mark OSTEEEN (ed.), *The Question of the Gift: Essays Across Disciplines*, *op. cit.*, p. 280—285.

⁴⁸ *Ibid.*, p. 183.

⁴⁹ Ср. его реплику в эпистолярной дискуссии с Аленом Кайе и Жаком Годбу после выхода его книги: «...подход, при котором дар рассматривается по контрасту с торговым обменом <...> является вполне законным <...>. Но от замороженного внимания к этой стороне дела возникает соблазн связывать обсуждение дара прежде всего с самим обмениваемым имуществом, с тем, что дарят, тогда как важно было бы заново осмыслить его с точки зрения форм отношений между людьми <...> как дарение себя посредством чего-либо другого (и в этом смысле перед нами тройственное отношение, идущее дальше модели Пирса)...» (*Revue du MAUSS semestrielle*, n° 23, 2003, p. 262). Подарок, таким образом, может быть хотя бы отчасти уподоблен «интерпретанте» Ч. С. Пирса, опосредующей означающее и означаемое: реляционистский подход к дару закономерно ведет к обсуждению структуры знака.

⁵⁰ Marcel HENAFF, *op. cit.*, p. 173.

⁵¹ «Причины, заставляющие отдариваться той же или равноценной вещью, можно объяснить, и не апеллируя к верованиям в существование души вещей, какого-либо духа или силы, владеющей ими и толкающей вернуться назад» (Maurice GODELIER, *L'énigme du don*, *op. cit.*, p. 142).

⁵² *Ibid.*, p. 103.

⁵³ Такая категория обладателей ненаследственного авторитета, завоевываемого не насильственным порабощением других, а постоянной,

подчас разорительной для самого субъекта щедростью, описана и среди туземцев Океании; с легкой руки Маршалла Салинза подобных людей называют в этнографии *big men* («большие люди», «большаки»). См.: Маршалл Салинз, *Экономика каменного века*, М., ОГИ, 1999.

⁵⁴ Marie MAUZE, «Georges Bataille et le potlatch: à propos de *La part maudite*», dans *Ecrits d'ailleurs: Georges Bataille et les ethnologues* (textes réunis par Dominique Lecoq et Jean-Luc Lory), Paris, éditions de la Maison des sciences de l'Homme, 1987, p. 37. См. также: Marie MAUZE, «Boas, les Kwakiutl et le potlatch: éléments pour une réévaluation», dans *L'Homme*, XXVI, n° 4, octobre-décembre 1986, p. 21—63. Строго говоря, данные уточнения не опровергают выводов Мосса и его последователей (это признает и сама Мари Мозе, автор цитируемой статьи), а лишь заставляют относить их скорее к новоевропейской, чем к традиционной индейской цивилизации, что делает их не менее значимыми для общей теории культуры.

⁵⁵ Maurice GODELIER, *L'énigme du don*, *op. cit.*, p. 221.

⁵⁶ *Ibid.*, p. 166.

⁵⁷ См.: *ibid.*, p. 21.

⁵⁸ *Ibid.*, p. 208.

⁵⁹ *Ibid.*, p. 259.

⁶⁰ Ср. более сложную классификацию Жан-Поля Виллема, согласно которой в религиозных представлениях различаются «три главных системы дара. Система *вертикального* дара и обращения — между иным миром или «миром иным» и нашим миром <...>. Система *горизонтального* дара между равными — братьями, соплеменниками или единоверцами, в масштабе от клана до всего человечества, так как религия играет роль в создании групповой идентичности; наконец (или прежде всего), система *продольного* [longitudinal] дара, как при передаче наследства потомкам или в случае долга перед предками по группе или по религии, — короче говоря, система обменов между живыми и мертвыми» (Jean-Paul WILLAIME, «La religion: un lien social articulé au don», *Revue du MAUSS semestrielle*, n° 23, 2003, p. 263).

⁶¹ Марсель Мосс, *Общества. Обмен. Личность*, с. 118.

⁶² *Там же*, с. 121.

⁶³ Товарный, коммерческий обмен был хорошо знаком тробрианцам, они называли его «гимвали» и практиковали параллельно с «кулой», однако четко различали эти два обменных контура, профанный и сакральный. См.: Бронислав Малиновский, *Избранное: Аргонавты западной части Тихого океана*, М., Росспэн, 2004, с. 111.

⁶⁴ Марсель Мосс, *цит. соч.*, с. 155—157.

⁶⁵ Maurice GODELIER, *L'énigme du don*, *op. cit.*, p. 96.

⁶⁶ *Ibid.*, p. 95.

⁶⁷ *Ibid.*, p. 50. Гodelье ссылается на исследования Аннет Вейнер, которая через несколько десятилетий после Б. Малиновского заново обследовала дарственные обычаи на Тробрианских островах.

⁶⁸ См.: Жан Бодрийяр, *Система вещей*, М., Рудомино, 1999 [1968], с. 148—169 (глава «Модели и серии»).

⁶⁹ Maurice GODELIER, *L'énigme du don*, *op. cit.*, p. 190.

⁷⁰ *Ibid.*, p. 44.

⁷¹ *Ibid.*, p. 101. Гodelье отмечает полинезийское понятие «табуированных денег» — сакральных ценностей, которые не передаются ни при

каких обменах, а лишь хранятся как гарантия жизненной силы клана (*ibid.*, p. 227).

⁷² См. классический анализ этих платоновских понятий: Gilles DELEUZE, «Platon et le simulacre», dans Gilles DELEUZE, *Logique du sens*, Minuit, 1969, p. 292—307. Юридическим аналогом того неполного отчуждения, которому подвергается предмет архаического дара, Годелье называет отношения *аренды*, когда предмет остается в собственности своего владельца и лишь плоды пользования им уступаются получателю: «Отчуждается не сам предмет, а его результаты» (Maurice GODELIER, *L'énigme du don*, *op. cit.*, p. 168).

⁷³ Этот священный предмет, который ему однажды показали под секретом и с ритуальным *плачем*, представлял собой сверток, куда были сложены «черный камень, длинные и острые кости [по крайней мере одна из них — человеческая. — С. 3.], несколько плоских коричневых дисков» (*ibid.*, p. 173).

⁷⁴ Она добавляется в пищу подросткам при обрядах инициации и представляет собой, по объяснению Годелье, ритуальный дар «сверху вниз», от старших младшим: «Это семя, исходящее из тела юношей, сохраненных в чистоте от половых контактов с женщинами, представляет собой, таким образом, чисто мужскую *субстанцию*, источник жизни и *силы*, предохраняемый от всякой женской скверны. Эта субстанция циркулирует между поколениями и связывает каждое новое поколение мужчин с их старшими соплеменниками, а через их посредство с праотцами и с Солнцем. Такая цепь состоит из даров и долгов» (*ibid.*, p. 181, курсив мой).

⁷⁵ *Ibid.*, p. 284.

⁷⁶ *Ibid.*, p. 241.

(Окончание в следующем выпуске)

А. В. Рафаева

ГЕРОЙ И ПОМОЩНИК В ВОЛШЕБНОМ МИРЕ

...от исследования отдельных мифов мы придем к рассмотрению путеводных схем, располагающихся на той же оси. В каждой точке этой оси, выявляемой схемой, можно провести, так сказать, по вертикали, другие оси, представляющие собой результат той же самой операции; они являются следствием анализа мифов соседних народностей, обнаруживающих сходство с исходным мифом, а не отличных от него мифов той же народности. Благодаря такому подходу путеводные схемы упрощаются, обогащаются или трансформируются. Каждая из них порождает новые оси, перпендикулярные предыдущим в другой плоскости, и в результате двоякого движения — проспективного и ретроспективного — на новых осях проявляются последовательности, извлеченные или из мифов более отдаленных народностей, или из мифов уже рассмотренных, которые сначала были оставлены без внимания, потому что казались бесполезны-

ми или не поддающимися интерпретации. По мере того как нечеткий контур сферы нашего исследования охватывает все большие области, ядро данного проекта конденсируется и организуется. Разрозненные нити соединятся, лакуны заполняются, устанавливаются связи, и сквозь хаос начинает проступать нечто, напоминающее порядок. Вокруг исходной группы, словно вокруг зародышевой молекулы, образуются последовательности, упорядоченные в группы трансформаций и повторяющие структуру и детерминации исходной. Постепенно выстраивается многомерное образование, центральные части которого обнаруживают определенную организацию, тогда как на периферии еще царят неопределенность и смешение.

Клод Леви-Стросс (Леви-Стросс 1999: 12–13).

Длительное структурное изучение волшебных сказок привело к тому, что многие законы, которым подчиняется этот жанр, известны уже достаточно хорошо. Более точно можно было бы сказать, используя выражение К. Леви-Стросса: наиболее хорошо изучена организация «центральной части» жанра, тех сказок, которые наилучшим образом подчиняются схеме, открытой В. Я. Проппом. Интерес же к явлениям менее типичным, «периферийным» приводит — вольно или невольно — к новым обсуждениям как метода исследования волшебных сказок, так и границ самого жанра, от констатации, что «сказки «могут» больше, чем нам кажется» ([Костюхин 1997: 17]) до отказа не только от модели Проппа, но и от мотивного анализа текстов (см., например, [Кербелите 2005, 2006]).

Цель настоящей работы — рассмотреть одно из таких «периферийных» явлений, а именно волшебные сказки, в которых отношения героя и помощника выходят за рамки привычной модели. Помощник здесь имеет некоторые черты героя, иногда настолько сильные, что можно говорить уже не об одном герое, а о двух. Как мы знаем, обычно герой волшебной сказки может быть выделен без труда, а следовательно, легко определяется и помощник героя. Нас же будут интересовать «нетипичные» сказочные помощники, в особенности персонажи тех сказок, в которых однозначное выделение героя и помощника затруднительно. Сначала мы опишем типы сказок, в которых можно наблюдать это явление, а затем попытаемся выделить те черты, которые отличают рассмотренные сказки от большинства других. Такой порядок работы приведет нас от анализа сюжета как последовательности действий к анализу семантических оппозиций и закономерностей, существенных для подобных текстов, а также их связей с другими сказочными сюжетами.

Вопрос о происхождении таких сказок мы затрагивать не будем. В дальнейшем будем исходить из того, что все рассматриваемые тексты были записаны и бытовали примерно в одно время (так, приводимые записи относятся к периоду XIX — первая половина XX в.), иными словами, что устная сказочная традиция допускала одновременное существование как более традиционных сюжетов, так и изучаемых случаев.

Материалом исследования служат русские волшебные сказки. Для сравнения привлекаются тексты из известных сказочных сборников, не полностью принадлежащие к жанру волшебных сказок. Все такие случаи будут оговорены особо. Заметим, что для изучения «периферийных» сказочных явлений расширение жанровой квалификации рассматриваемого материала, по-видимому, необходимо. Недаром, по словам Е. А. Костюхина, «обзор «нестандартных» сказок, расположенных в указателе Аарне-Томпсона большей частью в разделе сказок волшебных, показывает, что все они смыкаются с иными видами фольклорной прозы, да и не только прозы» ([Костюхин 1997: 17]).

«Периферийность» или «нестандартность» рассматриваемого явления подтверждается и тем, что сказок, в которых отношения героя и волшебного помощника (а также и других персонажей) отличаются от привычного, крайне мало. Так, из 303 сказок в сборнике Н.Е. Ончукова для анализа было отобрано только 7 примеров. Затрудняется подсчет еще и тем, что «непривычность» помощников может быть большей или меньшей, что видно при сравнении различных вариантов одного или близких сказочных сюжетов, принадлежащих как к одному типу по классификации Аарне-Томпсона, так и к различным.

В работе рассматриваются различные виды возможных «нетипичных» помощников. Явление это, хотя и редкое, нельзя назвать единичным, однако вопрос о его распространенности, по-видимому, еще предстоит разрешить. В дальнейшем для иллюстрации будут приводиться только отдельные примеры сказок, однако использование уникальных сюжетов специально оговаривается в тексте статьи.

Сначала обратимся к описанию типичных взаимоотношений героя и волшебного помощника. Как известно, понятие *помощника* ввел В. Я. Пропп в своей классической работе «Морфология сказки». Саму волшебную сказку Пропп определял двояко: с помощью устойчивого набора функций и с помощью персонажей, действующих в сказке. Персонажи при этом определяются по функциям, которые они выполняют в повествовании. Нас, естественно, интересуют те функции, которые

специфичны в волшебной сказке для героя и для помощника. Для героя, согласно, В. Я. Проппу, таковыми будут: *отправка в поиски, реакция на требования дарителя, свадьба*, причем отправка «характерна для героя-искателя, герой-жертва выполняет лишь остальные». В функции помощника входят: *пространственное перемещение героя, ликвидация беды или недостачи, спасение от преследования, разрешение трудных задач и трансфигурация героя* ([Пропп 1998: 60—61]). При этом герой может обходиться вообще без помощников (по выражению В. Я. Проппа, в этом случае он «как бы сам себе помощник», [Пропп 1998: 62]), или же помощник выполняет некоторые из немногочисленных функций героя. Наиболее же обычным для волшебной сказки является распределение активности (и, соответственно, выполняемых функций) между героем и помощником. Е. М. Мелетинский, С. Ю. Неклюдов, Е. С. Новик и Д. М. Сегал сформулировали эту зависимость следующим образом:

«Если между агрессивностью вредителя и активностью героя наблюдается прямо пропорциональная зависимость, то между активностью героя и количеством сказочной помощи — зависимость обратно пропорциональная. Крайними формами этого соотношения (в обоих случаях выходящими за пределы собственно волшебной сказки) будут, с одной стороны, полное замещение героя помощником (типа дядьки Катома) и, с другой, полное отсутствие чудесной помощи у такого героя, как «starke Hans» или «юный великан». Между этими двумя случаями можно расположить всю гамму форм сказочной помощи — от простого «дорожного» совета до помощи невесты в царстве демонического существа» [Мелетинский и др. 2001: 79].

Теперь мы можем более точно сформулировать, какие именно явления будут интересовать нас в первую очередь:

- в сказке активны и герой, и другой персонаж (помощник);
- и герой, и помощник получают награду в финале сказки. В ряде случаев (например, свадьба героя и его невесты-помощницы, воссоединение семьи) награда герою одновременно служит наградой и для помощника;
- трудно выделить однозначно, кто из двух персонажей сказки является героем (в частности, это означает, что оба персонажа являются людьми). Такие случаи нужно отличать от сюжетов, в которых действует «множественный герой», т.е. несколько персонажей совместно добиваются одной цели, как, например, в сказках, относящихся к типам СУС 653 *Семь Симеонов*¹ (братья, овладевшие различными искусствами, добывают царевну), 654 *Три искусных брата*, и некоторых других.

Первая пара персонажей, которую мы рассмотрим, — это герой в царстве демонического существа и его невеста-помощница. Эти герои действуют в сказках, относящихся к довольно распространенному типу 313А,В,С *Чудесное бегство*²: герой, обещанный некоторому демоническому существу (Водяному, лешему, черту), выполняет с помощью невесты ряд трудных задач, и пара бежит в мир людей. Особое внимание обратим на сказки, относящиеся к типу 313С, которые заканчиваются эпизодом «Забытая невеста»: вернувшись домой, герой забывает свою чудесную невесту (часто вследствие нарушения некоторых запретов). Родные собираются его женить, во время свадьбы первая жена напоминает о себе, как, например, в сказке Онч 60:

Когда подъехали к волости, он ей (герой свою невесту. — А. Р.) оставил у бабки-задворенки. «Пусть тебя хорошенько стретят». Пришел затем, его стретили, подпили, подкутили, да он ю и забыл. Родители задумали его женить, он и согласился женицьца. Невесту сосватали, за невестой его требуют, он и походит. Жона узнала, бабке и говорит: «Бабка, поди-ко купи ячменю». Бабка купила, она в горшоцьку болтала-болтала-болтала, в печь и вылила. А оттуль из печи вылетели голубок да голубка. Она в платок завернула да на свальбу и пошла. Пришла на свальбу, их из платка и выпустила. Голубь от голубки летат проць, а голубка и запела:

— Не забудь, голубь, голубушка,
Не так, как Иван хресьенської сын
Федору-премудру в цистом поли.

Заволновался народ и говорят: «Портеж, портеж». А он очуствовался. «Ой, я жонатый, отпустите меня». Вышел из за стола, жону взял, да и стали жить.

Приведенный пример показывает наиболее частый случай узнавания в этих сказках: невеста-помощница заставляет жениха вспомнить себя с помощью магии. В сказке Смирн. 236 финал нетипичен: обиженная чудесная невеста сама отказывается от жениха:

И он бросил свою халупку и забыл пра нее, и они: «Давай теперь тея жанить», — а он пра своя халупку им не кажет, и он ее сафсем забыл, и они ево сабрались жанить. Пасадили на пасад, и ана, эта халупка, прилетела и проть ево села. И он глянул и узрил ее. Ну, она ему отвещает: «Ты меня забыл; табе радных видать, а я буду какушкой кукавать.

В рассмотренных сказках невеста выполняет следующие функции:

- решает трудные задачи вместо героя;
- бежит вместе с героем, спасая от преследования его и себя (последнее приближает ее к роли героини сказки);

- тем самым она ликвидирует начальную беду (герой, обещанный демоническому существу, освобождается от его власти);
- наконец, она является конечной сказочной ценностью; при этом свадьба служит наградой не только для героя, но и для самой чудесной помощницы.

Последнее особенно заметно в сказках типа 313С, вторым ходом которых является эпизод «Забятая невеста». Здесь сама чудесная невеста является героиней, а ее жених — объектом, за который идет борьба.

Итак, в рассмотренных сказочных типах невеста-помощница наиболее близка к роли героини сказки. В уже цитированной работе Е. М. Мелетинского и его коллег соотношение героя и его партнера по браку рассматривается следующим образом:

«...можно сказать, что степень «чуждести» героя обратно пропорциональна степени «чуждести» невесты... <...>

Соотношение между героем (героиней) и потенциальным партнером по браку (женихом или невестой) существенно не изменяется и в том случае, когда их участие в сюжете уравнивается настолько, что они оказываются по существу равноправными героями сказки. Набор динамических и статических признаков и в этом случае распределяется между ними в системе той же обратно пропорциональной зависимости» [Мелетинский и др. 2001: 80].

Итак, в сказках, принадлежащих к типу 313, невеста-помощница активна настолько, что ее уже можно счесть и героиней сказки. Сравним этот сюжет с другими сказками, в которых невеста или жена героя активна и доброжелательна по отношению к жениху или мужу. В сказках, относящихся к распространенному типу 465А *Красавица-жена («Пойди туда, не знаю куда»)*³, чудесная жена героя также является и его помощницей: она выполняет трудные задачи царя, кроме самой последней, часто помогает советом или обеспечивает герою помощь своих родственников (например, Бабы-Яги). Однако в этих сказках герой отправляется из дому один, иногда по ходу дела приобретает и других волшебных помощников. Иными словами, в этих сказках герой и помощник (помощники) выделяются однозначно и говорить о паре почти одинаково активных персонажей нельзя.

Совершенно иное соотношение ролей видим в «женских» сказках, относящихся к типу 432 *Финист ясный сокол*, например, в сказке Аф. 234 «Перышко Финиста ясна сокола», где героиня добивается чудесного жениха:

На третий день сидит красная девица, держит в руках золотое плечико, а иголочка сама вышивает — да такие узоры чудные! Загляделась

просвирнина дочка. «Продай, красная девица, продай, — говорит, — мне свою забаву!» — «Пожалуй, купи!» — «А как цена?» — «Позволь с твоим мужем третью ночь перебыть». — «Хорошо, я согласна!» Вечером прилетел Финист ясный сокол; жена опоила его сонным зельем, уложила спать и посылает работницу мух отгонять. Вот красная девица мух отгоняет, а сама слезно причитывает: «Проснись-пробудись, Финист ясный сокол! Я, красна девица, к тебе пришла; три чугунных посоха изломала, три пары железных башмаков истоптала, три каменных просвиры изглодала — все тебя, милого, искала!» А Финист ясный сокол крепко спит, ничего не чувствует.

Долго она плакала, долго будила его; вдруг упала ему на щеку слеза красной девицы, и он в ту же минуту проснулся.

В этих сказках героиней, конечно, является девушка. Она активна — чудесный жених, как и в эпизоде «Забытая невеста», пассивен и служит объектом борьбы. Заметим, что он и не оказывает героине никакой помощи в ее поисках, так что его роль сводится к роли брачного партнера, т.е. к роли конечной сказочной ценности.

Последний пример, который мы рассмотрим, также относится к сюжетам о спасении от демонического существа. Однако в данном случае речь пойдет не о волшебных сказках, а о типе 813В *Проклятый внук*, который относится к сказкам легендарным. Например, в сказке Онч. 96 читаем:

Стал у бабки внук женильца. Она взяла, его на венцальном пороги прокляла. Как от венця пошли, его черт и взял. Ну и осталась молодуха одна, и слезно плачет-живет, што мужа не стало. Ена посылает свекра искать мужа, и свекор стал на другой день и говорит хозяйке своей: «Спеки колубков с собой».

<Отец находит сына, но боится последовать за ним. На поиски отправляется молодая жена>.

И приходят ены опять к этой опеть норы и розставаютця ены слезно тут, и он ска: «Прощай, тебе меня больше не видать топерь». Она говорит: «Куды ты, туды и я». — «Нет, ска, ты след меня не ходи, сделай милость». — «Нет, ска, я пойду, ни за што не отстану», — говорит. И ен пал, и ена постояла, постояла да и пала след туды. «То, — ска, — все ровно: гди он, там и я, одна жизнь». И ена как пала след туды, там дорога, дом, а ен уж к дому подходит туды. А ен говорит хозяйки: «Ой, — ска, — погibli мы топерь зараз, ты и я, за меня топеряца свадьба играэцця, дочьку за меня выдавают». Ну ены как приходят туды, так сидит старик в избы, страсть и глядеть. Он ска: «Это ты кого, — ска, — привел?» Он ска: «Это жона моя». Она этому старику и в ноги. Он ю бил, ломал, лягал, щипал, всяко ю ломал. Как ен ю заступил ногой, так ена худым голосом рычит, на глотку стал. Потом говорит: «Несите ю, его да ю стащите обых к дому вон, откуль взяли их, штобы дух их не пахнул». Ну их и потащили и притащили ночью, о крельце хряснули, так только хоромы задрожали, как ен при-

ташил их. Тут ена отворотила мужа назад. Тут ены стали жить и быть и добра наживать, от лиха избывать.

С волшебными сказками, принадлежащими к типу 313С, этот сюжет роднит многое: и герой, отданный во власть демоническому существу, и мотив второй свадьбы, и помощь молодой жены, и восстановление первоначального брака, и возвращение персонажей в мир людей. Отличия, однако, тоже существенны: как правило, в этом сюжете отсутствуют чудесные задачи (что вполне естественно для легендарных сказок), молодая жена спасает мужа с помощью верности и терпения, а не магической силы или хотя бы молитвы. Кроме того, героиней этой сказки более естественно счесть молодую жену. И, возможно, наиболее существенное отличие: героиня не просто отправляется на поиски мужа, но стремится — и ей это удается — спасти его от демонического существа. Этот сюжетный ход — жена, отправляющаяся на выручку мужу, — свойствен не волшебным, а новеллистическим сказкам.

Попытожим сказанное в виде схемы (слева направо — возрастающая активность женского персонажа).

невеста пассивна	невеста активна	почти равноправные герои		героиня активна, жених пассивен
невеста-объект (разные сказки)	невеста-помощница (465А)	невеста-помощница, совместное бегство (313А,В)	невеста-помощница, героиня второго хода (313С)	героиня сказки (432, 813В и др.)

Схема 1

Сказок, в которых героем является кто-то один (чаще — мужчина, реже — женщина) намного больше, чем тех, в которых невеста-помощница может считаться второй героиней сказки в целом или хотя бы только героиней хода. В то же время невеста в принципе может играть такую роль, в отличие от чудесного жениха или мужа, который выступает либо в роли героя, либо в роли объекта, практически никогда не беря на себя функций помощника. Казалось бы, этому заключению противоречит то, что в некоторых сказках чудесный

жених снабжает героиню платьями, украшениями и т.п. Например, в сказке Аф. 235 «Перышко Финиста ясна сокола»:

Старшие сестры ушли к обедне, а меньшуха сидит у окна вся запачканная да смотрит на православный народ, что идет к церкви божией. Выждала время, вышла на крылечко, махнула цветным перышком в правую сторону, и откуда ни возмись — явились перед ней и карета хрустальная, и кони заводские, и прислуга в золоте, и платья, и всякие уборы из дорогих самоцветных камней.

Однако ни платья, ни слуги, ни другие подарки чудесного жениха не помогают героине пройти сказочное испытание — не только в этом сказочном типе, но и в других. Таким образом, речь идет не о том или ином виде сказочной помощи, а скорее о свойстве или атрибуте, подчеркивающим волшебную силу жениха, подобно тому, как чудесные умения (ткать, пряхать, стряпать, танцевать и т.п.) подчеркивают волшебную силу чудесной невесты во многих сказках.

Теперь рассмотрим отношения между братьями, как их отображает волшебная сказка. Наиболее частый для русской сказки случай — три брата. В этом случае, как мы знаем, героем чаще всего является младший брат, а старшие братья пытаются присвоить себе его достижения, т.е. являются ложными героями. Такое развитие действия можно видеть во многих сказках, относящихся к змееборческим типам 300, 301А, В, сказках о трудных задачах (например, в типах 530, 531, 551) и других. Иногда соперничества между братьями не возникает: старшие братья не могут победить змея или выполнить задачи, необходимые для женитьбы на царевне (иной же раз и вовсе не пытаются участвовать в сватовстве), но и не пытаются занять место героя или извести его. Таких персонажей Е. С. Новик остроумно назвала «недогероями»⁴.

Гораздо реже в волшебной сказке несколько братьев действуют как один герой. Типичным такой «множественный герой» является для сказок типа 653 *Семь Симеонов*, однако возможны и различные другие случаи. В подобных сказках несколько героев (часто больше трех) действуют совместно и выполняют одни и те же функции.

Наибольшее разнообразие видим в сказках, где братьев двое. Так, кроме перечисленных возможностей (соперники, множественный герой, герой и «недогерой») в таких сказках один брат может служить и спасителем другого (т.е. брать на себя функцию помощника, оставаясь при этом героем сказки). Чаще всего это явление можно заметить в сказках, относящихся к типу 303 *Два брата*. Рассмотрим сказку Онч. 4 «Федор Водович и Иван Водович»: царская дочь беремекает от воды,

рожает двух сыновей. Братья отправляются в странствие, получают «охоту» (животных-помощников) и расстаются у камня. Федор Водович побеждает трех змеев, спасает царевен, женится на младшей, получает от царя «полжиться и полбытья». Яга-баба во время погони за птицей превращает его в камень. Иван-Водович оживляет брата. Финал этой сказки нетипичен, гораздо чаще оба брата получают по собственному царству:

Тогда пошли они в тот город, из котораго за птицей угнались. Приходят в тот город и встречает их народ с честью, с радостью, и не могут их признать, которой зеть — оба одинаки. Тогда Федор Водович поступил во свое место, ко своей жены, ко своему батюшку царю в том царсве жить. А Иван Водович со своим братом распростился и поехал ко своей матушке родимой во свое царсво.

Еще один сказочный тип, в котором обычно действуют два брата, — тип 567 *Чудесная птица*: братья съедают чудесную птицу (часто приготовленную их матерью для любовника), которая дает богатство и возможность стать царем, и бегут от предполагаемой гибели. В таких сказках братья могут либо все время действовать как один, либо же в какой-то момент между братьями возникают различия. Приведем примеры обеих возможностей. В сказке Онч. 65 дети съедают чудесную уточку, под левым крылом которой написано: «Если эту уточку съедят двое, то один будет царем, другой министром» — и бегут от матери и ее любовника, которые хотят их убить:

Дети эти ходили несколько лет и наконец пришли к одной старушке. А в этом месте все звонили в звоны, дети и спросили: «Почему, бабушка, у вас все звонят?» — «А у нас, доброхоты, от того звонят, что выбирают царя да министра». — «Да как выбирают-то их?» — «А у нас есть лампада перед иконою Божьей Матери, под ней проходит народ, и она сама засветится тогда, когда под ней пройдет человек, который должен быть царем; а когда засветится другой раз, то тот, кто пройдет второй, будет министром».

В сказке Озар. 35 «Талань» царство получает один брат, второй же становится «наследником» и в конечном итоге выигрывает собственное царство. Однако в финале этой сказки братья отправляются домой «посмотреть нашего отца, да мать-поганку» и вместе наказывают ее.

Итак, как мы видим, если два брата действуют вместе либо один является помощником другого, волшебная сказка стремится устроить судьбу каждого, что, как правило, не происходит при большем количестве совместно действующих героев.

Один из братьев может брать на себя функции помощника другого не только в рассмотренных типах, хотя явление это

довольно редкое. Примером служит сказка Сиб. 45 «Маранда-царевна», представляющая собой уникальную контаминацию типов 300А *Бой на Калиновом мосту* и 513А *Шесть чудесных товарищей*. В этой сказке полностью отсутствует соперничество братьев, из которых «младший был сильный богатырь, а старший не сильный». Младший брат побеждает змея в первой части сказки, что заставляет признать его героем этого эпизода, тем более, что старший брат в битве не участвует. После победы над змеем старший брат выражает желание жениться на Маранде Прекрасной, а младший обещает ему помогать. Этот эпизод уже относится к типу 513А и, как во всех сказках этого типа, в нем появляются помощники, обладающие чудесными умениями (много съесть и выпить, охладить раскаленную баню). Заметим, что контаминация типов в этой сказке выглядит несколько искусственной (помощь младшего брата в сватовстве никак не проявляется), однако нас в данном случае интересует именно само появление нетипичных отношений между братьями.

Итак, отношения между братьями в волшебной сказке могут быть расположены на оси от совместных действий до соперничества (см. схему 2). Причем, хотя в целом наиболее активный и удачливый из братьев обычно является героем сказки, существует и обратная возможность, и именно этот брат играет роль помощника более пассивного героя (см., напр.: Сиб. 45).



Схема 2

Следующая пара сказочных персонажей, которую мы будем рассматривать, — это безвинно гонимая героиня и ее ребенок. Интересующее нас явление почти равной активности двух персонажей чаще всего встречается в сказочных типах 707 *Чудесные дети* и 707* *Щенок-богатырь*. Для сравнения рассмотрим также сказочный тип 706 *Безручка* и отчасти тип 938 *Евстафий Плакида*, относящийся к новеллистическим сказкам.

Сказочный тип 707 *Чудесные дети* относится к широко распространенным. Приведем описание этого типа по СУС:

Царь (царевич) подслушивает разговор трех девушек-сестер; женится на младшей, обещавшей родить прекрасных сыновей; детей, рожденных ею в отсутствие царя, подменяют сестры (ведьмы) щенятами (зверенышами); царь приказывает посадить жену с новорожденными в бочку и бросить в море; бочка приплывает к острову, где сын основывает царство чудес-диковинок; царь едет посмотреть на диковинки и встречается с женой и детьми; клеветницы наказываются.

К этому описанию добавим, что, по-видимому, наиболее частым вариантом является помещение героини в бочку с одним ребенком, которого ей удастся спрятать, так что одной из диковинок, которые сыну необходимо добыть, являются его родные братья. Все дети героини наделены чудесными свойствами (по крайней мере, чудесной внешностью). Кроме того, сын, оставшийся с царицей, часто не нуждается в волшебном помощнике, поскольку сам обладает магическими умениями, например, обращается птицей или насекомым.

Основным отличием типа 707* *Щенок-богатырь* является то, что героине не удастся спрятать ребенка, и в бочку ее сажает вместе с животными или «простым ребенком», которыми подменяют рожденных ею чудесных детей. Именно приемный ребенок и находит диковинки и выручает братьев. Сокращенный вариант этого типа (без основания царства и отдельного эпизода с выручением братьев) видим в сказке Смирн. 131 «По колена ноги в золоте», где трое сыновей царицы подмечены щенком, котенком и лягушкой.

Шли, шли; пришли, глядят — батюшки, как баско: чисты поля, зелены луга, поточки царски поют песни арски. Идут, любяточа: «Вот так баско!» Видят: тут дом стоит, большой такой, может вон с черковь, али больше. Они туды заглянули, сидят там трое деточек, ужа таких-то славных да отважных, в красных рубашечках все, ученые такие, жаль поглядеть. Царица и плачет, горько плачет: «У всех, говорит, детки, как есть, а у меня ишь гаведа какая! Хоть бы провалились куды-нибудь». Лягуша и говорит будто ей: «Не сбывай ты нас, мамонька, не сбывай: твои ведь все, а в домике-то в красных рубашечках-то братчики наши». — «Как, — говорит, — так?» — «А так, — говорит. — Яги-баба их примыла, принарядила да сюды и пустила. Вишь, какие умные топерь сделались».

В сказках, относящихся к типам 707 и 707*, активность в той или иной степени проявляют и царица, и ее дети. Можно отметить следующую закономерность: если ребенок, свой или приемный, успевает вырасти, то он все более стремится

к превращению в полноправного героя сказки. Так, во всех сказках, относящихся к типам 706, 707 и 707*, счастливым сказочным финалом является воссоединение семьи, что, очевидно, в наибольшей степени служит наградой для героини. При этом в типе 706 *Безручка* ребенок является скорее атрибутом материнства, чем персонажем, и лишь в некоторых вариантах он помогает узнаванию, рассказывая «сказку» о злоключениях матери перед ее братом и мужем. В 707 типе положение меняется, и сказка все более склонна следить за приключениями выросшего чудесного сына царицы (придавая ему и некоторые черты волшебного помощника). В ряде вариантов эта тенденция усилена. Так, в сказке Онч. 5 «Федор-царевич, Иван-царевич и их оклеветанная мать» Федор-царевич не только выручает брата, подаренного «страшному царю», но и добывает «девичу», на которой женится, т.е. получает собственную награду в виде свадьбы. В варианте Сиб. 35 «Короста» (тип 707*) приемный сын спасает братьев от трехглавого змея, что отчасти сближает его с героями сказки «Катигорошек» (312D). Здесь приемный сын не получает отдельной награды, однако упоминается в финале, в сцене узнавания, когда героиня колеблется, возвращаться ли ей к мужу:

«Нет, — говорит мать, — зачем мы пойдем? Ты погубить нас хотел, погубишь опять». Стал он (царь. — *А. Р.*) прощения просить да уговаривать идти к нему жить. «Ну ладно, пойду, если сына Коросту возьмешь: это он их спас, он все сделал»

В качестве последнего примера рассмотрим сказку Смирн. 242, отнесенную комментаторами к типу 706 *Безручка*. Сказка эта, по всей видимости, занимает промежуточное положение между волшебной и легендарной. Во-первых, в отличие от большинства вариантов данного типа, отрубленная рука героини не исцеляется, так что она так и остается однорукой. Во-вторых, узнавание в этой сказке происходит на поле боя, где выросший герой храбро сражается, а его мать в мужской одежде ухаживает за ранеными. Мотив узнавания разлученных родственников на поле боя характерен скорее для легендарного сюжета 938 *Евстафий Плакида*. Заметим также, что переодевание девушки или женщины в мужскую одежду — это деталь, в гораздо большей степени свойственная именно легендарным, а не волшебным сказкам. В этом варианте, по всей вероятности, вообще невозможно говорить о герое и помощнике, но только о двух равноправных героях.

В целом в рассмотренных сказочных типах распределение активности между матерью и детьми можно выразить схемой 3.

Мать активна	активность распределяется между матерью и сыном или помощником			Дети пассивны (дети как одна из "диковинок")
↓	↓	↓	↓	↓
ребенок- атрибут материнства. Помощников часто нет	ребенок вырастает, узнавание на поле боя. Мать тоже на поле боя или не участвует (938, Смирн. 242)	Один из сыновей добывает диковинки, выручает других детей, воссоединяет семью (707)	Приёмный ребенок (в том числе животное) — помощник. (СУС 707*)	

Схема 3

При этом если приемный ребенок скорее должен рассматриваться как волшебный помощник (хотя при воссоединении семьи, как правило, специально оговаривается, что «лягушка» или «простые» дети также входят в семью), то чудесный сын героини может считаться и героем сказки.

Последняя пара персонажей, которая станет предметом нашего рассмотрения, — это доброжелательно относящиеся друг к другу брат и сестра. В волшебных сказках такая пара появляется прежде всего в типах 327А *Брат и сестра у ведьмы (колдуна, змея)*, 450 *Братец и сестрица* и 480А* *Сестра (три сестры) отправляется спасать своего брата*. Рассмотрим эти типы.

Сказки, относящиеся к типам 327А и 480А*, повествуют о спасении персонажей (часто детей) от Бабы-Яги или другого демонического существа: дети попадают в лесную избушку, Баба-Яга собирается их съесть, дети спасаются с помощью хитрости или убегают, в бегстве им помогают различные помощники. Заметим, что роли брата и сестры в этих типах различаются. Так, в сказочном типе 327А *Брат и сестра у ведьмы* оба персонажа могут быть активны в равной степени, как, например, в Смирн. 143 «Сказка об Иванушке и об Оленушке», где брат и сестра обманывают Египобу вместе. Финал сказки выглядит так:

Взяли у Египобы все пожитки и деньги, слезли домой. Иванушко женился на царской дочери, а Оленушка вышла за придворнова,

пригожова молодца, за московского купца, и стали жить да быть и тепере живут.

Впрочем, в этом типе сказок большую активность может проявлять как брат, так и сестра.

В сказках, относящихся к типу 480А* *Сестра (три сестры) отправляется спасать своего брата* (например, Аф. 113 «Гуси-лебеди»), брат всегда пассивен и является не столько полноправным персонажем, сколько объектом, за который идет борьба между вредителем и героиней. Заметим, кстати, что это один из немногих случаев, когда спасителем является девушка (девочка); как правило, спасение другого человека от демонического существа в волшебной сказке — дело сугубо мужское.

Рассмотрим теперь сказочный тип 450 *Братец и сестрица*. Вот описание этого типа в СУС:

Братец, идя с сестрицей по дороге, пьет воду из-под козлиного копыта и превращается в козленка; сестра выходит замуж; ведьма ее топит и подменяет (собой или своей дочерью), а козленка хотят зарезать; все выясняется.

В сказках этого типа героиней является сестра, что отчасти подтверждается и наличием сходных сюжетов о подмененной жене, в которых брат отсутствует (например, 403 *Подменная жена*, 409 *Мать-рысь*). Определить же роль брата в этой сказке сложнее. Заметим, что только в очень небольшом числе вариантов этой сказки брат в конце приобретает человеческий облик (например, Аф. 261 «Сестрица Аленушка, братец Иванушка»); чаще он так и остается козленком, хотя отмечается, что «и козельчику стало хорошо» (Аф. 262). Братец оказывает некоторую помощь в спасении сестры, однако непосредственным спасителем чаще всего становится муж или слуги мужа.

Можно отметить, что вообще брат и сестра в волшебных сказках достаточно редко действуют совместно. Рассмотренные примеры, однако, показывают, что в таких случаях сестра чаще проявляет активность, чем брат, и в целом скорее является героиней сказки. Возможно, именно это послужило причиной появления сложной контаминации в сказке ЗелВ 11 «Про козла» (218В* *Небесная избушка* + 327 *Брат и сестра у ведьмы* + 450 *Братец и сестрица*). В этом варианте брат пассивен практически на протяжении всей сказки, сестра же активна в жилище козла-людоеда, и легко позволяет ведьме обмануть себя во второй части. Заметим также, что в этом варианте превращение брата объясняется не вполне привычно:

Только сестра ушла, козел (попавший в печь вместо детей — А. Р.) закипел, побежал росол. Братец обмочил палец и лизнул. Когда сестра вернулась в ызбу, брат бежит ей навстречу и говорит: «Бя, сестрича! Бя, родима!» Он уж козелок.

Подведем некоторые итоги.

1) Одинаковая или почти одинаковая активность (когда сложно определить, кто именно из двух персонажей является героем сказки, а кто — помощником) возможна только для близких родственников. В наших примерах речь шла о братьях, брате и сесте, матери и ребенке, а также брачных партнерах — герое и его невесте-помощнице.

2) Согласно уже цитированному наблюдению Е. М. Мелетинского и его коллег, «чуждость» героя и его помощника находятся в обратно пропорциональной зависимости. В наших примерах это соотношение сохраняется только для пар герой — невеста-помощница и отчасти мать — чудесный ребенок. Братья и сестры в начале сказки по этому признаку не различаются; для сказок же, в которых действуют два брата, возможны различные соотношения магической силы между героями, однако существенно преобладают сказки, в которых между братьями нет различий.

3) Особого рассмотрения требует медиация в подобных сказках. Явление медиации, впервые описанное К. Леви-Строссом для мифа, имеет в волшебной сказке свои особенности. «Истинными медиаторами в старом мифическом смысле (как «промежуточные» существа) оказываются помощники и дарители, связанные с героем, но одновременно отделенные от него. Эти персонажи действительно как бы принадлежат двум мирам (своему и чужому) благодаря своей дружественности к герою, иногда подкрепляемой и родственными с ним отношениями (покойные родители и т.п.). Что касается самого героя, то он в основном не промежуточен. Сказочный герой не только побеждает представителя враждебного принципа, создавая почву для общей перемены (в этом он адекватен мифическому герою). Он, особенно в специфически сказочных сюжетах с семейными конфликтами, совершает медиацию, переходя из одного статуса в другой, доказывая возможность преодоления отрицательного начала, заключенного в оппозиции, не за счет его уничтожения, а за счет либо его трансформации в положительное, либо за счет собственного перехода в область положительного» [Мелетинский и др. 2001: 44].

Итак, можно сказать, что в волшебной сказке герой и помощник осуществляют различные типы медиации: герой — ме-

диатор на уровне сюжета, помощник — на уровне семантических оппозиций, существо, принадлежащее одновременно «своему» и «чужому» миру. А как обстоят дела в наших примерах?

Первое, что можно заметить, — это то, что не только положение героя сказки, но и положение его помощника-партнера обязательно изменялось к лучшему. Иными словами, и герой, и его помощник-партнер являются медиаторами на уровне сюжета. При этом промежуточное положение между «своим» и «чужим» мирами занимает только один персонаж из рассмотренных, невеста-помощница: она дочь демонического существа, она обладает магической силой и одновременно является невестой или женой героя, помогая ему во всех испытаниях. Во всех остальных случаях помощник-медиатор, промежуточный между «своим» и «чужим» мирами может и вовсе отсутствовать.

4) Заметим также, что если герой и помощник в сказках с двумя активными персонажами все-таки отличаются по степени «чуждости» (например, такие пары, как сын купца — дочь Водяного или мать — чудесный ребенок), то более чудесный персонаж активнее и в целом ближе к помощнику, чем к собственно герою сказки.

5) Наконец, следует отметить, что появление персонажей, занимающих промежуточное положение между героем и помощником, возможно лишь в достаточно распространенных сказочных сюжетах. Это явление не возникает на пустом месте. Так, сказок, в которых действует мужчина, намного больше, чем так называемых «женских» сказок. Мы видим, что и отношения между братьями в целом гораздо разнообразнее, чем отношения между сестрами. То же можно сказать и о характере брачных партнеров героя или героини: типов чудесных невест в волшебной сказке намного больше и роли их разнообразнее, чем возможные роли чудесных женихов.

Итак, близкие родственные отношения между героем и помощником при условии, что тот и другой принадлежат, хотя бы отчасти, миру людей, могут достаточно серьезно изменить взаимоотношения персонажей волшебной сказки и тем самым сказочный канон.

При этом однополые персонажи (братья или сестры) могут также действовать как единый герой либо, напротив, вступить в отношения соперничества. Для разнополых пар (брат — сестра, мать — сын, жених — невеста) действовать как единый персонаж — даже при наличии общих целей — практически невозможно.

¹ Здесь и далее номера сказок по международной классификации Аарне-Томпсона приводятся в соответствии с СУС. Примеры сказок даются с указанием номера текста в соответствующем сборнике.

² Типы 313А и В отличаются начальным эпизодом, объясняющим, почему герой был обещан демоническому существу. Тип 313С содержит финальный эпизод «Забытая невеста».

³ См., напр.: Аф. 212—215.

⁴ Е. С. Новик, устное сообщение.

Литература

Аф. — Народные русские сказки А.Н. Афанасьева. Т. I—III / Под ред. Л. Г. Барага, Н. В. Новикова. — М.: Наука, 1984—1985.

ЗелВ. — Великорусские сказки Вятской губернии. Сборник Д. К. Зеленина / Изд., подгот. Т. Г. Иванова. СПб.: Тропа Троянова, 2002. — 736 с. — (Полное собрание русских сказок. Предреволюционные собрания. — Т. 7).

Кербелите 2005 — Кербелите Б. Типы народных сказок: Структурно-семантическая классификация литовских народных сказок. М.: Рос. гос. гуманит. ун-т., 2005. — 724 с.

Кербелите 2006 — Кербелите Б. Новые возможности структурно-семантической классификации сказок // Проблемы структурно-семантических указателей: Сборник статей / Под ред. А. В. Рафаевой. — М.: РГГУ, 2006. — С. 93—112.

Костюхин 1997 — Костюхин Е. А. Сказки, которые плохо кончаются // Живая старина, 1997, № 4. С. 15—18.

Леви-Стросс 1999 — Леви-Стросс К. Мифологики: В 4-х т. Т. 1. Сырое и приготовленное. М.; СПб.: Университетская книга, 1999. — 406 с. — (Книга света).

Мелетинский и др. 2001 — Мелетинский Е. М., Неклодов С. Ю., Новик Е. С., Сегал Д. М. Проблемы структурного описания волшебной сказки // Структура волшебной сказки. М.: Рос. гос. гуманит. ун-т, 2001. С. 11—121.

Озар. — Озаровская О. Э. Пятиречие. СПб.: Тропа Троянова, 2000. — 543 с. — (Полное собрание русских сказок. Довоенные собрания. — Т. 4).

Онч. — Северные сказки. Сборник Н. Е. Ончукова: В 2 кн. СПб.: Тропа Троянова, 1998. — 476 с. Кн. 1, 2. — (Полное собрание русских сказок. Предреволюционные собрания. — Т. 1).

Пропп 1998 — Пропп В. Я. Морфология <волшебной> сказки. Исторические корни волшебной сказки / Ст. Е. М. Мелетинского, А. В. Рафаевой, Сост., текстол. ком. И. В. Пешкова. — М.: Лабиринт, 1998. — 512 с. (Собрание трудов В. Я. Проппа.)

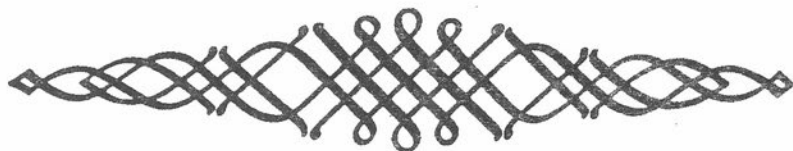
Рафаева 1999 — Рафаева А. В. Мотив параллелизма персонажей и его место в сюжете волшебной сказки // Мировое древо. 1998. № 6. С. 19—29.

Сиб. — Русские сказки и песни в Сибири. СПб.: Тропа Троянова, 2000. — 606 с. — (Полное собрание русских сказок. Предреволюционные собрания. — Т. 3).

Смирн. — Великорусские сказки архива Русского географического общества. Сборник А. М. Смирнова. В 2 кн. СПб.: Тропа Троянова, 2003. — 479 с. — (Полное собрание русских сказок. Предреволюционные собрания. — Т. 9).

СУС — Сравнительный указатель сюжетов: Восточнославянская сказка / АН СССР. Отд-ние лит. и яз. Науч. совет по фольклору; Ин-т этнографии им. Н. Н. Миклухо-Маклая; Сост. Л. Г. Бараг, И. П. Березовский, К. П. Кабашников, Н. В. Новиков. — Л.: Наука. Ленингр. отд-ние, 1979. — 437 с.

АТ — Thompson S. The Types of the Folktale: A Classification and Bibliography. Anti Aarne's Verzeichnis der Märchentypen. Third printing. — Helsinki, 1973. — (FFC № 184).



ЖИЗНЬ ЯЗЫКА

3. Чапига

РОЛЬ ДЕВЕРБАТИВОВ С НУЛЕВЫМ ФОРМАНТОМ В СЕМАНТИЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ В РУССКОМ И ПОЛЬСКОМ ЯЗЫКАХ (на материале научных текстов)

Девербатив с нулевым формантом — это слово, образованное от глагольной основы без применения суффикса, совмещающее признаки двух частей речи — глагола и существительного. Как и любое другое существительное, девербатив характеризуется грамматическим значением предметности, которое находит свое выражение в морфологических и синтаксических свойствах этой части речи¹. К морфологическим свойствам относятся грамматические категории рода, числа и падежа, а к синтаксическим — функционирование в качестве всех членов предложения. Девербативы способны переносить на свое ближайшее окружение семантические валентности соответствующих глаголов², напр.: *выход на цифropечать* — *выходить на цифropечать*, *запись на диске* — *записать на диске*, *обмен информацией* — *обмениваться информацией* и т.д.

В способности девербатива поддерживать со своим ближайшим окружением актантные синтаксические отношения, маркирующие различных участников действия, заключается его специфика по сравнению с конкретно-предметными существительными. Имена действия, «выйдя» из глагола, но, сохраняя частично его грамматические признаки и его значение действия, оказываются внутренне противоречивым классом имени существительного, занимая как бы промежуточное положение между глаголом и существительным³. Г. А. Золотова отмечает, что значения действия, состояния, выражаемые этими именами, не соответствуют общему категориальному значению предметности, но подчиняются ему, принимая морфологические формы предметного имени, становясь «определенным» наименованием — все же действия, состояния⁴.

Грамматическая предметность девербатива становится предпосылкой его семантической эволюции в сторону лексической опредмеченности, «субстантивации», следствием чего является развитие вторичных, предметных значений. Ср.:

Они изготавливаются по новой технологии Nano2 и требуют специального оборудования для чтения и **записи**. (i)⁵ = Они требуют специального оборудования для того, чтобы можно было читать и записывать.

Полученная **запись** позволяет человеку понять суть дела и исполнить алгоритм. (i) = То, что было записано, позволяет человеку понять суть дела и исполнить алгоритм.

Zapis takiego pliku trwa krótko. = Krótko trwa to, że taki plik się zapisuje.

Zostały sprawdzone wszystkie **zapisy** na twardym dysku. = Zostało sprawdzone to, co zostało zapisane na twardym dysku.

Выделенные в приведенных контекстах девербативы имеют процессуальное или предметное значение результата действия.

Как в русском, так и в польском языках некоторые отглагольные существительные с нулевым формантом подверглись полной конкретизации, напр.:

В упаковке сделаны с двух сторон радиальные **прорези**. (i)

В результате получился **раствор**, содержащий 5 % соли. (n)

Передача информации по каналам связи часто сопровождается воздействием **помех**, вызывающих искажение и потерю информации. (i)

Udźwig robota wynosi 120 kg, zasięg 2,5 m, a maksymalna prędkość 2 m/s. (n)

Zwiększa to przejrzystość oraz ułatwia analizę pracy **układu**. (i)

Raствор, кроме общего значения 'однородная жидкость, полученная растворением твердого или жидкого вещества в воде или в другой жидкости', имеет и терминологическое значение — 'однородное жидкое, газообразное или твердое вещество, в котором равномерно распределены молекулы или атомы другого вещества' (СРЯ⁶ IV, 671); **прорезь** — 'Сквозное отверстие, прорезанное в чем-л.' (СРЯ III, 516); **помеха** - '1. то, что (или тот, кто) мешает кому-, чему-л.; 2. мн. ч. спец. Электромагнитные колебания, не связанные с принимаемым сигналом, искажающие его' (СРЯ III, 281); **udźwig** — это 'term. techn. — zdolność jakiegoś urządzenia do podnoszenia określonych ładunków; największe dopuszczalne obciążenie pojazdu' (ISJP⁷ II, 859); **układ** — это м. проч. 'zespół mechanizmów lub części pełniących razem jedną funkcję' (ISJP II, 900).

Предложения с девербативами с точки зрения своей формальной структуры являются простыми, монопредикативными

единицами, а с точки зрения содержания представляют собой знак более чем одной ситуации, т.е. являются семантически сложными полипредикативными (полипропозитивными)⁸. В семантическом синтаксисе предложение понимается как номинат фрагмента действительности, некоего «положения дел» ситуации, которую В. Г. Гак определяет как «совокупность элементов, присутствующих в сознании говорящего и объективной действительности в момент сказывания и обуславливающих в определенной мере отбор языковых элементов при формировании самого высказывания»⁹. Мысленное представление ситуации в логике называется пропозицией. В семантическом синтаксисе заимствуется из логики это понятие, и пропозицией считается номинативный аспект смысла предложения, его объективное, независимое от говорящего содержание мысли, непосредственно соотнесенное с обозначаемым «положением дел»¹⁰. Ядро предложения составляет основная пропозиция, представляющая собой предикативную единицу. Другие пропозиции являются побочными, вторичными. Они связаны с различного типа логическими отношениями. Главная их роль заключается в усложнении и расширении содержательного плана предложения. Они именуется разными терминами — скрытая предикативность, потенциальная, вторичная, дополнительная, вторичная предикация¹¹. Напр.:

Нагрев и расплав металла происходит за счет протекающих в нем токов [...] (n)

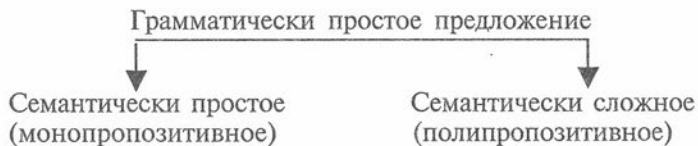
Поиск сверхтяжелых ядер — одна из интереснейших задач современной ядерной физики. (f)

Dalszy **dosuw** tłoka (9) kończy się przy zderzaku. (n)

[...] domyślnie **zapis** większości informacji jest włączany. (i)

В приведенных предложениях, простых по структуре, наряду с основной пропозицией появляется дополнительная пропозиция: *нагрев, расплав, поиск, dosuw, zapis*.

Взаимоотношения между структурой и смыслом таких предложений можно представить следующим образом:



В синтаксическом поле простого предложения Г. А. Золотова локализирует эти единицы на периферии, т.е. между простым и сложным предложением¹².

В научных текстах девербативы с нулевым формантом занимают особое место: они являются удобным, экономным средством выражения результатов логико-понятийного мышления. Осложненное номинализацией предложение имеет, таким образом, одно предикативное ядро и дополнительную пропозицию, которая свободно может быть заменена предикативной единицей:

Результаты Девиса вызвали целый **поток** различных объяснений. (f) = Результаты Девиса вызвали то, что потекли различные объяснения.

Funkcja biblioteczna *io_update()* powoduje <...> **odbiór** komunikatu z obecnym stanem klawiszy i wejść sygnału z obiektu. (i) = Funkcja biblioteczna *io_update()* powoduje to, że jest odbierany komunikat z obecnym stanem klawiszy...

Для обозначения компонентов побочной ситуации, создающей семантическую осложненность предложения, М. А. Кормилицына вводит термин компликатор, то есть усложнитель (от лат. *complexus*). В зависимости от занимаемой позиции в содержательной структуре предложения компликаторы делятся на: актантные, атрибутивные и сирконстантные (обстоятельные)¹³.

Сложность содержания полипропозитивных единиц с актантными компликаторами обусловлена тем, что они передают отношения между лицом (предметом) и событием, напр.:

Один мощный сервер может обслуживать **запросы** большого количества пользователей. (i) = Один мощный сервер может обслуживать то, что запрашивает / будет запрашивать большое количество пользователей.

Lampka sygnalizuje **przejazd** wózka. (i) = Lampka sygnalizuje, że wózek przejeżdża.

или между двумя либо несколькими событиями, напр.:

Расчеты по жидкокапельной модели предсказывают исчезновение барьера деления для ядер с $Z^2/A \approx 46$. (t)

Слив металла отработанной эмульсии должен производиться в сборник для хранения и последующей утилизации. (n)

Ograniczony **przebieg** zbliżony jest **do przebiegu** trapezowego czy wręcz prostokątnego. (t)

Podczas transmisji polecenia <...> pole funkcji zawiera <...> **odczyt** zespołu rejestrów, **odczyt** statusu, **zapis** rejestrów. (i)

Позиции актантов в этих предложениях занимают номинализации, способные давать номинацию целой ситуации. Происходит углубление, осложнение смысла предложения. М. А. Кормилицына называет это актантным осложнением, а выделенные формы актантными компликаторами.

Актантные компликатеры — номинализованные конструкции имеют собственную структуру, изоморфную структуре той ситуации, которую они именуют, и обладающую относительной структурно-семантической автономностью. В свернутом виде они содержат позиции семантического предиката и семантических актантов. В процессе номинализации предикат преобразуется в пропозитивное имя и становится ядром номинализованной конструкции, а актанты свернутой пропозиции занимают синтаксически зависимое положение¹⁴, напр.:

Кавитационные теплогенераторы позволяют высокоэффективно и удобно осуществлять прямой **нагрев** этих *технологических жидкостей*. (n) = технологические жидкости нагреваются.

Aparat przeznaczony jest do automatycznego **przesuwu aplikatora spiralnego** lub *sztabkowego* w celu wykonania powłok na płytках badawczych jak folie, papiery wzorcowe, płytki szklane, o żądanej grubości i ze stałą prędkością. (n) = przesuwа się aplikator spiralny lub sztabkowy.

Ср. также: *поток солнечных нейтрино — солнечные нейтрино текут, отказ исполнителя — исполнитель отказывает, распад ядер — ядра распадаются, поиск сверхтяжелых ядер — сверхтяжелые ядра ищутся, запись алгоритмов — алгоритмы записываются, запуск программы — программа запускается, прѳебег сигнала — сигнал прѳебегает, obrót cylindrów — cylindry się obracają, nacisk belki dociskającej — belka naciskająca naciska, przesuw noża — nóż przesuwа się, zapis rejestrów — rejestry są zapisywane, obsлуга прѳерwań — прѳерwania są obsлугiwane, napęd taśm — taśmy są napędzane* и т.д.

Семантический субъект зависимой пропозиции чаще всего занимает позицию атрибутивного члена к пропозитивному имени в форме родительного беспредложного падежа имени существительного. Они вместе образуют настолько семантически спаянное словосочетание, что опущение субъектного компонента создает не только информативно, но и структурно незавершенную конструкцию. Ср.:

Поиск сверхтяжелых ядер — одна из интереснейших задач современной ядерной физики. (i)

Это приближает **запись алгоритма** к общепринятой математической записи. (i)

При прорыве или застывании металла перед выходом в валки **слив металла** должен быть прекращен.(n)

Przesuw belki dosuwającej możliwy jest dzięki odpowiedniej dźwigni. (n)

Modulacja та <...> była używana **do zapisu informacji cyfrowej** na taśmie magnetycznej <...> (t)

Z tego rejestru jest możliwy jedynie **odczyt zawartości**. (i)

В научных текстах, как видим, субъектом номинализованной конструкции в основном выступает неагентивное имя, обычно предмет, но не индивидуальный, а являющийся представителем определенного множества подобных предметов.

Название субъекта-лица зависимой пропозиции в научных текстах встречается очень редко:

Один мощный сервер может обслуживать **запросы большого количества пользователей**. (i)

Отказы исполнителя возникают, если команда вызывается при недопустимом для нее состоянии среды. (i)

W większości przypadków **dostęp użytkownika** do systemu odbywa się wyłącznie za pośrednictwem aplikacji. (i)

В обоих языках семантический субъект может также выражаться возвратным или притяжательными местоимениями, напр.:

Встроенные в стример средства аппаратного сжатия позволяют автоматически уплотнять информацию перед **её записью** и восстанавливать после считывания, что увеличивает объём сохраняемой информации. (f)

Принтер связан с компьютером посредством кабеля принтера, один конец которого вставляется **своим разъёмом** в гнездо принтера, а другой — в порт принтера компьютера. (i)

Osie obu kaskad przechodzą przez punkt oddziaływania skąd wnioskujemy, że cząstka *X* przebiegła przed **swym rozpadem** bardzo mały (mniejszy niż 0.1 mm) odcinek drogi w komorze. (n)

Wraz ze wzrostem wilgotności papieru zmniejsza się **jego opór** podczas cięcia <...> (n)

В русском языке в пассивных конструкциях субъект пропозиции оформляется творительным падежом:

Данным **генератором облучается расплав** металла в объеме от 160 кг до 60 тонн. (n)

Поворот блока индуктора, для слива металла, **осуществляется рычагом** (см. рис. 1), особых усилий прилагать не требуется, так как система сбалансирована. (n)

Работа оборудования **регулируется автоматикой**. (n)

Нагрев реализуется цилиндрическим графитовым **нагревателем**. (n)

При трансформации появляется реальный субъект — агенс главного действия: **генератор облучает расплав; рычаг осуществляет поворот блока** и т.д. Субъект же пропозиции выражен формой родительного падежа конкретного существительного или имеет имплицитный характер и вытекает из предыдущего контекста. Предложения имеют полипредикативный полисубъектный характер (если при девербативе употребляется субъектный определитель): **Металл расплавляется + Это облучает ге-**

нератор; Рычаг осуществляет то (приводит к тому), что блок индуктора поворачивается; Автоматика регулирует то (приводит к тому), что работает оборудование. Семантические субъекты обоих пропозиций здесь разные.

Лишь в единичных случаях в исследуемых научных текстах предложения с актантами компликаторами с нулевым формантом имеют моносубъектный характер, это значит, что субъекты основной и свернутой пропозиции совпадают:

Полученный первоначально неправильный результат (обратный код числа -11_{10} вместо обратного кода числа -10_{10}) компьютер исправляет **переносом** единицы из знакового разряда в младший разряд суммы. (i) = компьютер исправляет + компьютер переносит единицы...

Ответы на какие вопросы мы ожидаем получить, изучая экзотические ядра? (f) = мы ожидаем того, как мы ответим...

Jeżeli dwa (lub więcej) urządzenia starają się uzyskać **dostęp** do magistrali, to uzyska go urządzenie nadające komunikat o najwyższym priorityecie. (i) = urządzenia starają się o to, aby one mogły **dostać** (mieć **dostęp**) do magistrali...

В научных текстах довольно часто элиминируется семантический субъект побочной ситуации. Это связано с двумя процессами: 1) устранением субъекта и 2) опущением субъекта¹⁵. В первом случае субъект оказывается менее информативным и коммуникативно значимым. Обычно он имеет обобщенный, «всеобщий» характер или уже назван в данном высказывании, напр.:

Переход от одного участка спектра к другому происходит при помощи решетки *G* и кассеты *P*. (n)

Zaletą tego rozwiązania jest szybszy **dostęp** do zmiennych roboczych funkcji <...> (i)

Опущение семантического субъекта имеется в случае, если субъект ясен и обычен для описываемой ситуации или же он назван в предтексте, напр.:

Экспериментальное подтверждение идеи корпускулярно-волнового дуализма привело к пересмотру привычных представлений о движении частиц и способа описания частиц. Необходим принципиально новый **подход** к описанию физических систем. (f)

W efekcie otrzymuje się przebieg, który odpowiada dokładnie jednopółokowemu prostowaniu sygnału wejściowego <...> Wyprostowane **przebiegi** można wygładzić w filtrze dolnoprzepustowym <...> (t)

Осложнение смысла предложения достигается также путем включения в высказывание факультативных распространителей, т.е. различного рода атрибутивных и сирконстантных

(обстоятельствственных) компликаторов. Занимающие позицию целой ситуации, семантически они являются сигналом совмещения нескольких пропозиций в структуре одного предложения, что ведет к полипропозитивности предложения, напр.:

Недостатком стримеров является их сравнительно низкая скорость записи, поиска и считывания информации. (i)

<...> причём для двух соседних сумматоров выход переноса одного сумматора является входом для другого. (i)

При записи алгоритма в словесной форме, в виде блок-схемы или на псевдокоде допускается определенный произвол при изображении команд. (i)

Wykresy zmian sił w czasie jednego cięcia $P = f(t)$ przedstawione na rys. 1.12. (n)

Skoro telekomunikacja jest to przesyłanie informacji na odległość, przy technicznym podejściu do tego problemu zachodzi konieczność pomiaru ilości tej informacji <...> (t)

Do napędu belki dociskającej stos ciętego materiału zastosowano w konstrukcji krajarki system napędzany hydraulicznie. (n)

Выделенные пропозиции можно заменить предикативной формой: *низкая скорость записи и поиска информации — низкая скорость того, как записывается и ищется информация; при записи алгоритма — когда записывают (записывается) алгоритм; wykresy zmian sił — wykresy przedstawiające, jak zmieniają się siły; do napędu belki dociskającej — aby napędzać belkę dociskającą.*

В научных текстах широко употребляются многокомпонентные понятийные словосочетания с девербативом с нулевым формантом в качестве атрибутивного компликатора. Для выражения атрибутивных отношений в обоих языках служит прежде всего родительный беспредложный, а также разные предложно-падежные формы девербативов. Они появляются при определенных семантических группах имен существительных: абстрактных, производных и непроизводных, реже конкретных¹⁶. Довольно распространены абстрактные имена, называющие аппарат логического мышления, способы и приемы исследования. Это своего рода слова-этикетки, слова с опустошенным лексическим значением. Они не способны передавать какую-либо информацию без конкретизирующих их атрибутов, называющих содержание этих логических процессов и приемов исследования: *проблема поиска античастицы, способ записи, система информационного обмена, средства связи, форма записи, условия распада, результат захвата, tryb dostępu, typ przebiegu, sposób pomiaru i zapisu, proces wtrysku, system napędów, cykl zapisu, stan przebiegów, funkcja obsługi przerwań* и т.д.

Отдельную группу составляют сочетания с деадъективами и девербативами в роли опорного компонента, напр.: *возможность индукционного нагрева, точность перевода чисел, вероятность выбора, скорость распада, увеличение расхода электроэнергии, подготовка отчетов, обеспечение доступа к данным, выход переноса сумматора, prędkość przepływu, dokładność przebiegu procesu, grubość wkładu, wykorzystanie zapisu zespolonego, przebieg wtrysku, wzrost rozkroju, analiza pracy układu* и т.д.

В приведенных сочетаниях с родительным беспредложным устанавливаются атрибутивно-субъектные или атрибутивно-объектные отношения.

Наряду с родительным падежом в научных текстах широко применяются разные другие падежные формы с предлогами, напр.: *программа для набора, поддержка для обмена, подача на оба входа, операции по сбору информации, клавиша для отмены, переход от записи к записи, walka z wpływem zakłóceń, fala nośna z przebiegu, informacja o przebiegu, reakcja na zmianę, szum o płaskim przebiegu, odbiornik z przemianą, adresy z przedziału zerowego* и т.д.

Выделенные предложно-падежные формы имеют атрибутивно-объектное значение либо атрибутивное, осложненное значением назначения, локативным, темпоральным.

Оказывается, что атрибутивные компликатеры довольно редко относятся к конкретным существительным, производным и непроизводным, напр.: *механизм подъема груза, приборы с аналоговым выходом, схема по замене, головки считывания / записи накопителя, мостовые краны с ручным приводом, sterownik dosuwu, produkt rozpadu, robot o udźwigu..., wykresy zmian sił, mechanizm napędu, pionowa oś obrotu* и т.п.

Предложения с сирконстантными компликатерами также представляют собой результат конденсации двух предикатов, один из которых сохраняет первоначальную форму и значение, а второй теряет самостоятельные показатели предикативности, но легко может быть развернутым в предикативную конструкцию¹⁷. Между ними устанавливаются логические отношения причины, цели, времени, напр.:

Для слива металла печь может наклоняться в сторону сливного носка. (n) → Печь может наклоняться в сторону сливного носка, чтобы металл слился (сливался).

Do podgrzewu ciepłej wody użytkowej stosuje się różne systemy. (n) → Stosuje się różne systemy, aby podgrzać ciepłą wodę użytkową.

Пропозитивная лексика служит для номинации ситуаций и поэтому семантически более эксплицитна и информативна, чем конкретная. Это очень важно в научной речи, в которой

доминирует стремление соединить максимальную точность и доказательность излагаемых положений с компактностью формы. Наблюдения подтверждают, что простые предложения с обстоятельственными компликаторами преобладают над соответствующими придаточными предложениями. Вот некоторые примеры:

Перед розливом металла ручку регулятора мощности поставить в крайнее левое положение (минимальная мощность) <...> (n)

После розлива металла тигель закрыть теплоизоляционной крышкой <...> (n)

Индукционные нагревательные установки применяются для **нагрева** (преимущественно) металлических частей. (n)

Po rozpadzie całkowity pęd musi być nadal równy zeru, a suma energii fotonów równa energii spoczynkowej cząstki. (n)

Odbywa się to **przez pomiar** prędkości przepływu v (m/s), strumienia objętościowego Q (m³/s) lub strumienia masy G (kg/s). (n)

Do zapisu informacji <...> wykorzystywane jest zjawisko zmiany właściwości niektórych materiałów polaryzujących światło pod wpływem pola magnetycznego. (i)

Независимо от того, какую позицию занимают девербативы с нулевым формантом, они семантически осложняют простое предложение, делают его информационно более насыщенным. Язык науки отбирает из языковой системы наиболее отвлеченные средства для выражения результатов логико-понятийного мышления. Обобщенность, отвлеченность является существенной чертой научной речи. «В научном высказывании актуально не выражение конкретности протекания или результативного совершения действия, а обобщенное и абстрагированное от конкретности проявлений выражение понятия действия, состояния связи»¹⁸.

Нередко научные тексты очень насыщены девербативами, в том числе с нулевым формантом. Ср.:

Он (Norton Commander) обеспечивает: *создание, копирование, пересылку, переименование, удаление, поиск* файлов, а также *изменение* их атрибутов; **просмотр** текстовых файлов; <...> **запуск** программ; *поддержку* межкомпьютерной **связи**. (i)

Здесь при основном предикативном ядре *он обеспечивает* появляются следующие дополнительные предикаты: *(файлы) создаются, копируются, пересылаются, переименовываются, удаляются, ищутся, а также изменяются их атрибуты; (текстовые файлы) просматриваются, (программы) запускаются; поддерживается то, что компьютеры связываются между собой*. Конечно, такое нагромождение глагольных форм в рамках одного высказывания недопустимо: получается усложнен-

ная структура, смысл которой трудно воспринимать. Использование в научных текстах номинализаций вызвано стремлением автора высказывания наиболее экономным способом передать реальные отношения между понятиями объективной действительности.

Таким образом, в обоих языках девербативы с нулевым формантом играют существенную роль в осложнении семантической структуры простого предложения. Они подчиняются основной пропозиции, способствуя формированию сложного смысла, но не изменяя структуры предложения, его предикативной основы. Это объясняется фактом, что отглагольное существительное является номинализацией ситуации, одним из способов репрезентации пропозиции в структуре предложения, заключающимся в том, что предикативная связь не элиминируется полностью, а становится скрытой, имплицитной. Девербативы выполняют роли предикатных актантов, сирконстантов и атрибутов, значительно обогащая содержательный план предложения. При этом довольно часто элиминируется позиция семантического субъекта как главной, так и дополнительной пропозиции. Это связано с характером исследуемого материала: научные тексты отличаются безличностью, бессубъектностью; семантический субъект имеет обобщенный, «всеобщий» характер.

Использованием в научных текстах предложений с номинализациями достигается конденсация мыслительного содержания и компактность структурно-синтаксической организации, согласно принципу экономии языковых средств, а также точности и сжатости выражения мысли. Эти проблемы требуют дальнейших исследований.

¹ М. И. Стеблик-Каменский, *К вопросу о частях речи*, [в:] Стеблик-М. И. Каменский, *Спорное в языкознании*, Л., 1974, с. 19—34.

² Ю. Д. Апресян, *Лексическая семантика. Синонимические средства языка*, М., 1974, с. 175.

³ В. П. Казаков, *Синтаксис имен действия*, СПб., 1994, с. 5.

⁴ Г. А. Золотова, *Коммуникативные аспекты русского синтаксиса*, М., 2001, с. 126.

⁵ Материал для исследования отобран из научных текстов (из области физики, информатики, телекоммуникации): М. Gotfryd, *Podstawy telekomunikacji*. Rzeszów 2005 (сокращ. t); *Sterowniki mikroprocesorowe*. Red. Z. Świder, Rzeszów 2002 (сокращ. i); Б. С. Ишханов, Э. И. Кэбин, *Физика* <http://nuclphys.sinpmsu.ru/-23k> (сокращ. f); *Информатика* http://book.kbsu.ru/theory/chapter2/1_2_9.html (сокращ. i), а также из других научных текстов из интернета (сокращ. n).

⁶ *Словарь русского языка* / Ред. А. П. Евгеньева, т. I—IV, М., 1981—1984 (сокращ. СРЯ).

⁷ *Inny słownik języka polskiego*. Red. M. Bańko, t. I—II, Warszawa, 2000 (со-кращ. ISJP).

⁸ См. м. проч.: М. А. Кормилицына, *Семантически осложненное (полипропозитивное) простое предложение в устной речи*, Саратов 1988, с. 12; А. Ф. Прияткина, *Русский язык. Синтаксис осложненного предложения*, М., 1990, с. 9—12.

⁹ В. Г. Гак, *Высказывание и ситуация*, [в:] *Проблемы структурной лингвистики*, М., 1973, с. 358.

¹⁰ В. А. Белошапкова, Т. В. Шмелева, *Деривационная парадигма предложения*, Вестн. Моск. у-та. Сер. 9. Филология, 1981/2, с. 43—51. О перспективах изучения семантики предложения см. м. проч. В. В. Богданов, *Предложение и текст в содержательном аспекте*, СПб., 2007, с. 75—86.

¹¹ М. А. Кормилицына, *Семантически осложненное...*, с. 24—25.

¹² Г. А. Золотова, *Коммуникативные аспекты...*, с. 182—183.

¹³ М. А. Кормилицына, *Семантически осложненное...*, с. 26. В польской лингвистике роль усложнителей семантической структуры в полипредикативных предложениях приписывается аргументам, атрибутивным и обстоятельственным выражениям. См.: M. Grochowski, *Składnia wyrażeń polipredykatywnych*, [w:] *Gramatyka współczesnego języka polskiego. Składnia*. Red. Z. Topolińska, Warszawa, 1984, s. 255—256.

¹⁴ М. А. Кормилицына, *Семантически осложненное...*, с. 31.

¹⁵ В. Г. Гак, *Номинализация сказуемого и устранение субъекта*, [в:] *Синтаксис и стилистика*, М., 1976, с. 85—102.

¹⁶ Z. Czapiга, *Polipredykatywność zdania pojedynczego w języku polskim i rosyjskim*, Rzeszów, 2003, s. 55—65.

¹⁷ Т. Б. Алисова, *Очерки синтаксиса современного итальянского языка*, М., 1971, с. 30.

¹⁸ А. Н. Васильева, *Курс лекций по стилистике русского языка. Научный стиль речи*, М., 1976, с. 94.

Т. В. Карасёва

НАЗВАНИЯ ЗЕМНОВОДНЫХ И ПРЕСМЫКАЮЩИХСЯ В ВОРОНЕЖСКИХ ГОВОРАХ

Известно, что на территории Воронежской области обитают 10 видов земноводных (амфибий)¹ — представителей «класса позвоночных животных, живущих в воде и на суше»², и 10 видов пресмыкающихся (рептилий)³ — животных из «класса позвоночных животных, включающего змей, ящериц, черепах, крокодилов»⁴, которые передвигаются «преимущественно ползком, волоча брюхо по земле»⁵.

Предметом нашего научного интереса стали собственно диалектные названия земноводных и пресмыкающихся в говорах

Воронежской области. Материалом для исследования послужили данные картотеки Словаря воронежских говоров, хранящейся на кафедре славянской филологии Воронежского государственного университета, и Центра региональных лингвистических исследований при кафедре общего языкознания и методики преподавания русского языка Воронежского государственного университета, а также полевые записи автора. Проведённое исследование показало следующее.

Земноводные и пресмыкающиеся вообще в воронежских говорах обозначаются собирательными лексемами: га'да: *Там, в этом сарае, пално: и казюли, и ужы, и фсякая гада* (КЧГ. Нж.-Дев.); гадю'ка: *Гадюка — лягушка, ужак, мядянка* (Б.ВРК. Семил.; ХЛВЩ. Липецк.). Такое же значение в литературном языке имеет лексема *гад*. Так, в Словаре МАС читаем: *гад* 'земноводное или пресмыкающееся животное'⁶. У В. И. Даля находим в подобном значении ещё и слово *гадюка*: «*Гадюка* или *гад*. Ползучее животное, пресмыкающееся, противное человеку; это земноводное либо насекомое, собственно земноводное; их 4 отдела: змея, лягушка, черепаха, ящерица»⁷. В воронежских говорах лексема *гад* обозначает змею вообще (Н.ВСКР. Борис.). По данным этимологии, первоначальное значение данного общеславянского слова, имеющего соответствия в балтийских и германских языках, было 'отвратительный, мерзкий'⁸.

Если же говорить о конкретных представителях класса земноводных, то нам встретились диалектные названия лишь двух видов — лягушек и жерлянок.



Лягушка — это «болотное земноводное, гад, четырёхногое животное, которое ходит прыжками»⁹, «бесхвостое земноводное с длинными задними конечностями, приспособленными для прыганья»¹⁰. В широком смысле слова лягушками называют всех бесхвостых земноводных (не только лягушек, но и квакш, жаб, жерлянок и др.).

Известно, что «взаимообусловленность и взаимозависимость лингвистического и экстралингвистического планов, важность обращения к внеязыковым факторам особенно ярко проявляется в разрядах лексики, относящихся к живой природе»¹¹. Например, литературное *лягушка* связано с *ляга* в значении 'ляжка'¹², 'верхняя половина ноги, от таза до колена', то есть «животное названо так по длинным задним ногам»¹³. В воронежских говорах отмечают следующие наименования лягушек.

Бу'чель: *Ни хади в лужы: там бучиль* (КЛП. Бутур.); **бу'чень:** *Падайдеш к ваде, а бучанья как начнут прыгать адин за дним!* (ЗТН. Бутур.). Этимологию данных слов можно связать с глаголом *буча'ть*. Так, у В. И. Даля находим: *буча'ть; бунчать, бунить* (кур.) 'о детях: визжать, плакать безперечь; о корове: реветь, мычать долго; о пчеле: жужжать, гудеть'¹⁴. В современных воронежских говорах *буча'ть, бучи'ть* имеет значение 'мычать': *Наша карова громка бучи'ть* (ГНЛ. Семил.). Глагол *буча'ть* 'жужжать, мычать' носит общеславянский характер, ср. польск. *buczeć* 'издавать низкий, протяжный звук'¹⁵, 'мычать', чеш. *bičeti* 'мычать', в.-луж. *bičes* 'реветь, мычать'¹⁶. Он также связан с *буча'ть* 'бухать' (ср. словен. *būkati* 'мычать, хрюкать', чеш. *boukati* 'реветь, мычать'), которое имеет звукоподражательное происхождение¹⁷. Семантика таких диалектных слов, как *бу'чель* 'шмель' (арх.), *бу'чень* 'выпь' (тамб., ряз.), 'шмель' (арх., олон., якут.), 'лягушка — жерлянка огненная' (ряз.), 'бык' (арх., волог.)¹⁸, а также польского литературного *bąk* 'о шмеле или ином насекомом, издающем по время полёта характерное жужжание'¹⁹, указывает на то, что в основу этих номинаций был положен характерный звук, издаваемый данными животными. Как отмечает М. Фасмер, «другая ступень чередования, по-видимому, представлена в слове *бык*»²⁰. Ср. также: *буч* 'шум, наказание, побои': *Я тебе вот бучь такой устрой!* (ДРК. Лиск.); *бу'ча* 'шум, скандал, переполох, драка': *Такую бучу устрой, што и ня думали унять яго!* (КПН. Остр.).

Можно также выдвинуть ещё одну версию происхождения указанных слов — от названия водоёмов, где водятся лягушки. В воронежских говорах *бу'ча, бучи'ло* 'топкое место, болото': *Как пападеш в бучу — да самага некуды завалаке* (ГРЖ. Рам.); *Пашли напрямки — залезли у бучилу, насилушки влизли* (МЧТ. Бобр.); *бу'чня, бучь* 'большая глубокая яма с водой': *Ды там бучня чёрти какая!* (РГЧ. Н-Усм.); *У дерива ни купайси: там бучь* (Н.ХРН.ВСЛ. Пан.); *буча'ло, бу'чиво* 'очень глубокая канава, ров, пропасть': *Тады там была бучала* (СТДК. Липецк.); *Так и упал в бучива* (СЛВ. Лиск.); *бу'чило, бучи'ло* 'канава с грязью': *Прям бучила, грязь. Заедя машина — и сиди там* (СРГ. Пан.); *бучи'на* 'глубокая яма': *Глиди, ни упади в бучину!* (ДБВ. Тал.). Однако эта версия представляется нам менее убедительной.

Жа'ба: *Какая жаба зялёная!* (ДВД. Лиск.); *Жаба ф погрип забралась* (ПСКВ. Лиск.); *За мной адин рас жаба скакала* (ПСКВ. Лиск.); *Лигушки, жабы — фсе равно* (КРТ. Остр.). У В. И. Даля находим *жаба* в значениях 'гад рода лягушек; бо-

родавчаты, вонючи, соки острые' и 'лягушка' (юж.)²¹. Слово *жаба* в последнем значении встречается также в русских говорах (самар., дон., курск.)²². Сама лексема *жаба* является общеславянской, унаследованной из праславянского (**gēbā*)²³ и имеет соответствия в германских и балтийских языках; при этом «животное названо так, вероятно, по большому размеру рта»²⁴; ср. русское диалектное *жаба* 'рот, пасть' (олон., волог., вят., Киров.)²⁵. Номинация *жаба* в значении 'лягушка' появилась путём метафорического переноса на основании сходства двух земноводных. Ср.: в литературном языке *жаба* — «земноводное бесхвостое животное с бородавчатой слизистой кожей, сходное с лягушкой»²⁶; ср. также польское *żaba* 'лягушка'²⁷.

Квакушка: *Квакушки на балоти вечирам квакають* (ПТР. Пан.; СР.ИКР. Лиск.); **квакалка:** *Раньше мы ходили на Дон квакалак слушать* (ПТР. Пан.; МНС. Богуч.). Данные названия связаны с глаголом *квакать* «кричать *ква-ква*, говорится об утках и других птицах, о лягушках и пр.»²⁸; как видно, этот глагол имеет звукоподражательное происхождение. Ср. также польское *kwakać* 'об утке: подавать голос'²⁹.

Лавра'ки: *Лягушки, или лавра'ки* (ПТР. Пан.; КРС.ФЛТ. Петр.). Слово имеет затемнённую этимологию. Возможно, оно имеет звукоподражательный характер или связано с лексемой *лавр* (по общему признаку зелёного цвета).

Самец лягушки называется **гуре'в** (мн. *гуря'вы*): *Раздулся, как гуреф! Гуреф зялёный был, паласатый* (МЧТ. Аннин.). Происхождение данного номена можно связать со звукоподражанием; ср. бытующее в воронежских говорах *гур-гур-гур* 'звуки, издаваемые голубями': *Голуби-та гуркують: гур-гур-гур* (ДНС. Россош.).

Как видим, многие названия лягушек предположительно связаны со звукоподражаниями (*бучель, бучень, квакалак, квакушка, лаврак, гурев*), что неудивительно, ведь специфические звуки, которые они издают, — очень характерный для этого животного признак.

Литературному глаголу *квакать* в воронежских говорах соответствует лексема **турча'ть**: *Лягушки вылазиють, турчать* (СУХ.ДНЦ. Богуч.). Это слово, которое отмечается в значении 'журчать' (курск.)³⁰, а также 'свистеть, стрекотать', вероятно, является звукоподражательным³¹. В подтверждение данной версии можно привести также зафиксированный у В. И. Даля глагол *туркать* 'шепаться, шушукать, говорить с уха на ухо' (кур.)³² и бытующие в воронежских говорах слова *турчо'к* 'сверчок' и *турча'ть* 'издавать характерные звуки (о

сверчке)’: *Ну, теперь настала пара — турчки биспристанна турчатъ* (ЗТН. Бутур.); *В доми свярчки турчат, мухи литають* (ШКВ. В.-Хав.).



Жерлянка — бесхвостое земноводное, похожее на лягушку, которое «при опасности показывают яркую предупреждающую окраску нижней стороны тела»³³. Происхождение литературного наименования данного животного связывают с *жерло*, укр. *жорло*, сербохорв. *ждрло*, в.-луж. ‘источник’, которые соотносятся с *жерело*, *горло*³⁴.

Таким образом, мотивировочный признак, положенный в основу названия, связан с особым цветом горла и брюшка.

В воронежских говорах жерлянка называется **гудо’к**: *Какиш-та гутки есть. Ани гудя и жывуть в балоти* (ДРК. Лиск.). В Словаре В. И. Даля *гудеть* ‘издавать гул, урчание, протяжный звук’³⁵. Известно, что жерлянка днём и вечером издаёт характерные крики *унк-унк-унк*.

Детёныш жерлянки именуется **буга’йчик**: *Бугайчики — лигушата, жывот у них красный* (КРС.ЛП. Реп.). Привлечение данных других языков (тур. *buğa*, чагат. *boğa* ‘бык’³⁶, польск. *biahaj* ‘племенной бык’³⁷) даёт основание предположить, что в основу данной номинации было также положено звукоподражание.



Змея — «ползучее, безногое животное разных видов»³⁸, «пресмыкающееся с длинным извивающимся телом, без ног, обычно с ядовитыми зубами»³⁹. Данное слово, имеющее соответствия в других славянских языках, «образовано от *зми* с помощью темы *-а*» и имеет ту же основу, что и *земля*; таким образом, змея — ‘ползающая по земле, земляная’⁴⁰.

В воронежских говорах змея вообще имеет следующие наименования.

Гадю’ка: *Мине нонча чуть гадюка ня укусила!* (ЗЛЖ. Лиск.); *В лясу фсякие гадюки.* (ЧРТ. Рам.); *Гадюк в лясу развялося!* (КЛП. Бутур.). Эта же лексема может обозначать ядовитую змею: *Ани фсякие пароды — я ныни видил гадюку* (БРЩ. Хохол.); *Змия, гадюка, а большая часть назаветь «казюля»* (ДРК. Лиск.). В Словаре В. И. Даля читаем: «*Гадюка*. Змея. Учёные назвали так род *Vipera*, ядовитых змей нашей страны. *V. Berus*,

козулька, гадюка — чёрная, с зубчатой пестриной по хребту; *V. Cherssea, медянка*, с медянистым отливом»⁴¹. В русских говорах слово *гадюка* имеет значения 'змея' (южн., курск., дон., куйбыш., твер., ленингр., новг., великолук.) и 'ядовитая змея' (смол.)⁴². В литературном языке *гадюка* также 'ядовитая змея, распространённая в Европе, Азии, Африке'⁴³.

Козю'ля: *А казюля как зашьпить!* (СМЛ.ВСЛ. Н.-Усм.); *Ух, и баюсь я казюлий!* (ЗТН. Бутур.); *Ляжыть у вярхе каляскаю казюля, а мы бягом ат ней!* (СН.ЛПГ. Нж.-Дев.); *У леся многа разных казюль* (КЧГ. Нж.-Дев.); «*Казюля*» называют: *глядяш, на гароди какая-та длинная и фся ф пятнышках* (ДВЦ. Остр.); *Вьюн — рыба тонкая, ясная, на казюлю пахожа* (ДРК. Лиск.). Данное слово в воронежских говорах может обозначать также определённый вид змеи, предположительно, ядовитую: *Казюли — ани чёрныя и ядавитыя* (ШСТ. Бобр.); а также ужа: *Казюль у нас ни баятца* (Н.ХРН.ВСЛ. Пан.). В Словаре В. И. Даля *казюля* 'змея, ползучий гад' (юж., кал., орл.)⁴⁴; в русских говорах это 'змея, гадюка' (тул., калуж., смол., брян., орл., курск., куйбыш., кубан., ставроп., южн., свердл.) или 'уж' (брян.)⁴⁵. Как указывает М. Фасмер, данное название представляет собой, «вероятно, табуированное название от *коза*... жало в этом случае сравнивается с рогами козы»⁴⁶.

Детёныш змеи называется **вы'ползок** (БРВ. Н.-Усм.). В том же значении слово бытует и в других русских говорах (иркут., якут.)⁴⁷. Происхождение его связано с особенностью появления змеёнышей на свет, которые выползают из яиц, отложенных самками. Эта же лексема в воронежских говорах может называть шкурку змеи (КШР. Россош.). В Словаре В. И. Даля также находим номинацию *выползок* в значении 'шкурка насекомого или гада, из которой животное выползло, покинув её, как делают гусенички, змеи'⁴⁸. В русских говорах это 'кожа змеи, наружный покров гусеницы, насекомого, который они сбрасывают во время линяния' (пенз., новг., сарат., казан., свердл., том., иркут., южн.-сиб., исык-кульск.)⁴⁹.

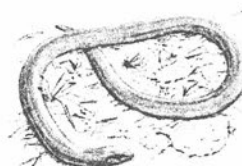
Ещё одно название змеёнышей образовано по словообразовательной модели, которая традиционно используется при номинации детёнышей животных, — **козюля'та**: *На море-окияне, на острове буяне Стоит дуб пиркаמיד. Под тем дубом змея лежит, Кричит, савывая, своих козюлят подкликает* (заговор от укуса змеи)⁵⁰.

Представляется весьма интересным использование в значении 'родить змеёнышей' глагола **ощени'ть** (МЧТ. Бобр.).

Номинации ужа в воронежских говорах представлены словообразовательными вариантами литературного названия: *ужа́к*: *Гадюка* — *лягушка*, *ужак*, *мядянка* (Б.ВРК. Семил.); *ужа́ка* (ХЛВЩ. Липецк.). Самка ужа обозначается как *ужа́чи́ха* (МЧТ. Бобр.).



Ящерица — «небольшое пресмыкающееся, с удлинённым, покрытым мелкой роговой чешуёй телом и длинным хвостом»⁵¹. Данное слово восходит к *ящер*, которое имеет две этимологии: 1) от древнерусского *ско́ра* ‘шкура’ (ср. *ско́рняк*, *ско́рлу́па*): известно, что эти животные линяют и меняют свои шкурки; таким образом, *я-+-щер-+-иц*, то есть первоначально ‘животное, сменяющее кожу, шкуру’; 2) от древнерусского *астр* ‘быстрый’ (ср. *ястреб*); таким образом, *я+*sker(щер)* родственно слову *ско́рый*: известно, что быстрота является одним из отличительных признаков ящерицы⁵². В воронежских говорах зафиксировано слово *я́щерь* ‘род четырёхлапой змейки’⁵³.



Веретеница — «род безногий, похожей на змею ящерицы; медяница»⁵⁴. В исследуемых говорах данное животное имеет такие названия: **веретельница** (удар.?) (БРВ. Н.-Усм.); **веретени́ца**: *Виртяница фост брасая* (В.ММН. В.-Мам.); *Ат-растёт, как хвост у виртяницы* (Р.БЛВ. Павл.); **веретни́ца**: *Гадюка — вирятница, ужака* (ХЛВЩ. Липецк.); **вертени́са**: *Вертениса напошла* (ДРК. Лиск.); **вертени́ца**: *Виртяница хвост свой аставила* (МТР. Эрт.). *Приташишли ш виртяницу домой — на кой ана нужна!* (УСТ.-МРВ. Реп.); *Дети картузом паймали виртяницу* (СТ.ХВРС. Лиск.); *Виртяница — эта у нас бегаить* (СР.КРЧ. Гриб.); *Виртяница быстра бегая* (НЖ.МРН. Лиск.); *Ф поли их многа, виртяниц* (ДРК. Лиск.); *Виртяница ни кусаица* (ЛМВ. Рам.); уменьш.-ласк. **вертени́чка**: *Виртяничка у калюку пабегла* (МЧТ. Бобр.); **веретёнка**: *Веретёнка жыла пат камним* (ГНЛ. Семил.).

У В. И. Даля *веретеница* ‘поваренка или головастик, хвостатый лягушонок’ (ярсл., влд.)⁵⁵. В Словаре Д. Н. Ушакова находим лексему *верете́ница* в значении ‘то же, что медяница’, то есть ‘безногая змеевидная ящерица медного или серого цвета, хрупкая и неядовитая’⁵⁶. В русских говорах *верете́ница* (орл.), *веретени́ца* (курск., тул.) ‘ящерица’, а так-

же 'безногая ящерица-медянка' (тул.)⁵⁷; *веретёнка* 'ящерица' (орл.)⁵⁸. Данное слово имеет соответствия в других славянских языках: укр. *веретениця* 'медяница', чеш. *vřetenice*, польск. *wrzecienica* 'болотная змея', в.-луж. *wrejćeńca* 'медяница', н.-луж. *(w)rješeńca*⁵⁹.

Происхождение названия этой безногой змеевидной ящерицы можно связать с глаголом *вертеть*: известно, что веретеницы «питаются дождевыми червями, которых обычно «выкручивают» из норок, зажав добычу во рту, вытянувшись всем телом и быстро вращаясь вокруг своей оси, за что, вероятно, и получили своё название»⁶⁰. Кроме того, этимологию данной номинации можно также возвести к *веретено*: ухватив червя, ящерица начинает вращаться, как веретено, с тем чтобы выкрутить его из норки. Да и форма этого животного сама по себе напоминает веретено (ср.: выясняя происхождение названия рыбы *веретюльница* 'чоп', В.Т. Коломиец говорит о том, что оно «связано с именем существительным *веретено* (псл. **verteno*) и обусловлено веретенообразной удлинённой формой тела чоба»⁶¹).

Отметим также названия места, где зимуют змеи, ужи, лягушки, — это *нора*: *Змеи, ужы зимують в норах на балотах* (ДРК. Лиск.).

Подводя итоги, укажем, что, как видно, одному литературному названию земноводных и пресмыкающихся соответствует несколько диалектных, что свидетельствует о довольно развитом словотворчестве среди носителей говора. При этом «один и тот же предмет может быть увиден, услышан, воспринят совершенно по-разному»⁶². Так, большинство названий лягушек и жерлянок имеют звукоподражательную основу (*бучель, бучень, гурав, квакалка, квакушка, лаврак; гудок, бугайчик*); номинации змей отражают их внешний вид (*гадюка, козюля*) и характерное действие (*выползок*); названия ящериц — их свойство линять или их быстроту (*ящерь*); номинации веретениц — характерное действие или сходство с веретеном (*веретеница* и все многочисленные варианты этой лексемы). Многие слова имеют общеславянскую основу (*бучель, бучень, веретеница, гадюка, жаба, уж*). Отмечается обилие вариантов (*бучель — бучень; веретельница — веретеница — веретница — вертениса — вертеница — вертеничка — веретёнка; гада — гадюка; квакушка — квакалка; ужак — ужака*), что объясняется устной формой бытования языка диалектов.

Как видно, названия земноводных и пресмыкающихся в воронежских говорах представляют собой группу слов, весьма интересную в лингвистическом плане.

Список условных сокращений названий сёл и районов

Б.ВРК. — Большая Верейка, БРВ. — Боровое, БРЩ. — Борщёво, В.ММН. — Верхний Мамон, ГНЛ. — Гнилуша, ГРЖ. — Горожанка, ДБВ. — Дубовый, ДВД. — Давыдовка, ДВЦ. — Девица, ДНС. — Донской, ДРК. — Дракино, ЗЛЖ. — Залужное, ЗТН. — Затон, КЛП. — Клёповка, КПН. — Копанище, КРС.ЛП. — Краснолипые, КРС.ФЛТ. — Краснофлотское, КРТ. — Коротояк, КЧГ. — Кучугуры, КШР. — Каширское, ЛМВ. — Ломово, МНС. — Монастырщина, МТР. — Матрёнки, МЧТ. — Мечётка, Н.ВСКР. — Нововоскресеновка, Н.ХРН.ВСЛ. — Новохреновские Выселки, НЖ.МРН. — Нижнее Марьино, ПСКВ. — Песковатка, ПТР. — Петровское, Р.БЛВ. — Русская Буйловка, РГЧ. — Рогачёвка, СЛВ. — Селявное, СМЛ.ВСЛ. — Семилукские Выселки, СН.ЛПГ. — Синие Липяги, СР.ИКР. — Средний Икорец, СР.КРЧ. — Средний Карачан, СРГ. — Сергеевка, СТ.ХВРС. — Старая Хворостань, СТДК. — Студёнки, СУХ.ДНЦ. — Сухой Донец, УСТ.-МРВ. — Усть-Муравлянка, ХЛВЩ. — Хлевищи, ЧРТ. — Чертовицкое, ШКВ. — Шукавка, ШСТ. — Шестаково; Бобр. — Бобровский, Богуч. — Богучарский, Борис. — Борисоглебский, Бутур. — Бутурлиновский, В.-Мам. — Верхнемамонский, В.-Хав. — Верхнехавский, Гриб. — Грибановский, Липецк. — Липецкая область, Лиск. — Лискинский, Н.-Усм. — Новоусманский, Нж.-Дев. — Нижнедевицкий, Остр. — Острогожский, Павл. — Павловский, Пан. — Панинский, Петр. — Петропавловский, Рам. — Рамонский, Реп. — Репьёвский, Россосн. — Россосанский, Семил. — Семилукский, Тал. — Таловский, Хохол. — Хохольский, Эрт. — Эртильский.

Рисунки животных взяты со следующих интернет-порталов
<http://master-klub.ru/idea/rep/big.php> (лягушка, змея);
http://igz.ilmeny.ac.ru/RED_BOOK (жерлянка, веретеница);
http://prima.by/index.php?cPath=53_57&PHPSESSID=1 (ящерица).

¹ Определитель земноводных по Воронежской области / [сост. А. С. Климов, Е. И. Труфанова]. — Воронеж: Изд-во Воронеж. гос. ун-та, 1998. — 24 с.

² Словарь русского языка: В 4 т. / [гл. ред. А.П. Евгеньева]. — М.: Русский язык, 1981—1984. — С. 608. Далее — МАС.

³ Определитель пресмыкающихся Воронежской области / [сост. А. С. Климов]. — Воронеж: Изд-во Воронеж. гос. ун-та, 1998. — 24 с.

⁴ МАС. — Т. 3. — С. 384.

⁵ *Ожегов С. И.* Словарь русского языка / [под ред. Н. Ю. Шведовой]. — М.: Русский язык, 1989. — С. 474.

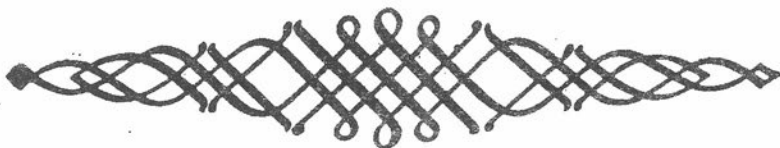
⁶ МАС. — Т. 1. — С. 295.

⁷ *Даль В. И.* Толковый словарь живого великорусского языка: В 4 т. — М.: Русский язык, 1978. — Т. 1. — С. 340.

⁸ *Шанский Н. М.* Краткий этимологический словарь русского языка: пособие для учителя / Н. М. Шанский, В. В. Иванов, Т. В. Шанская. — М.: Учпедгиз, 1961. — С. 72.

- ⁹ Даль. Указ. соч. — Т. 2. — С. 286.
- ¹⁰ МАС. — Т. 1. — С. 212.
- ¹¹ Усачёва В. В. Славянская ихтиологическая терминология : Принципы и способы номинации: Обратный словарь. — М.: Индрик, 2003. — С. 54.
- ¹² Фасмер М. Этимологический словарь русского языка: В 4 т. — М.: Прогресс, 1964—1973. — Т. 2. — С. 549.
- ¹³ Даль В. И. Указ. соч. — Т. 2. — С. 285.
- ¹⁴ Даль В. И. Указ. соч. — Т. 1. — С. 147.
- ¹⁵ Pustrowany słownik języka polskiego / [pod red. E. Sobol]. — Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2004. — S. 87.
- ¹⁶ Фасмер М. Указ. соч. — Т. 1. — С. 256.
- ¹⁷ Фасмер М. Указ. соч. — Т. 1. — С. 236.
- ¹⁸ Словарь русских народных говоров / [гл. ред. Ф. П. Филин, Ф. П. Сороколетов]. — М.; Л.; СПб.; Наука, 1965—2006. — Вып. 3. — С. 329. Далее — СРНГ.
- ¹⁹ Pustrowany słownik... — S. 62.
- ²⁰ Фасмер М. Указ. соч. — Т. 1. — С. 256.
- ²¹ Даль В. И. Указ. соч. — Т. 1. — С. 523.
- ²² СРНГ. — Вып. 9. — С. 48.
- ²³ Фасмер М. Указ. соч. — Т. 2. — С. 31.
- ²⁴ Шанский Н. М. Указ. соч. — С. 104.
- ²⁵ СРНГ. — Вып. 9. — С. 48.
- ²⁶ МАС. — Т. 1. — С. 469.
- ²⁷ Pustrowany słownik... — S. 1152.
- ²⁸ Даль В. И. Указ. соч. — Т. 2. — С. 102.
- ²⁹ Pustrowany słownik... — S. 377.
- ³⁰ Даль В. И. Указ. соч. — Т. 4.
- ³¹ Фасмер М. Указ. соч. — Т. 4. — С. 126.
- ³² Там же.
- ³³ Большой энциклопедический словарь: В 2 т. / [гл. ред. А. М. Прохоров]. — М.: Советская энциклопедия, 1991. — Т. 1. — С. 435.
- ³⁴ Фасмер М. Указ. соч. — Т. 2. — С. 49.
- ³⁵ Даль В. И. Указ. соч. — Т. 1. — С. 405.
- ³⁶ СРНГ. — Вып. 3. — С. 236.
- ³⁷ Pustrowany słownik... — S. 88.
- ³⁸ Даль В. И. Указ. соч. — Т. 1. — С. 686.
- ³⁹ МАС. — Т. 1. — С. 615.
- ⁴⁰ Шанский Н. М. Указ. соч. — С. 120.
- ⁴¹ Даль В. И. Указ. соч. — Т. 1. — С. 340.
- ⁴² СРНГ. — Вып. 6. — С. 93.
- ⁴³ МАС. — Т. 1. — С. 296.
- ⁴⁴ Даль В. И. Указ. соч. — Т. 2. — С. 132.
- ⁴⁵ СРНГ. — Вып. 14. — С. 80.
- ⁴⁶ Фасмер М. Указ. соч. — Т. 2. — С. 279.
- ⁴⁷ СРНГ. — Вып. 5. — С. 330.
- ⁴⁸ Даль В. И. Указ. соч. — Т. 1. — С. 305.
- ⁴⁹ СРНГ. — Вып. 5. — С. 330.
- ⁵⁰ СРНГ. — Вып. 14. — С. 81.
- ⁵¹ МАС. — Т. 4. — С. 787.

- ⁵² *Шанский Н. М.* Указ. соч. — С. 392.
- ⁵³ *Даль В. И.* Указ. соч. — Т. 4. — С. 683.
- ⁵⁴ МАС. — Т. 1. — С. 150.
- ⁵⁵ *Даль В. И.* Указ. соч. — Т. 1. — С. 183.
- ⁵⁶ Толковый словарь русского языка / [под ред. Д. Н. Ушакова]: В 4 т. — М., 1935—1940. — Т. 1. — С. 250; Т. 2. — С. 171.
- ⁵⁷ СРНГ. — Вып. 4. — С. 151.
- ⁵⁸ Там же. — С. 136.
- ⁵⁹ *Фасмер М.* Указ. соч. — Т. 1. — С. 297.
- ⁶⁰ Определитель пресмыкающихся... — С. 8.
- ⁶¹ *Коломиец В. Т.* Происхождение общеславянских названий рыб : К IX Международному съезду славистов. — Киев: Наукова думка, 1983. — С. 17.
- ⁶² *Усачёва.* Указ. соч. — С. 137.



ИЗ МИНУВШЕГО: ВОСПОМИНАНИЯ, ПУБЛИКАЦИИ, СООБЩЕНИЯ

ИЗ ПИСЕМ А. В. ДРУЖИНИНА*

Публикация и комментарий Н. Б. Алдониной

14

А. В. Дружинин — Е. Н. Ахматовой
[9 ноября 1850 г. — 12 января 1851 г., Петербург]

Будьте покойны, Лизавета Николаевна, корректуры целы и пропущены, я сейчас за ними съезжу и перешлю Вам. Вревский их уже отдал в канцелярию, и там только нужно сделать надпись, что со стороны их нет препятствий. Это дело одной минуты.

Весь Ваш

А. Дружинин

На обороте следующего листа: Ее высокоблагородию Лизавете Николаевне Ахматовой.

РО ИРЛИ. Ф. 583. № 38. Лл. 118, 119 об. 18 писем А. В. Дружинина к сотруднице «Библиотеки для чтения» Е. Н. Ахматовой (1820—1904) напечатаны ею в статье: Знакомство с А. В. Дружининым // Рус. мысль. 1891. № 12. С. 117—147). Публикуемое письмо сохранилось в архиве А. В. Старчевского среди писем к нему Дружинина, переплетенных в особый том. Датируется на основании содержания.

...корректуры целы и пропущены... — О корректурах какого произведения идет речь, неясно. В конце 1850 — начале 1851 гг. в «Библиотеке для чтения» были опубликованы две повести Дружинина — посвященный Е. Н. Ахматовой «Петергофский фонтан» (1850. Т. 104. № 12. Отд. I. С. 53—112) и «Прошлогодний рассказ» (1851. Т. 105. № 1. Отд. I. С. 25—68). Таким образом, письмо могло быть написано между 9.11.50 г. (ценз. разр. № 11 «Библиотеки для чтения» за 1850 г.) и 12.01.51 г. (ценз. разр. № 1 журнала за 1851 г.).

Вревский их уже отдал в канцелярию... — Генерал-майор П. А. Вревский — начальник канцелярии Военного министерства, в которой Дружинин служил с 15.02.46 по 21.01.51 гг.

* Начало публикации см.: Филологические записки. 2006. Вып 25; 2007. Вып. 26.

А. В. Дружинин — М. А. Ливенцову

С. Петербург 23 октября [1851 г.]

Добрейший и любезнейший Михаил Алексеевич, я хотел было, приехав в Петербург, дожидаться письма от Вас, но решился писать первый, во-первых, потому что воспоминание о приятных минутах, с Вами проведенных, слишком живо в моей памяти и мне не хочется, чтоб вы забыли меня, а, кроме того, я должен еще уведомить вас насчет письма, мне порученного при отъезде. Батюшки вашего нет в Петербурге, он уехал в Чернигов и, кажется, надолго, а я почел неловким пересылать это письмо через штаб. Мне приятно было бы познакомиться с ним лично и при случае передать ему то, о чем Вы мне говорили по поводу Вашей службы, и потому-то я думаю подождать его возвращения, если оно будет скоро. Впрочем, так как письмо у меня, то я с ним поступлю по Вашему указанию.

В свободную минуту уведомьте меня, как окончилось Ваше лечение, хорошо ли Вы зажили в Тифлисе, чем кончилась экспедиция моего достопочтенного князя Эристова, чуть было не увлекшего меня на борьбу с Шамилем, и не случилось ли в Закавказье чего-нибудь скандального, я разумею скандалы частные, а не служебные. Как идет Ваша работа, двигается ли вперед ряд кавказских повестей, и верны ли Вы Вашей решимости работать яростно и неотступно, решимости, без которой никому нет успеха. Если бы вы поглядели, какой здесь недостаток в материалах, сколько журналистов топчется у меня повседневно, вас бы обуяла охота к работе, и вы были бы увереннее в своих силах.

О кавказских водах, тамошних носорогах и моей ленивой, беззаботной жизни за эти летние месяцы я вспоминаю с истинным удовольствием. Я отдохнул за четыре года вперед, и обычные труды, обычные удовольствия кажутся мне вкуснее прежнего. Я готов был плакать при представлении «Гугенотов», и все женщины кажутся мне хорошенькими. А, кстати, знаете ли, что мое возвращение с Кавказа ознаменовано было наисвирейшим волокитством, которое после нескольких месяцев отдыха подействовало на меня чудесным образом. Вся дорогу я был весел до бессовестности, забавлялся с моими носорогами и ухаживал за m-me Блумберг, в которой очень много преоригинальных и милых качеств. Ее так избаловали на водах, что единственный способ ухаживанья за ней заключался в том, чтоб ее поддразнивать и даже сердить немножко. У нас были бесконечные споры, ссоры и беседы, приводившие в отчаяние носорогов, а между тем кавказские степи, Войско Донское, Воронеж и Тула миновали незаметно, а в Москве мы расстались до ноября месяца. Здесь я нашел все в порядке, родные мои здоровы, даже к ним присо-

единилась только что родившаяся племянница во образе гриба-подосиновика, от которой родители в восторге, как от ангела. Я ее еще не видал и не желаю видеть до совершеннолетия. Из лучших моих друзей некоторые семейства уехали на время из Петербурга, особенно молодые дамы так и эмигрируют за границу, благо для них не существует запрещения. Вечера два в неделю у меня пока священны, и я посвящаю их чтению всякой дряни на всех языках, чтоб снова пойти вровень с девятнадцатым столетием. Какая разница с спокойной кавказской жизнью! Лови все на лету, метайся во все стороны, веселись второпях, работай на скорую руку, то и дело гляди на часы, сходишь с сотней народа в одни сутки. Скоро ли придет лето и с ним новое шатание по России! Будьте здоровы, любезнейший Михаил Алексеич, пишите ко мне обо всем, всякое известие от Вас будет для меня приятным событием. Письмо сие довольно бесполое, но я загустил свою корреспонденцию и еще не выучился писать с прежней быстротою. От всей души целую Вас и желаю Вам всего лучшего.

Душевно преданный Вам

А. Дружинин

Пьесу Ахундова я ставлю на домашнем театре, только она переведена безграмотно.

РО ИРЛИ. № 9727. Лл. 1—2 об. Год определяется по содержанию.

...воспоминание о приятных минутах, с Вами проведенных... — Весной — осенью 1851 г. Дружинин совершил поездку на Кавказ, где познакомился с военным и начинающим писателем М. А. Ливенцовым (1824—1896), с которым у него сложились дружеские отношения.

...я хотел было, приехав в Петербург... — Дружинин вернулся в Петербург в первой половине (около 14 числа) октября 1851 г.

Батюшки вашего нет в Петербурге... — Речь идет о генерал-майоре А. М. Ливенцове.

...тамошних носорогах... — Так Дружинин именует своих дорожных спутников.

...экспедиция моего достопочтенного князя Эрстова... — Возможно, в виду имеется грузинский поэт, драматург, этнограф Р. Д. Эрстов (1824—1901).

...на борьбу с Шамилем... — Шамиль (1797—1871) — вождь горцев Дагестана и Чечни в их борьбе за независимость.

...плакать при представлении «Гугенотов»... — Речь идет об опере в 5 действиях Д. Мейербера (1791—1864).

Всю дорогу я... ухаживал за т-те Блумберг... — В виду имеется знакомая Дружинина по Кавказу жена финансиста А. Г. Блумберга Юлия Викторовна. Вместе с супругами Блумберг Дружинин возвращался с Кавказа до Москвы. История этой поездки воспроизведена

им в рассказе «Певвица» («Современник». 1851. Т. 30. № 12. Отд. I. С. 131—170), в котором муж и жена Блумберги выведены в образах Софьи Осиповны и Льва Кирилыча ***ских. Ю. Блумберг посвящена одна из черновых редакций повести «Легенда о кислых водах» (РГАЛИ. Ф. 167. Оп. 3. Ед. хр. 53. Л. 5). Она же является прототипом Лидии Антоновны («Легенда о кислых водах»), Софи Дальберг (первоначальная редакция «Странного романа, или Приключений, знакомств, радостей, бедствий, странствований друзей Ивана Чернокнижникова») и Нины Александровны К. (окончательная редакция «Странного романа...»).

...только что родившаяся племянница... — Речь идет о дочери Г. В. Дружинина, старшего брата писателя, Марии (22.08.51 — около 22).04.59).

Пьесу Ахундова я ставлю на домашнем театре... — В виду имеется комедия выдающегося классика азербайджанской литературы М. Ф. Ахундова (1812—1878) «Мусье Жордан, ученый ботаник, и дервиш Масталишах, знаменитый колдун» (1850). Пьеса была опубликована в тифлисской газете «Кавказ» (1851. № 15, 23 февраля; № 16, 27 февраля; № 17, 5 марта). Дружинин познакомился с ней в Пятигорске летом 1851 г. О том, что писатель выступал в качестве режиссера, ставящего пьесу Ахундова, до сих пор не было известно.

...она переведена безграмотно. — На русский язык комедия была переведена М. Ф. Ахундовым.

16

А. В. Дружинин — М. А. Ливенцову

Января 18 [1852 г.]. СПб.

Я получил повесть Вашу, любезнейший Михаил Алексеевич, перечитал, с удовольствием, заметил в Вас присутствие таланта и отправил «Маркиза» к редактору «Библиотеки для чтения», ибо в «Современнике» места уже заняты впредь месяца на два. Опасаюсь только, чтоб произведение Ваше не погибло в цензуре, крайне взыскательной там, где идет речь о неверности замужних женщин и о волокитстве. Вообще теперь в своих произведениях надо быть строго нравственным и смягчать все грустные подробности женатой жизни, что не мешает, однако, петербургским женщинам ставить своим мужьям рога так же, как до этого времени.

Если повесть Ваша пройдет, я заранее прошу Вашего разрешения не выставлять под ней Вашего имени. Вы просили меня быть откровенным, и я буду правдив, потому что в этом деле всякая излишняя щекотливость вредна. Ваша повесть есть не что иное, как шалость человека умного, наблюдательного и отлично владеющего русским языком, она вся держится на милых подробностях, основание рассказа бедно и не полюбится большинству читателей. Есть

длинноты, но, так как они происходят от богатства вашего воображения, они как бы служат залогом того, что вы можете сделать впоследствии. К кавказским рассказам приступайте смело, вы готовы для этого рода, своим интересом и новостью завлекающего каждого из читателей, — но и к роду юмористическому и гоголевскому вы можете подступить только тогда, когда дарование Ваше выработается и ясно определится.

Я знаю, что первое ободрение и успех много значат, но честно ручаюсь Вам, что дружеское и искреннее указание Ваших недостатков не будет Вам вредно. Если вы способны упасть духом после первой работы и не развивать своего таланта, значит, в Вас нет истинного призвания к искусству. Один тяжелый и неотступный труд формирует литераторов, и, если иногда успех дается слишком легко, за ним следует цепь огорчений. Я не могу без ужаса читать многих из произведений моих первых годов именно потому, что у меня не нашлось человека, который бы указал мне те гнусные страницы, которые следовало бы исключить. Первый успех, действительно, дает на время охоту к деятельности, но охоту фальшивую и которая не длится долго, и самая похвала тогда только кажется сладкою, если она, так сказать, завоевана с усилием. Из наших лучших беллетристов все, без исключения, люди чрезмерно трудолюбивые и копающиеся над своими произведениями: Гончаров начал печатать, когда ему стукнуло тридцать пять, а до тех пор все писал и переписывал; Григорович до такой степени перечеркивает свои вещи, что их невозможно читать в рукописи; когда Сенковский работает, он болен и никуда не выходит из дома. Мы с вами самые юные из всех почти пишущих особ, это обстоятельство должно указать Вам, что перед Вами много времени. Трудитесь же, ради Бога, и верьте в свой талант, — я буду радоваться в тот день, когда получу от Вас выдержанное и замечательное произведение, а что вы его в силах написать, в этом я убежден без комплиментов и пристрастия. Я возлагаю большие надежды на сцены из грузинской и кавказской жизни, что касается до «Маркиза», то, если он пройдет благополучно цензуру, я вас тотчас же уведомяю.

Благодарю Вас за присылку комедий Ахундова. Одна из них, та, которую я читал в Пятигорске, была уже играна на домашнем спектакле. Ахундова уже похвалили в «Библиотеке для чтения» (зри ноябрь 1851, «Литературная летопись») и еще похвалят в «Современнике» за февраль.

Будьте здоровы, обнимаю Вас.

А. Дружинин

РО ИРЛИ. Ф. 9727. Лл. 1—2 об. Год определяется по содержанию.

Я получил повесть Вашу... — О какой повести идет речь, неясно. Первая повесть М. А. Ливенцова, опубликованная в «Библио-

теке для чтения», — «Михако и Нина. Грузинская идиллия» (1852. Т. 113. № 5. Отд. I. С. 1—64; № 6. Отд. I. С. 65—100). Но в ней нет упоминаний о маркизе, неверности замужних женщин и пр. К тому же повесть подписана фамилией автора.

...отправил «Маркиза» к редактору «Библиотеки для чтения»... — В виду имеется А.В. Старчевский (1818—1901), помогавший О.И.Сенковскому в редактировании журнала.

Благодарю Вас за присылку комедий Ахундова... — М. А. Ливенцов прислал Дружинину экземпляры газеты «Кавказ» за 1851 г., в которых были опубликованы еще две комедии М. Ф. Ахундова — «Молла Ибрагим-Халил, обладатель философского камня» (№ 44, 12 июня; № 45, 15 июня) и «Медведь, победитель разбойника» (№ 83, 30 октября; № 84, 2 ноября; № 86, 9 ноября; № 90, 27 ноября; № 91, 30 ноября).

Одна из них... была уже играна на домашнем спектакле... — См. предыдущее письмо.

Ахундова уже похвалили в «Библиотеке для чтения»... — Дружинин имеет в виду сообщение О. И. Сенковского о готовящейся постановке комедии «Мусье Жордан, ученый ботаник, и дервиш Масталишах, знаменитый колдун». Высоко оценивая «милую, живую, грациозную и оригинальную пьесу», он писал: «Несколько недель назад тому, когда я хлопотал о приобретении какой-нибудь пьесы, поновее и помилее, для одного из домашних спектаклей, один из моих добрых приятелей, только что вернувшийся из странствования по Кавказу (т.е. Дружинин. — Н. А.), выручил меня из затруднения, передав мне три фельетона газеты “Кавказ”, заключающие в себе комедию господина Фет-Али Ахундова. Комитет спектакля, прочитав ее, остался в полном восторге; артисты, узнавши, что в ней действуют карабахцы, начали с нетерпением ожидать репетиций; мужчины запаслись черкесками и кинжалами, дамы принялись примерять перед зеркалом горские шапочки и бешметы; пьеса признана была бесподобной, и я надеюсь, что читатели, познакомясь с ее содержанием, хотя отчасти согласятся с мнением артистов-любителей» (Библиотека для чтения. 1851. Т. 110. № 11. Отд. VI. С. 16).

...еще похвалят в «Современнике» за февраль. — Обещанный отзыв о пьесе М. Ф. Ахундова в февральской книжке «Современника» за 1852 г. не появился, поскольку с января этого года Дружинин перенес «Письма Иногородного подписчика о русской журналистике» в «Библиотеку для чтения» О. И. Сенковского. В обзоре журналистики за март 1852 г. он дает подробный анализ трех комедий М. Ф. Ахундова, опубликованных в 1851 г. в газете «Кавказ». Охарактеризовав пьесы, Дружинин писал: «...лучшая из них: “Ботаник мусье Жордан и дервиш Масталишах, знаменитый колдун” на днях была играна в Петербурге, в одном из домашних спектаклей, и несказанно понравилась, как зрителям, так и любителям-артист-

там» («Библиотека для чтения». 1852. Т. 112. № 4. Отд. VII. С. 214).

17

А. В. Дружинин — М. А. Ливенцову

СПб. 10 авг[уста 1852 г.]

Приехавши на несколько дней в Петербург, любезнейший Михаил Алексеевич, я обрадован был вашим письмом и вместе с тем раздосадован на редакцию «Библ[иотеки] для чтения» и ее в высшей степени невежливым поступком с Вами. Что вы получите ваши деньги, в том нет сомнения, но следовало обделать это дело так, чтоб избежать задержек. Я поехал к Старчевскому, выразил ему все свое неудовольствие и получил от него обещание, что Вы будете удовлетворены при первом расчете. Но я покидаю Петербург через три дни, а эти господа, постоянно запутанные в делах, вечно неак[к]уратны с сотрудниками, проживающими далеко. На этот конец прилагаю здесь записку на ваше имя, если будете писать к Старчевскому, приложите ее к вашему письму как доказательство того, что я не оставлю редакцию в покое до уплаты. Некрасов в этих делах внимательнее, но он ленив на чтение рукописей, и я боюсь, чтоб он не задержал долго ваших. Впрочем, попытайтесь: ваш талант и интерес ваших статей всеми уважаются.

Насчет переделок не могу ничего сказать, потому что не читал второй половины «Идиллии», но в этом деле редакция не так виновата. Иногда цензор требует, что *такой-то герой был и обвенчан*, чтоб вместо *плачевного окончания вышло хорошее*, все это делается второпях; авторы, не желая терять денег и труда, сами портят свои статьи, если их нет налицо, за них трудится редакция. Жаль, что меня не было в городе. Эти *petites misères* литературы очень плачевны, и вот вам объяснение, почему все ныне печатающееся или глупо, или нелепо. Много дряни и много зла на литературной дороге, но что же делать, надо мириться с тем, что есть!

Окончим эти литературные мелочи и потолкуем о нас собственно. Весна и лето были для меня полны приключений, иногда радостных, иногда печальных. Самым грустным событием была смерть одного из моих братьев. Едва несколько облегчилось горестное впечатление потери, наступили хлопоты хозяйственные. Я уехал к себе в деревню, там трудился, хлопотал и, несмотря на то, поправил свое здоровье. Теперь я в Петербурге по случаю крестин сына моего второго брата, исполнив долг крестного отца, я отправлюсь обратно в свое имение и проживу там как случится, может быть, до осени, а может быть, до зимы. Письма адресуйте мне так: Л[ейб]-гв[ардии] в *Московский полк, полковнику Григорию Васильевичу Дружинину*, для передачи такому-то и т.д. Так как мое имение близко [от] Лифляндии, то, может быть, я проведу несколько дней в Ревеле или другом подобном городе.

Что вы подельваете? Здоровы ли? Много ли сделали экспедиций и не провели ли лета в Пятигорске и обворожительном Кисловодске? Не забудьте сообщить мне, переписываетесь ли вы с Ахматовым, я получил от него письмо, ответил и с тех пор более полугода не имею о нем никаких известий. Прекрасный молодой человек и заслуживающий привязанности, но я опасался всегда за его здоровье и теперь не знаю, жив ли он? Весной получил я известие о смерти нашего общего приятеля Дорохова. Переходите скорей с Кавказа, пожалуй, еще вас ранят или схватите где-нибудь лихорадку.

Второй раз приходится мне извиняться за краткость и бестолковость моих писем. Хлопоты меня одолевают. Но, получив от Вас весточку, я настрою Вам из деревни длинное послание. Будьте же здоровы, пишите больше и не забывайте истинно преданного Вам

А. Дружинина

РО ИРЛИ. Ф. 9727. Лл. 11—12 об. Год определяется по содержанию.

Приехавши на несколько дней в Петербург... — Лето 1852 г. Дружинин по обыкновению проводил в своем имении Мариинское Гдовского уезда Санкт-Петербургской (ныне Псковской) губернии.

...я обрадован был вашим письмом... — Данное письмо до нас не дошло.

...невежливым поступком с Вами... — Исполнявший обязанности редактора «Библиотеки для чтения» А. В. Старчевский, опубликовав повесть Ливенцова «Михако и Нина. Грузинская идиллия», уклонялся от выдачи ему гонорара.

...записку на ваше имя... — Текст записки приводится ниже.

...второй половины «Идиллии»... — Имеется в виду повесть М. А. Ливенцова «Михако и Нина. Грузинская идиллия».

...petites misères... — небольшие невзгоды (фр.).

...смерть одного из моих братьев... — Старший брат Дружинина Андрей Васильевич скончался 7.05.52 г.

...сына моего второго брата... — Речь идет о сыне брата писателя Г. В. Дружинина Александре (7.08.52 — после 1898 г.). В письме к Е. Н. Ахматовой от 5.11. (1852 г.) Дружинин пишет: «Я здоров, лето провел частью в деревне, частью в разъездах по чухонщине и петербургскому краю, являлся на время на дачу брата, где крестил Александра Дружинина № 2, и затем опять уехал в свое Эльдorado...» (Ахматова Е. Н. Указ. соч. С. 141).

...проживу там... может быть, до осени, а, может быть, до зимы... — Дружинин вернулся в Петербург в октябре (до 17-го числа) 1852 г.

...переписываетесь ли вы с Ахматовым... — Речь идет об И. Ф. Ахматове, знакомом Дружинина по Кавказу.

...о смерти нашего общего приятеля Дорохова... — Р. И. Дорохов (1801—1852) — друг А. С. Пушкина и М. Ю. Лермонтова, с которым Дружинин познакомился на Кавказе.

18

А. В. Дружинин — М. А. Ливенцову

СПБ. 10 авг[уста 1852 г.]

Я получил, любезнейший Михаил Алексеич, письмо ваше по поводу расчетов с «Библиотекой для чтения» и побывал у г. Старчевского, который обещал мне тотчас написать Вам и при первых деньгах доставить плату за «Грузинскую идиллию». Замедление я приписываю каким-нибудь временным денежным затруднениям, потому что до сих пор все писатели, трудившиеся для названного журнала, оставались довольны при расчетах. Сверх того самый интерес редакции должен заставить ее дорожить новым и талантливым сотрудником, который, не получая платы, по необходимости перейдет к другому изданию. Потому я надеюсь, что это письмо застанет вас вполне удовлетворенным, что порадует меня, потому что я сам дал вам мысль отдать ваш прекрасный труд господину Старчевскому. Во всяком случае я берусь следить за этим делом и покончить его как следует, во-первых, для того, чтоб изгладить неприятное впечатление, произведенное на вас неаккуратностью редакции, а, во-вторых, затем, чтоб не поселить в мысли отдаленных читателей и сотрудников подозрение в [не]исправности петербургских литераторов.

Душевно преданный Вам

А. Дружинин

РО ИРЛИ. Ф. 9727. Лл. 9—9 об. Год определяется по связи с предыдущим письмом.

19

А. В. Дружинин — С. В. Энгельгардт

Санкт-Петербург 14 мая [1854 г.]

Хорошей новостью, мадам, я начинаю свое письмо: маленький рассказик господина Бибикова очень понравился Краевскому, так же, как и мысль ряда статей о биографиях итальянских художников. «Римский карнавал» будет опубликован в «Санкт-Петербургских ведомостях» не позже следующей недели, и автор хорошо бы сделал, если бы обратился в редакцию, чтобы окончательно зафиксировать свои права сотрудника. Краевский, самый что ни на есть человек пунктуальный, не заставит себя ждать с ответом, и г. Бибиков сможет только этим воспользоваться, начав прямое с ним сотрудничество. Я не посоветую нашему автору войти в *исключе-*

чительное сотрудничество с «Отечественными Записками», но, сохраняя полную независимость по этому поводу, он должен, по крайней мере, в течение нескольких месяцев этому способствовать с постоянством. Как только его имя станет знакомым нашим читателям, он сможет послать статьи в «Современник» и в «Библиотеку [для чтения]» без боязни спешки и небрежного прочтения. В этих переговорах главное заключается в преодолении этой смертельной инерции редакторов, слишком склонных смешивать несознаваемое достоинство с претензией немощности. Многие таланты потеряли напрасно время в ожидании из-за отсутствия внимания и пронзительного взгляда со стороны лиц, которые находятся во главе нашей литературной индустрии. Через несколько месяцев господин Бибиков ничего не будет бояться; он хорошо запущен в дело, — привет и удачи!

Переходя к предмету, который меня касается непосредственно, я должен Вам признаться, мадам, что Ваше последнее письмо сделало мне много хлопот. Не ставя себя в позицию атакуемого и оклеветанного льва, я вижу очень хорошо, что моя последняя экскурсия в Москву, обогатившая меня добрым числом друзей, признательность которых я надеюсь сохранить навсегда, не была непродуктивной относительно недругов, отлично замаскированных и безупречно бессовестных.

Неплохо иметь много врагов, я на это не жалуясь, но было бы желательно, чтоб их неприязнь не переходила в клевету. Таким образом, вот уже, как я полагаю, в восьмой раз я предупрежден от навета и напраслин самых тревожных не только со стороны лиц, которых я уважаю больше всего — Вас или мадам Ростопчиной, которая, я надеюсь, знает меня достаточно хорошо и не имеет необходимости в дополнительной вере, но со стороны женщин и девиц, которых я видел мельком на нескольких вечерах. Это может быть лестно, но это глупо, тем более клевета, мне приписываемая, не должна быть остроумной в их умах. Это остроумие должно походить на эпиграммы, которые импровизируются в конце какого-нибудь провинциального бала местным остряком. Если мне приписывают злоречивый ум, по меньшей мере, это злословие блестящее, оригинальное, способное заставить себя простить своим добрым качеством. В противном случае я требую опровержения самого энергичного и (мысленно) хорошего пинка господам, распространяющих нелепости обо мне и моих друзьях. У меня нет никакого желания походить на какого-нибудь Печорина, бравирующего храбростью в караульном помещении и затем осуждающего своих соседей за их благожелательность. Окажите мне большую услугу, мадам, услугу, которой я никогда не злоупотреблю. В случае подобных кляуз не насмехайтесь над ними, но потихоньку следите, откуда идет эта нить, чтобы узнать главаря этой фабрики гнусностей. Друзья они мои или враги, лица знакомые или незнакомые

мне, которые занимаются сырым материалом? Вот все, что я желаю знать, чтобы воспользоваться этим в октябре месяце. Моя месть будет маленькой и нежной, но я вложу туда чернокнижие. Мы хорошо посмеемся, и мистификаторы будут мистифицированы, в свою очередь. Я люблю эту маленькую дипломатию — это интереснее «Заметок Величественной Двери» («les Notes de la Sublime Porte». — Н. А.).

Григорович — один из людей самых экстравагантных во всем мире, но, поскольку его экстравагантность полна поэзии и молодости, она ему идет. Он не был в Петербурге и туда не поедет, потому что, судя по его последнему письму, которое я получил в начале апреля, общая сумма его собранных капиталов достигает только двух рублей серебром. Цена картин и различных предметов искусства, которые он привез в деревню, могла представлять что-то около трех рублей. Как он смог прибыть в Москву с этой малой суммой, непонятно, почему он покинул свою берлогу — это вопрос, который я не мог, конечно, решить сам. Есть еще один литератор, без вести пропавший, это Тургенев. Чтобы избежать нечто подобного, что могло бы стать роковым для русского искусства, я спешу Вам объявить, мадам, что мой адрес останется прежним и письма, адресованные Капгеру, мне будут вручены неукоснительно или в Петербурге, или в деревне.

Примите уверения в моем самом высоком почтении.

А. Дружинин

РГАЛИ. Ф. 167. Оп. 3. Ед. хр. 277. Лл. 11—12 об. Пер. с фр. Данное письмо помещено в папке, содержащей письма Дружинина на французском языке к неустановленному лицу. Между тем оно обращено к писательнице С.В. Энгельгардт (1828—1894) и представляет собой ответ Дружинина на ее послание к нему от 5.05. (1854 г.) (Письма к А. В. Дружинину (1850—1863). М., 1948. С. 362—363). До сих пор был известен фрагмент одного письма Дружинина к С.В. Энгельгардт — от 24.04 (1854 г.) (Там же. С. 360—361). Публикуемое послание вносит новые нюансы в вопрос об отношениях обоих корреспондентов.

...маленький рассказик господина Бибикова... — М. П. Бибиков (1812—1856) — писатель и художник-дилетант.

Ваше последнее письмо наделало мне много хлопот... — В письме к Дружинину от 5.05. (1854 г.) С. В. Энгельгардт сообщала: «Не смотря на свою привязанность к родному городу, я должна признать, что в нем процветают сплетни... Ввиду того, что Вам принадлежит инициатива в этой области, я могу Вам сказать, что я уже имела случай играть роль Вашего адвоката еще до того, как Вы

меня предупредили о приписываемом Вам не особенно лестном для меня мнении обо мне и о всех прочих» (Там же. С. 363).

...*моя последняя экскурсия в Москву...* — Дружинин выехал из Петербурга в Москву 10.03.54 г. и вернулся из поездки 31.03.54 г.

...*которое я получила в начале апреля...* — Речь идет о письме Д. В. Григоровича к Дружинину от 25 марта (1854 г.) (Там же. С. 82—83).

...*чтобы воспользоваться этим в октябре месяце.* — Дружинин намеревался приехать в Москву в октябре 1854 г., но эта поездка не состоялась.

...*письма, адресованные Капгеру...* — Г. Г. Капгер — сослуживец Дружинина по лейб-гвардии Финляндскому полку, сын М. И. Капгер, в доме которой писатель снимал квартиру с осени 1852 г. (современный адрес: Санкт-Петербург, Васильевский остров, 7 линия, д. 6).

20

А. В. Дружинин — А. В. Старчевскому

[Февраль 1852 г., Петербург]

Посылаю Вам, почтеннейший Ал[ъ]берт Викентьевич, письмо для апреля. Оно склеено из разных лоскутов, и в нем много говорится о знакомом вам Мирзе — вещь полезная, ибо редакция газеты «Кавказ» может быть нам весьма полезна. Если у вас есть что почитать — пришлите, я все еще плох.

А что «Грузинская идиллия»? Не теряйте времени, чтоб не отбить у ее автора охоты писать. Снесите с ним прямо, ибо я к нему писать не в состоянии. Адрес его:

В Тифлис, в редакцию газеты «Кавказ» для передачи е[го] бл[агородию] Михайлу Алексеевичу Ливенцову.

Если же повесть не нравится, то верните ее скорее, я ее отдам в «Современник».

Весь Ваш
А. Дружинин

Четверг.

На обороте: Е[го] в[ысокоблагородию] Ал[ъ]берту Викентьевичу
Старчевскому,
у Кокушкина моста, дом Вуича.

РО ИРЛИ. Ф. 583. № 38. Лл. 82, 82 об. Год устанавливается на основании содержания.

...*письмо для апреля...* — Речь идет о «Письме Иногороднего подписчика...» за март 1852 г., опубликованном в апрельской книжке «Библиотеки для чтения» за этот же год.

...*о знакомом вам Мирзе...* — В виду имеется М. Ф. Ахундов. См. приведенные выше Дружинина к Ливенцову от 23.10. (1851 г.) и 18.01. (1852 г.).

.. А что «Грузинская идиллия»? — Речь идет о повести М. А. Ливенцова «Михако и Нина. Грузинская идиллия».

... я ее отдам в «Современник»... — Повесть опубликована в журнале «Библиотека для чтения».

21

А. В. Дружинин — А. В. Старчевскому

[Апрель 1852 г., Петербург]

Возвращаю Вам, почтеннейший Ал[ь]берт Викентьевич, второй том «Раута». Разбирать его я нахожу невозможным, потому что глупее книги трудно отыскать, а между тем редакция «Библиотеки [для чтения]» находится в дружеских отношениях с его издателем. Пускай хвалит ее, кто хочет: я в ней нашел хорошего только одно стихотворение Тютчева, все остальные отзываются ерунда! Если есть что другое, я не прочь разбирать по совести.

В начале мая думаю ехать из города, потому я рассчитывал бы покончить с Вами личные счета в конце этого месяца. Письмо к маю доставлю вовремя.

Ливенцов желает знать участь своей повести, и по скольку за лист за нее дают, у него готовится еще несколько вещей. Я вам сообщил его адрес, от вас зависит приобрести себе хорошего сотрудника. Я предчувствую некоторые затруднения по цензуре, но я готов взять на себя смягчать все по назначению цензора, сообщите об этом куда следует.

Если приехал Осип Иванович, передайте ему мое душевное почтение.

Истинно преданный
А. Дружинин.

На обороте: Е[го] в[ысокоблагородию]
Ал[ь]берту Викентьевичу Старчевскому,
у Кокушкина моста, дом Вуича.

РО ИРЛИ. Ф. Ф. 583. № 38. Лл. 81—81 об. Год определяется по содержанию.

...второй том «Раута»... — Речь идет о втором выпуске сборника «Раут», изданном в 1852 г. Н. В. Сушковым.

...только одно стихотворение Тютчева... — В «Рауте» были опубликованы следующие стихотворения Ф. И. Тютчева: «Ночь в дороге» («Не остывшая от зною...») (1851), «Волна и дума» (1851), «Kennst du das Land? (Из Гете)» (1851), «Первый лист» (1851) и «Графине Е. П. Ростопчиной (в ответ на ее письмо)» (1850). Дружинин не называет понравившееся ему произведение, но, без сомнения, речь идет о стихотворении «Ночь в дороге». Впоследствии критик дважды полностью приведет его — в рецензии на сборник «Стихотворения Я. П. Полонского» 1855 г. («Современник». 1855.

Т. 54. № 11. Отд. III. С. 4) и статье «Стихотворения Аполлона Майкова» (*Дружинин А. В.* Собрание сочинений: В 8 т. СПб., 1865. Т. 7. С. 497).

Письмо к маю доставляю вовремя... — В виду имеется «Письмо Иногороднего подписчика о русской журналистике» за апрель 1852 г., опубликованное в майской книжке «Библиотеки для чтения» за этот же год.

Ливенцов желает знать участь своей повести... — Речь идет о повести «Михака и Нина. Грузинская повесть». См. примечание к предыдущему письму и к письму М. А. Ливенцова от 10.08. (1852 г.).

Если приехал Осип Иванович... — Имеется в виду О. И. Сенковский (1800—1858) — писатель, журналист, ученый-востоковед, редактор «Библиотеки для чтения».

22

А. В. Дружинин — А. В. Старчевскому

[31 октября 1856 г., Петербург]
Confidentielle

Добрый и почтеннейший Ал[ь]берт Викентьевич, Вы когда-то просили меня сообщать Вам мои замечания о «Сыне отечества» для пользы обоюдной и ради согласия между изданиями. Мне горестно начать мои замечания с известия не очень приятного. Вчера я был у Панаева и застал там многочисленную компанию лучших наших товарищей по литературе, с великим смехом читавших ту статью «С[ына] о[течества]», где разбираются последние книжки «Современника» и «Биб[лиотеки] д[ля] ч[тения]». Я сам не мог не смеяться, слушая, как Крабб в ней назван дрянным поэтом, Кольридж тоже, Маколей тоже, Гончаров произведен в подражатели Поль де Кока, а Тургенев осужден свысока за «Фауста», одну из лучших его вещей. Но отзыв об Анненкове, который будто бы не достоин зваться другом Белинского, заставил нас еще более смеяться. Если позволено остричь по этому случаю, то я бы сказал, что ваша рецензия действительно обратила на себя внимание литераторов. Едва ли только это внимание может принести пользу «С[ыну] о[течества]». Ни «Современник», ни «Библ[иотека]» отвечать на статью не станут, но и я, и Панаев долгом считаем сообщить Вам наше о ней мнение. Если это труд начинающего писателя, то предостерегите его по-дружески — невыгодно ссориться с людьми, которых публика, а toute sa raison, считает порядочными деятелями. Особенно отзыв об Анненкове не только забавен, но неприличен.

Извините меня за откровенность и верьте добрым моим намерениям.

Преданный Вам
А. Дружинин

31 окт[ября].

РО ИРЛИ. Ф. 538. № 38. Лл. 60—60 об. Год определяется по содержанию.

Confidentielle — конфиденциальное (фр.).

...ради согласия между изданиями... — Осенью 1856 г. Дружинин был утвержден в качестве главного редактора журнала «Библиотека для чтения».

Вчера я был у Панаева... — 31.10.56 г. Дружинин записал в «Дневнике»: «Вчера был обед у Панаева, с питием за мое здоровье и чувствительными речами. Видел там Анненкова, Языкова и Бекетова, сообщавшего любопытные новости по своему ведомству» (397).

...читавших статью «С[ына] отчества»... — В виду имеется анонимное обозрение «Журналы и газеты», опубликованное в редактируемом А.В. Старчевским журнале «Сын отчества» (1856. № 30. 28 октября. С. 76—78). Автором обозрения являлся В. Р. Зотов (1821—1896).

Крабб в ней назван дрянным поэтом, Кольридж тоже... — Анализируя статью Дружинина «Метель». «Два гусара». Повести графа Л. Н. Толстого» («Библиотека для чтения». 1856. Т. 139. № 9. Отд. V. С. 1—30), содержащую изложение его теории «свободного творчества», В. Зотов писал: «Не смешно ли видеть, что, исчисляя писателей, разделяющих теорию свободного творчества (все-таки не объясненную и не развитую), рецензент ставит рядом следующие имена: Шиллера, Гете, Крабба, Вордсворта и Кольриджа, называя их “вождями и решителями литературных дел (?), поэтами высочайшего значения”. Шиллер — мечтательный лирик и субъективный поэт подле универсального Гете, — представителя объективности в литературе! Сладенький и скучный Крабб, водянистый Вордсворт, приторный Кольридж — поэты высочайшего значения, наряду с Шиллером и Гете!! Вот уж это настоящее “свободное творчество”, не признающее никаких законов эстетики и здравых литературных понятий, давно всеми принятых и утвержденных» («Сын отчества». 1856. № 30. 28 октября. С. 78).

Маколей тоже... — Анализируя сентябрьскую книжку «Современника» за 1856 г., В. Р. Зотов пишет: «К чему также было помещать статью Маколей: “Английские комики времен реставрации: Уичерлэ и Конгрив”. Не все то, что написал Маколей, пригодно для русских читателей, которые все-таки не узнают из этой статьи, чем были замечательны эти писатели. Маколей рассказывает жизнь и похождения Уичерлэ и Конгрива, не разбирая их произведений, даже не рассказывая содержания, — может быть, потому, что это должно быть известно англичанам, но мы все-таки ничего не узнали из этой статьи, кроме названия пьес этих комиков, а до того, как они жили и кутили, — право, нам нет никакого дела. Нам нужно знать их жизнь с литературной, а вовсе не с биографической стороны, о чем, как кажется, забывают редакции журналов, помещая подобные статьи... Только полное изображение всех сторон деятельности человека может

иметь для нас значение, а этой-то полноты нет ни в одном из очерков Маколея, на которые с такою жадностью бросились теперь почему-то почти все наши журналы» (Там же. С. 77—78).

Гончаров произведен в подражатели Поль де Кока... — Полемизируя с восторженной оценкой в анонимной рецензии на сборник «Для легкого чтения» (автор отзыва — Е. Я. Колбасин) (1856. Т. 139. № 9. Отд. «Литературная летопись». С. 16—31) повести И. А. Гончарова «Иван Саввич Поджабрин», В. Р. Зотов счел ее «не совсем удачным подражанием Поль-де-Коку» («Сын отечества». 1856. № 30. 28 октября. С. 78).

Тургенев осужден свысока за «Фауста»... — Анализируя октябрьскую книжку «Современника» за 1856 г., В. Зотов замечает: «Повесть г. Тургенева “Фауст” слаба, но идет» (Там же. С. 76).

...отзыв об Анненкове, который будто бы не достоин зваться другом Белинского... — О шестой статье из цикла «Очерки гоголевского периода русской литературы» Н. Г. Чернышевского, содержащей изложение деятельности В. Г. Белинского («Современник». 1856. Т. 59. № 9. Отд. III. С. 1—32), В. Р. Зотов пишет: «Но говоря о лицах, разделявших с Белинским честь быть распространителями новых и здравых идей и называя совершенно справедливо в числе их гг. Грановского, Галахова, Каткова, Кудрявцева, Огарева, Тургенева и некоторых других, менее заслуживающих эту честь, рецензент причисляет к ним даже и таких лиц, как г. Анненков» («Сын отечества». 1856. № 30. 28 октября. С. 77).

...a toute sa raison... — находясь в здравом уме (фр.).

23

А. В. Дружинин — П. С. Усову

[Петербург]

Милостивый государь Павел Степанович!

Осужденный сердитыми докторами на долгое сиденье дома, я, между разными работами, набрасываю небольшие полуполитические, полуфельетонные этюды, в которых, как мне кажется, имеется своя доля занимательности. Сначала я их писал в виде замечаний для самого себя, потом мне захотелось придать им полуанекдотическую общедоступность, какой величаются подобные статьи в популярных английских изданиях. О разнообразии статей Вы можете судить по их названиям: «Почему войско Соединенных Штатов оказывается несостоятельным?», «Выгоды и невыгоды Рима как столицы Италии», «Механизм и причудливые особенности великобританского парламента»? «Копеечная пресса (penny press) в разных государствах».

По направлению эти статьи не отличаются от направления Вашего журнала, а потому, если Вы найдете полезным их напечатать, я буду с большим удовольствием доставлять Вам их время от времени.

Извините, что за нездоровьем и запрещением выезжать из дома не могу переговорить с Вами лично. Адрес мой, если сочтете нужным меня уведомить: *в Дмитровском (Хлебном) переулке, доме графини Кушелевой, в бельэтаже*. Лучшее время для меня поутру от 11 до 2 и все вечера, кроме четверга и воскресенья.

Простите, что обеспокоил Вас моей запиской, и прошу принять уверения в совершенном почтении и преданности готового к услугам

А. Дружинина

15 янв[аря] 1862 [г.]

РО ИРЛИ. Ф. 319. № 22. Лл. 1—1 об. Письмо обращено к редактору «Северной пчелы» П. С. Усову (1828—1888).

...если Вы найдете полезным их напечатать... — В «Северной пчеле» в 1862 г. анонимно были опубликованы следующие очерки Дружинина: «Выгодно или невыгодно Италии иметь Рим своею столицею» (№ 20. 21 января. С. 77), «Какие могут быть причины несостоятельности Северных Штатов Америки в военном отношении?» (№ 35. 5 февраля. С. 137—38), «Какое значение имеет для английской литературы и для народного просвещения недавнее уничтожение налога на бумагу (Paper duty)» (№ 78, 21 марта. С. 309—10). Дополнительные аргументы в пользу авторства Дружинина см. в нашей кн.: А. В. Дружинин (1824—1864): Малоизученные проблемы жизни и творчества. Самара, 2005. С. 507—510. Очерк «Причуды и особенности парламента в Лондоне» не был завершен Дружининым и сохранился в его архиве (РГАЛИ. Ф. 167. Оп. 3. Ед. хр. 73. Лл. 1—2).

А. С. Крюков НАСТАВНИК

Я помню год, месяц, число, даже часы нашей первой встречи: 1 сентября 1960 года, вторая половина дня, скорее всего около четырех часов, когда все занятия в университете кончились, корпус был непривычно пуст в этот первый день нового учебного года.

Билеты на ленинградский поезд удалось достать с большим трудом, да и тот приходил в середине дня. Поэтому я пропустил свои первые университетские занятия, но решил непременно зайти на факультет, чтобы узнать расписание. Отыскав в малознакомом еще здании (это потом оно станет родным и близким) кабинет классической филологии, я робко открыл дверь и, поздоровавшись, начал что-то лепетать о поезде, занятиях, расписании.

В кабинете находились двое: женщина средних лет (как оказалось лаборант кафедры милейшая Ольга Самойловна) и странный, необыкновенно подвижный человек, показавшийся мне тогда достаточно строгим и достаточно старым. Я еще ничего не успел рассказать и спросить, как этот человек, приблизившись ко мне, вытянул в мою сторону указательный перст и не без пафоса произнес: «Вот он, Крюков, пятый!».

Передо мною стоял кругленький, круглоголовый, уже в возрасте человек (как выяснилось чуть позже, заведующий кафедрой классической филологии Аристид Иванович Доватур) и, не опуская указующе-осуждающий перст, строго сообщал, что все мои однокурсники в количестве четырех человек на занятиях по греческому языку присутствовали.

— «А Вы? Где были Вы?»

Я кратко изложил свою железнодорожную эпопею и тут же был прощен. Осуждающий перст опущен. По указанию Аристида Ивановича мне был тотчас выдан учебник древнегреческого языка Соболевского и строго наказано учить алфавит, о котором я имел весьма смутное представление, помня со школьных времен лишь четыре буквы: «альфу», «омегу», знаменитую «пи» и почему-то «дельту». На этом мои познания в греческой азбуке заканчивались.

Аристид Иванович весьма сурово, но в глазах я заметил лукавство, предупредил, что если я не освою греческую азбуку, меня непременно покарает Зевс. И тут его указующий перст для убедительности оборотился на Зевса. Лишь тогда я заметил, что четвертым, кроме меня, лицом в кабинете был большой бюст Зевса, стоявший в простенке между окон и как будто обративший на меня внимание.

Познакомив, таким образом, меня со всеми присутствующими, Аристид Иванович открыл портфель, который был не намного моложе своего хозяина, и протянул мне книгу: «Это Вам! У нас

такая традиция, всем, кто поступает к нам на кафедру, я дарю книги».

Впервые в жизни я держал книгу на латинском языке и, честно говоря, не знал, что мне с ней делать. Это была поэма Лукреция «О природе вещей».

«Когда-нибудь dorастете и до Лукреция», — успокоил меня Аристид Иванович. Открыв книгу, он прочитал обращенную ко мне надпись, сделанную четким и аккуратным почерком: «Laboremus! — Давайте работать!». Под надписью стояла дата — 1.09.1960.

С этого дня (тогда я этого не понимал, подобно многим своим однокашникам) началась для меня новая жизнь, освященная вниманием, заботой и любовью нашего нового наставника.

Справедливости ради скажу, что отнюдь не всегда был хорошим учеником, в таких случаях Аристид Иванович грустно замечал: «Друг мой, вы мне не нравитесь»; или еще короче — «Я Вас не люблю».

Непривычно и странно читать о человеке, которого знал почти четверть века, с которым постигал основы греческой грамматики и греческой политической мысли, с которым от первого до последнего стиха прочел «Антигону» Софокла и многих других греческих и латинских писателей, который за день до смерти написал рецензию на мою первую работу по классической древности, и статья была напечатана в академическом журнале благодаря отзыву Аристида Ивановича.

Радостно читать о человеке, который наставлял и поддерживал в самые трудные минуты жизни, с безупречной аккуратностью отвечал на письма (качество, почти утраченное в наше время) и радовался сам полученному письму. Он был столь добрым, простым и (как нам казалось тогда, хотя мы уже многое знали о своем учителе) понятным, что невольно удивляешься, как мог этот человек сохранить в себе все лучшее, чем наградила его природа.

Аристид Иванович умер 17 марта 1982 года. С его смертью ушла эпоха, еще не понятая и не осознанная нами до конца, ушел непередаваемый по наследству дух времени и дух поколения, о котором хорошо написала Марина Цветаева:

До последнего часа
Обращенным к звезде —
Уходящая раса
Спасибо тебе!

Петербургский историк А. Н. Васильев выпустил замечательную книгу: «Аристид Иванович Доватур. Документальное наследие ученого в архиве Санкт-Петербургского филиала Института российской истории РАН» (СПб., 2000). Длинный и обстоятельный подзаголо-

вок не должен смущать, он отвечает нормам академической науки. Читатель получил редкостную для наших дней возможность познакомиться с архивом (точнее с описанием архива) человека, который вошел в отечественную и мировую науку, в историю и литературу XX столетия.

Вошел как автор превосходных работ о греческом поэте и законодателе Солоне, монографиями об отце истории Геродоте и философе Аристотеле, превратив «свой личный жизненный опыт в инструмент исторического исследования».

Вошел как автор блестящей статьи о римском государственном деятеле и писателе Юлии Цезаре, статьи, написанной в советском концлагере, когда в распоряжении автора был только текст Цезаря.

Вошел как первоклассный переводчик греческих и латинских писателей.

Вошел как удивительный наставник и неподражаемый учитель: «Я Вам бесконечно благодарен за Верочку. Привить интерес к греческому языку на первом году обучения может только художник» (Из письма академика Д. С. Лихачева А. И. Доватуру. Верочка — дочь Д. С. Лихачева — А. К.)¹.

Вошел поразительным подвижническим трудом: будучи уволенным из Ленинградского университета и работая в Институте истории, Аристид Иванович с 1971 года до самой смерти — 11 лет — выполнял полную профессорскую нагрузку в Университете *gratis* — безвозмездно и руководил студенческим научным кружком.

Вошел как человек с удивительно цельным мужественным характером и безупречной честью:

«Вот профессор Аристид Иванович Доватур — чем не чудак? Петербуржец, румыно-французского происхождения, классический филолог, отроду и довеку холост и одинок. Оторвали его от Геродота и Цезаря, как кота от мясного, и посадили в лагерь. В душе его все еще — недоистолкованные тексты, и в лагере он — как во сне. Он пропал бы здесь в первую же неделю, но ему покровительствуют врачи, устроили на завидную должность медстатистика, а еще раза два в месяц не без пользы для лагерных свеженабранных фельдшеров поручают Доватуру читать им лекции! Это в лагере-то — по латыни! Аристид Иванович становится к маленькой досочке — и сияет как в лучшие университетские годы. Он выписывает странные столбики спряжений, никогда не маячившие перед глазами туземцев, и от звуков крошащегося мела сердце его сладострастно стучит. Он так тихо, так хорошо устроен — но гремит беда и над его головой: начальник лагеря усмотрел в нем редкость — честного человека. И назначает ... завпеком (заведующим пекарней)! Самая заманчивая из лагерных должностей! Завпеком — завжизнью! Телами и душами лагерников изостлан путь к этой должности, но немногие дошли. А тут должность сваливается с небес

— Доватур же раздавлен ею. Неделю он ходит как приговоренный к смерти, еще не приняв пекарни. Он умоляет начальника пощадить его и оставить жить, иметь нестесненный дух и латинские спряжения! И приходит помилование: на завпека назначен очередной жулик» (А. Солженицын. Архипелаг ГУЛАГ. Глава 18. Музы в ГУЛАГе).

Трудно представить, о чем думал, как чувствовал себя Аристид Иванович, отказываясь от хлебной должности завпека. Может быть об отце, расстрелянном чекистами, о матери, которой он строго запретил навещать его в лагере, чтобы не волновать ее напрасно; о своих учителях — академиках С. А. Жебелеве и И. И. Толстом, о М. Е. Сергеенко и Я. М. Боровском, которые отоживались с ним переписываясь и даже отправляли книги ссыльному другу. Об этом в книге А. Н. Васильева ничего нет, но есть документы, позволяющие уточнить текст А. Солженицына.

Итак, «петербуржец, румыно-французского происхождения». На первый взгляд звучит несколько странно, но, по сути, совершенно верно.

Сам Аристид Иванович с любовью вспоминал о своем родном городке Рени в Бессарабской губернии, где он родился 5 ноября 1897 года. Семья была многонациональной и многоязычной: «в доме говорили по-французски или по-румынски, греческий язык служил тайным языком взрослых»; русским пользовались реже. Аристид Иванович с юмором рассказывал о возникших в семье «лингвистических конфликтах». Однажды он услышал, как мама и тетя Лукреция спорили, решая как правильно написать письмо по-русски: «Мы встретили на улице Вашего папа... нет, нет: Ваш папа или Вашу папу?». После некоторой паузы Аристид услышал возглас: «Лукреция, я знаю: «Мы встретили на улице Вашему папу». Взрослые так ничего не решили и обратились за консультацией к юному Аристиду.

Жизнь семьи обретает историческую значимость, ее судьба — одна из трагических страниц еще не написанной истории отечественной интеллигенции XX столетия. Вспомним «Белую гвардию» Михаила Булгакова: «Мать сказала детям: «Живите». А им придется мучиться и умирать!».

После Рени Аристид Иванович попадает в Варшаву, где служил его отец, и продолжает образование в Первой русской гимназии. К знакомым с детства французскому, румынскому, новогреческому и русскому языкам добавляются польский, немецкий и латинский. Так постепенно уже в юношеском возрасте закладывается база прочных гуманитарных знаний.

Начавшаяся Мировая война — первое испытание для семьи: отец — Иван Михайлович Доватур — отправляется в действующую армию, мать с сыном перебираются в Саратов, где, закончив гим-

назический курс, он поступает на историко-филологический факультет сначала Киевского, а потом открывшегося Саратовского университета, тесно связанного в те годы с университетом Петроградским. Тогда там работали В. М. Жирмунский, впоследствии академик, Макс Фасмер, приват-доцент Петроградского университета, позднее принужденный уехать из Советской России и создавший в Германии самый обстоятельный «Этимологический словарь русского языка». Кроме них непосредственными учителями Аристида Ивановича были С. И. Протасова, С. В. Меликова, М. Е. Сергеенко, профессор В. Я. Каплинский, который в 30-е годы работал в Воронеже. Аристид Иванович любил вспоминать семинарские занятия с Василием Яковлевичем, на которых читали римского историка Тацита. Если в тексте встречался какой-то трудный для понимания и перевода пассаж, Василий Яковлевич грозно спрашивал: «А как это перевести по-русски? — и неизменно замечал, — А черт его знает, как это перевести!». После чего следовало подробное объяснение и перевод самого Василия Яковлевича, который всегда завершался словами: «Хотя можно еще подумать!».

На первом году аспирантуры Аристид Иванович дал мне поначалу показавшееся странным задание: перевести с латинского языка начальные 10 параграфов из «Анналов» Тацита. Задание удивило: только что появился новый перевод А. С. Бобовича, да и старый перевод, выполненный В. И. Модестовым во второй половине XIX века, был хорошо знаком. «А Вы подумайте, как лучше передать латинский текст, — заметил мой руководитель, прочитав на лице недоуменный вопрос, — меня не все устраивает в новом переводе». Тоненькую школьную тетрадку с переводом А. И. внимательно прочитал, что-то поправил, что-то разъяснил, что-то подчеркнул, а кое-где оставил знаки вопроса. Когда теперь тетрадка попадает на глаза, задумываюсь — читает ли кто-нибудь столь же заинтересованно и пристрастно работы (даже, в сущности, не работы, а черновые материалы, заметки) своих учеников?

В те годы, когда сын постигал Гомера и Тацита, отец — кадровый офицер — оказался заложником бездарно-бездумной российской военной машины.

Отец: «Русский комендант Найденбурга полковник Доватур только случайно, от телеграфиста, узнал, что армейский штаб из города уехал, последние уезжают сейчас, телеграф снят. А ему — никто не оставил распоряжений. За делами стратегическими о нем забыли».

(В оставленный русскими войсками Найденбург вступает немецкий корпус под командованием генерала Германа Франсуа. — А. К.).

«Перед отелом генералу представились вместе немецкий бургомистр и русский комендант. Комендант доложил об окончании своих обязанностей, о состоянии госпиталей, складов немецкого

же снаряжения и устройстве военнопленных. Бургомистр высоко оценил деятельность коменданта по сохранению порядка в городе, жизни жителей и их имущества. Генерал поблагодарил коменданта и просил его избрать себе комнату, где и самоограничиться в качестве тоже военнопленного. И еще переспросил его фамилию.

— Доватур, — доложил полненький, черненький полковник.

Рыжие брови Франсуа подвижно отозвались.

— А зовут?

— Иван, — улыбнулся полковник.

Еще больше взвились брови Германа Франсуа и в созерцательную усмешку сложились губы.

Два рассеянных семени аристократической Франции двух времен ее несчастной эмиграции, гугенотской и бурбонской, на минуту встретились на краю Европы, один отдал рапорт, другой отпустил его под арест» (А. Солженицын. Август четырнадцатого).

Сын, поступив в университет, начинает прилежно изучать историю французского абсолютизма, приведшего страну к революции. Однако чтение латинских авторов, занятия древнегреческим языком меняют его привязанности и окончательный выбор остается за классической филологией, историей классических древностей, где юный Аристид Иванович пытается отыскать истоки и корни современной ему политики и цивилизации.

Трагическая гибель отца не помешала Аристиду Ивановичу завершить образование. Студенческие годы были не легкими, не сытыми, не беззаботными, но они были праздничными: «Насчет ощущения праздничности, которое испытывал студент нашего поколения, переступая порог университета, — Вы вполне правы. Университетские будни были, конечно, для нас праздником» (Из письма А. И. Доватура Е. А. Миллиор от 21.03.1948 г.)².

В 1921 году Аристид Иванович оканчивает Саратовский университет и за сочинение «Личность и деятельность Солона в греческом историческом предании» получает золотую медаль и командировается в Петроград «для продолжения занятий при Петроградском университете». С этого времени становится он Петербуржцем.

Отступление о Солоне. Греческий поэт и государственный деятель Солон провел свои реформы в 594 г. до н.э. Усобицы и гражданские распри терзали Афины. Солон повелел упразднить все долги между гражданами, убрать с земли долговые столбы и воспретил на будущее давать и брать деньги под залог собственного тела, что превращало свободных граждан в рабов. Солон открыл путь к управлению государством всем гражданам, лишив аристократию родовых преимуществ.

Это была революция, но революция бескровная, открывшая Афинам путь превращения в самое демократическое государство классической Греции. Солон установил равенство граждан перед законом и дал право каждому гражданину обращаться в суд.

«Благозаконие, — так называется одна из элегий Солона, — всюду являет порядок и стройность!». Слова Солона, его элегии, его законы равно актуальны в 594 году до н.э., в 1921 и в наше время.

В Петрограде помимо аспирантуры Аристид Иванович заканчивает Высшие курсы библиотекведения, работает в Публичной библиотеке и в Библиотеке Академии Наук. Аспирантские занятия дополнялись традиционными для Петербургского-Петроградского-Ленинградского университета (вопреки голоду, революции, террору и гонению на историко-филологическую науку) домашними семинарами, которые обычно проводились в непринужденной обстановке на квартире у кого-либо из известных профессоров и носили название *privatissima*.

Вот как вспоминал Аристид Иванович такие занятия у Ивана Ивановича Толстого. «По субботам, раз в две недели у него на квартире происходили заседания, в которых участвовали только окончившие университеты... Само собой разумеется, читались доклады (работа состояла в чтении и обсуждении докладов)... Руководитель время от времени (притом довольно часто) прерывал читавшего, задавал ему вопросы, предлагая или настоятельно советуя внести в текст исправление или дополнение, вычеркнуть спорное или лишнее. Проверялась точность цитирования, для чего снимались с полки книги — иногда для этого профессор (а впоследствии академик) становился на стул или даже взбирался на стол (собеседнику это не разрешалось)».

И еще о И. И. Толстом как научном руководителе: «При выборе темы для научных занятий И. И. охотнее всего выслушивал собственные предположения своего молодого собеседника. Его радовала инициатива, самостоятельность как в выборе темы, так и в выработке плана работы. Руководитель был чужд мелочной опеки над ходом научной работы ученика».

Разнообразные академические штудии, литературные интересы, склонность к творчеству сближают Аристида Ивановича с Андреем Николаевичем Егуновым и Александром Васильевичем Болдыревым. Дружеские встречи превращаются в дружеское сотворчество, результатом которого стали переводы на русский язык двух греческих романов: «Левкиппа и Клитофонт» Ахилла Татия (1925) и «Эфиопика» Гелиодора (1932). В переводе «Эфиопики» помимо А. Болдырева, А. Доватура, А. Егунова приняли участие А. Миханков и Э. Визель. Книга вышла в столичном издательстве «ACADEMIA». Переводчики избрали коллективный псевдоним — АБДЕМ, где первая буква «А» означала сокращенное имя автора перевода, а все последующие указывали начальные буквы фамилий участников перевода.

Аббревиатура АБДЕМ стала свидетельством высочайшей переводческой культуры авторов, впервые на русском языке воспроиз-

водились все стилистические тонкости и нюансы греческого оригинала, и свидетельством обвинения.

После убийства С. М. Кирова, послужившего поводом для открытых репрессий в стране, Аристид Иванович был арестован «как член контрреволюционной группы АБДЕМ» и «в порядке очистки города от социально чуждых элементов» выслан на 5 лет в Саратов. Годы саратовской высылки оказались лишь передышкой перед более суровыми испытаниями.

Круг ссылных редел, каждому становилось ясно, что ждет его впереди. Со свойственной ему обстоятельностью Аристид Иванович (об этом он всегда рассказывал с улыбкой) приготовил баул, сложив туда все необходимое, но арест в октябре 1937 года произошел столь внезапно, что арестованного увели без баула и в домашних тапочках. Особое совещание без суда и следствия, без статьи уголовного кодекса осудило А. И. Доватура к лишению свободы на десять лет. Срок достаточный, чтобы вспомнить «благозаконие» Солона и задуматься над необыкновенными перипетиями в греческих романах. Позднее, вспоминая годы, проведенные в лагере, Аристид Иванович неизменно замечал: «Я находился там в очень приличном обществе, но слишком продолжительное время».

Освобождение пришло 20 ноября 1947 года, почти совпав с полувековым юбилеем осужденного, из определенных ему 10 лет Аристид Иванович не отсидел лишь 26 дней.

Возвращение в Ленинград было запрещено, он поселяется в Луге — «у ворот Рима», как выразился сам в одном из писем. С помощью старых друзей выполняет ряд договорных работ для Академии Наук — переводит латинские сочинения Ломоносова, Гильберта, Рихмана, принимает участие в переводе на русский язык писем Цицерона. Благодаря хлопотам академика И. И. Толстого Аристид Иванович получает возможность готовиться к кандидатским экзаменам и по особому разрешению бывать в Ленинграде.

Когда человеку уже 50, подготовка требует необычайной сосредоточенности, воли, упорства. И еще подготовка эта требует денег, которых у недавнего лагерника просто не было. Учителя, друзья, родные помогали не только советами и книгами, попадавшими в Лугу из крупнейших ленинградских библиотек.

Аристид Иванович долго хранил большую конторскую книгу, заведенную в Луге, куда аккуратно вписывались цифры — они означали деньги, которые посылали или передавали известные ученые В. В. Струве, Д. А. Ольдерогге, И. И. Толстой, Д. П. Каллистов, двоюродный брат А. И. — А. Н. Дейч. Впоследствии Аристид Иванович аккуратно отдавал эти деньги, хотя никто не напоминал ему и даже не рассчитывал на их возвращение. Он говорил: «Я возвращаю не деньги, я возвращаю память».

Однажды, вероятно уже в аспирантские годы, я спросил Аристида Ивановича, сколько же времени потребовалось ему для подготовки к кандидатским экзаменам, и получил абсолютно точный ответ: на подготовку к экзамену по марксистской философии (каково бывшему зеку, узнавшему на практике учение победившего социализма, было осваивать теорию коммунизма?) ушел год; на немецкий язык понадобилось три дня, чтобы подобрать необходимые книги; «к экзамену по специальности я был готов». И когда я выразил недоумение, почему был выбран немецкий язык, А. И., улыбаясь, ответил: «Понимаете, французский принимали люди, которых я сам когда-то учил, мне не хотелось ставить их в неловкое положение».

Ни годы лагеря, ни годы ссылки не смогли уничтожить в этом человеке достоинство, такт, честь. Острее всего переживал он не материальные и физические лишения, не тяжесть лет, проведенных в лагере, острее и больше была постоянная мысль о безвозвратно потерянных, вычеркнутых, лучших и плодотворных годах человеческой жизни.

Об этой трагедии, пережитой не одним поколением, беспощадно написала Ольга Михайловна Фрейденберг — первая в советскую эпоху заведующая кафедрой классической филологии Ленинградского университета, коллега Аристида Ивановича, кузина Бориса Пастернака: «Двадцать пять лет советской власти... для моего поколения это половина жизни. Арифметически. А по существу — ее три четверти, ее наиболее полнокровные жатвенные годы. Ее расцвет. Ее сочная зрелость.

Боже мой! Сколько позади садизма и каторги: для тела, для разума, для лучших человеческих чувств. Сколько страданий и несчастий всех кулёров (франц. *couleur* — цвет, оттенок. — А. К.), какие только могли придумать мозги преступников. Чистки, слежка, преследования, маскировка зла под ангельскую чистоту, удушение заживо людей, науки, искусства. Но самое нестерпимое — это торжество негодяев на всех поприщах, но самое убийственное — расцветка порока под самое дорогое на земле...

Когда читаешь Светония, не веришь его правдивости. Считаешь, что он или Тацит сгущали краски. Что не могло быть таких развратников и негодяев, какими они изображали своих современников, особенно Цезарей и придворных.

Ужасна была деморализация наших людей, проходивших 25 лет горнила чеки, доносов, голода и нищеты. Экзамен по морали был сдан на балл ниже нуля»³.

Аристид Иванович принадлежал к числу людей, которые блестяще сдавали не только академические экзамены, они выдержали самое главное испытание жизни — экзамен на звание Человека, оставаясь свободными в абсолютно несвободных нечеловеческих условиях.

Отступление об экзаменах, или как их принимал Доватур. Не помню случая, чтобы Аристид Иванович поставил неудовлетворительную оценку. Даже если экзаменуемый проявлял полную неосведомленность, экзаменующий предлагал ему прийти еще раз, добродушно замечая, — «Вам сегодня не повезло».

Однажды мой сокурсник на экзамене по специальности никак не мог справиться с переводом действительно трудного пассажа из письма Плиния Младшего, запутавшись в причастных оборотах. Аристид Иванович, словно забыв об экзамене, со светской любезностью обратился к нему: «Позвольте Вам помочь, друг мой». Переведа, разъяснив и прокомментировав вызвавший затруднение текст, экзаменатор удовлетворенно закончил: «Теперь, надеюсь, Вам все понятно».

Обычно же экзамен по специальности превращался в веселое соревнование, все стремились получить отличную, либо хорошую оценку, чтобы заслужить похвалу нашего Учителя. Завершался экзамен традиционной раздачей подарков. Особо отличившиеся получали в качестве презента тетради, ручки, книги, или угощались кофе со сладостями.

На четвертом, по-моему, курсе у нас возник конфликт с лектором, читавшим историю советской литературы — П. С. Выходцевым, личностью малосимпатичной, одиозной и ортодоксальной. Итогом конфликта стал экзамен, который принимала представительная комиссия из 3 или 4 человек. Выйдя после экзамена из аудитории, я увидел ожидавшего меня А. И., который, поняв по моему лицу, что все завершилось благополучно, воскликнул: «Друг мой, Вы не уронили честь нашей кафедры». После чего я был приглашен на кофе с пирожным.

Мы знали привычку А. И. ходить на экзамены к своим коллегам, чтобы помочь тем, кто принимал экзамен, и тем, кто его сдавал. Студенты других отделений иногда начинали волноваться, как это случается всегда, когда приходит кто-то посторонний да еще в ранге заведующего кафедрой. Волнение, однако, быстро прекращалось, и устанавливалась своеобразная очередь, чтобы отвечать именно А. И. Однажды на экзамене по античной литературе, где присутствовал Аристид Иванович, студент весьма бойко рассказывал о политической комедии Аристофана. Принимавшая экзамен Н. А. Чистякова задала традиционный в таких случаях вопрос: «Какая из комедий Аристофана наиболее ярко выражает литературные пристрастия автора?». Наступила почти мхатовская пауза. И тут Наталия Александровна обратила внимание, как сидящий рядом А. И., пристально глядя на молчащего студента, стал медленно произносить «ква-ква-ква...».

— «Лягушки!» — радостно выпалил студент. На том все и закончилось.

Не было случая, чтобы Аристид Иванович отказался кого-то проконсультировать, проверить перевод (часто перевести заново или отредактировать!) как с новых европейских языков, так и с классических — древнегреческого и латинского. Однажды я с несказанным удивлением наблюдал, как А. И., будучи уже и заведующим кафедрой и профессором, помогал студенту-заочнику выполнить контрольную работу по латинскому языку. Он консультировал студентов и аспирантов не только нашей кафедры, консультировал кандидатов и докторов наук, сотрудников различных академических институтов: филологов, историков, правоведов, философов, искусствоведов, археологов. Два слова «Аристид прочитал», «Аристид одобрил», «Аристид похвалил» становились наградой, вызывали желание работать, побуждали к дальнейшим размышлениям, помогали жить.

В академических вопросах Аристид Иванович был принципиален, суров и строг. Запомнились два его высказывания. Одно по поводу чьей-то статьи или диссертации: «От этой работы пахнет тремя бессонными ночами, черным кофе и табаком». В другой раз, слушая доклад, основанный на работах сотрудников Института истории, А. И. неожиданно перебил докладчика возмущенным вопросом: «Откуда Вы все это знаете?». Не ожидавший подобной реакции докладчик тут же ответил: «Об этом подробно пишут Ваши коллеги по Институту!» — подразумевая, видимо: «Разве Вы их не читали?».

«А Вы им не верьте, обратитесь лучше к источникам — ad fontes!».

Это крылатое выражение услышал от А. И. на первом курсе и много позже осознал: для него оно было не просто латинской поговоркой, оно являлось принципом научной работы — ничего не брать из вторых и третьих рук, а всегда обращаться к первоисточникам. Этому же учил нас, учил с первого курса.

Возвращаясь, однако, к прерванному повествованию, как выражался в подобных случаях римский историк Тацит.

Существование в Луге было для А. И. окном в жизнь, постепенно растворяющимся благодаря поддержке учителей и друзей, а также строжайшей самодисциплине, самоограничению, неукротимому желанию вернуть и восполнить отнятое. От лагеря осталась привычка быстро и аккуратно расправляться с любой едой, ничего не оставляя на тарелке. Нас, юных несмышленьшей, это удивляло и поражало. По студенческому преданию, даже если это легенда, она имеет основу в реальной жизни, в Луге А. И. заведовал соляным складом. По крайней мере, мой старший товарищ Никита Шебалин, побывавший в Луге лет через 15 после А. И., рассказывал о встречах с людьми, получавшими соль на складе у Доватура.

Отказ от всего кроме книг, живое общение с людьми, редкие (по специальному разрешению) поездки в Ленинград с неизменным обходом букинистов в поисках греческих и латинских авторов скрашивали существование в Луге. В 1952 году после десяти лет лагеря и фактической пятилетней ссылки Доватур защищает кандидатскую диссертацию, позднее вышедшую отдельной книгой — «Повествовательный и научный стиль Геродота». Приведу лишь одно положение из книги А. И. и комментарий, сделанный другим моим учителем — А. И. Зайцевым.

А. И. Доватур пишет: «Наблюдения над обыденной речью приводят к заключению о том, что умение излагать просто, ясно, деловито, последовательно, без прикрас и необоснованных отклонений приходит не сразу: оно предполагает известную вышколенность ума и предварительное усвоение определенных навыков».

А. И. Зайцев комментирует: «Факт бесспорный, отлично известный лингвистам. В подтверждение его Аристид Иванович мог бы легко сослаться на авторитетнейшие источники. Между тем мы не находим у Аристида Ивановича, всегда тщательно цитирующего своих предшественников, подтверждающей ссылки. Причина здесь в том, что это общеизвестное положение, если бы оно было просто воспринято Аристидом Ивановичем со стороны, едва ли бы дало ему ключ к раскрытию истоков стиля Геродота. Сформулированное Аристидом Ивановичем положение о трудности овладения простой ясной речью явилось для него, конечно, результатом его личного опыта. Нужно было многие годы размышлять об особенностях стиля Геродота, нужно было изо дня в день страдать от беспомощности и письменной и устной речи малообразованных людей и, самое главное, нужно было суметь соотнести друг с другом эти принадлежащие как бы к двум разным мирам факты».

Аристид Иванович видел в Солоне и Геродоте не античных авторов, отделенных от нас тысячелетиями, он видел в них живых людей, размышляющих о тех самых вопросах, которые волнуют нас в начале XXI века. Он видел человека в каждом, с кем его сталкивала судьба, и стремился понять каждого. Он любил Солона и Геродота, писал о них так, словно и Солон, и Геродот были нашими современниками, добрыми знакомыми. Отсюда особый аромат, особая аура в работах А. И., то, что Л. Я. Гинзбург называла интимным отношением к материалу, т.е. к предмету исследования.

8 декабря 1953 года академик И. И. Толстой отправляет письмо ректору Ленинградского университета А. Д. Александрову: «Обращаюсь к Вам с большой просьбой — допустить Аристида Ивановича Доватура к преподаванию в нашем Университете, на классическое отделение филфака. А. И. Доватура, учившегося у меня в свое время, я давно и хорошо знаю как замечательного препода-

вателя и подлинного, чрезвычайно солидного ученого, обладающего широким научным кругозором. Поэтому я горячо поддерживаю перед Вами ходатайство о нем античной кафедры. Совсем недавно он блестяще защитил кандидатскую диссертацию, а одним из ценнейших качеств, характеризующих его преподавание, следует признать его умение быть “доходчивым”, нисколько не снижая научного уровня лекции или практикума...».

Путь в университет, однако, был открыт не письмом академика члену-корреспонденту и ректору, а другим документом, полученным А. И. в марте 1955 года: «Верховный суд СССР, рассмотрев по протесту Генерального Прокурора СССР дело, по которому Вы осуждены в 1937 г., прекратил его производством за недоказанностью обвинения. Вы полностью реабилитированы».

В сентябре 1955 Аристид Иванович возвращается в Университет, с сентября 1957 года становится заведующим кафедрой классической филологии. Лучшего подарка к собственному шестидесятилетию он едва ли ожидал.

Сохранился дневник Аристида Ивановича, охватывающий годы его правления (1957—1971) — лучшие годы кафедры классической филологии во второй половине XX века. Часть текста на французском языке. Общий объем дневника поражает — тысяча двадцать пять листов!

А. И. Доватур. «Дневник по заведыванию кафедрой» (приведу лишь некоторые записи. — А. К.).

Пятница. 6 ноября 1959 года. «Не найдя своих учеников V курса, которые должны заниматься 9—11 ч. утра, я ходил по коридору и узнал, что I курс филологов-классиков ожидает С. В. Полякову, которая не пришла. Поэтому я занимался с ними греческим языком».

Вторник. 21 февраля 1961 года. «Получил бумагу — предлагается дать ответ, кто из членов кафедры какие связи имеет с заграничными учеными. Бумага будет обсуждена завтра на заседании кафедры...».

Пятница. 2 июня 1961 года. «Занятия МПВО (если мне не изменяет память, эта аббревиатура означает — Местная противовоздушная оборона — А. К.) — врач объясняла, как нужно оказывать скорую помощь, с практическими занятиями (4—7 ч.)».

Пятница. 23 июня 1961 года. «Сдал зачет по МПВО (2—3 ч.)».

Суббота. 25 ноября 1961 года. «Был в институте растениеводства, где беседовал с заменяющей находящегося в отпуске ученого секретаря института Е. А. Кочетовой о предстоящем чествовании Марии Ефимовны Сергеенко (М. Е. Сергеенко — учитель, коллега и друг А. И. — А. К.). Потом мы пошли в кабинет, где работали две сотрудницы Николая Ивановича Вавилова еще по Саратову. Одна из них показала мне свою печатную работу, в которой она

ссылается на перевод Феофраста, сделанный Марией Ефимовной. Она же вспомнила, что Николай Иванович, в кабинет которого сотрудники входили в любой час, запрещал беспокоить его только в те часы, когда он занимался с преподавателем латинского языка, а это была Мария Ефимовна Сергеенко».

Понедельник. 1 июня 1963 года. «Медицинские процедуры я пропустил, т.к. Д.П. Каллистов возил Александра Исаевича Солженицына и его супругу Наталию Алексеевну, а вместе с ними и меня в Зеленогорск с заездом в «Пенаты» Репина. Начал знакомиться с присланным мне из издательства Московского университета трудом С.И. Радцига «Введение в классическую филологию»».

Четверг. 23 апреля 1964 года. «Проэкзаменовал в перерыве между занятиями одного студента немецкого отделения по истории античной литературы. Заседание Ученого совета факультета — я защищал свою докторскую диссертацию на тему «Политии Аристотеля» (5–8 ч.)».

Понедельник. 12 апреля 1965 года. «Вечером ездил в общежитие студентов — принимал домашнее чтение по Ксенофону у студентов II к. классического отделения — В. Пизане (больна, нога в гипсе) и В. Вильцане».

Вторник. 13 мая 1969 года. «Утром до ухода в университет недолго занимался рабством. Занятия с первым курсом прошли нормально. V курс — была конференция вместо занятий. Перед диссертацией В. В. Караулакова — длительная беседа с Ю. В. Откупщиковым об успеваемости на I курсе. В промежутке между защитой и шмаусом (немецкое Schmaus — пиршество, здесь банкет. — А. К.) — дома очень недолго занимался Феогнидом, Геродианом и составлением программы завтрашнего заседания кафедры».

Сдав благополучно первую сессию, перед отъездом домой пришел попрощаться с А.И. Он поздравил меня и взял обещание — непременно написать, как и чем буду заниматься на каникулах. Сохранился обстоятельный ответ А.И., требующий необходимых пояснений. Без них письмо не понять. Напомню: пишет заведующий кафедрой студенту первого курса!

Дорогой Саша.

Получил (вчера) Ваше воронежское письмо — воронежское не только по месту своей отправки, но и по духу, местному патриотизму, вложениям (вложения — набор открыток с видами Воронежа. — А. К.).

Прежде всего, благодарю Вас за то, что Вы меня не забыли. Ученикам (а студенты — те же ученики) свойственно, попав домой, забывать или, вернее, выбрасывать из поля своего сознания всё, что связано со школой, обучением, обучающими. Я очень рад, что Вы не поддались этому трафарету.

Прежде чем перейти к разбору Вашего письма (т.е. к составлению комментария к Вашему письму) сообщу новость, которая, впро-

чем, не совсем является новостью для Вас. Т. Т. (в официальных случаях А. И. всегда использовал традиционное советское именование «товарищ». — А. К.) Иванов и Исаев покинули классическое отделение. На их заявлениях об уходе красуются три нужные подписи: отпускающего (т.е. моя), принимающего (т.е. Э. О. Каратаевой), верховного (т.е. декана — Б.А. Ларина). Всё прочее — формальности. Таким образом, двери классического отделения широко раскрыты для столь любезной Вашему сердцу геологички и не столь любезного моему сердцу юноши с вечернего отделения. Могу себе представить Ваше ликование!

(Геологичка — это Леночка Клепикова, которой я со своей будущей женой помогли перейти с геологического на филологический факультет. Лена успешно закончила университет, позднее в 70 годы вместе с мужем, критиком Владимиром Соловьевым эмигрировала в США, где они вдвоем выпустили несколько книг о советских и российских государственных деятелях — чтение весьма занимательное, особенно, для американского обывателя. Нелюбезный А.И. юноша, как вскоре выяснилось, был тесно дружен с первым отделом и получил в нашем кругу ласковую кличку «Витюля», вероятно потому, что ласково приглядывал за нами и нашими старшими коллегами).

Ваше письмо. Во-первых, Вы отоспались. Приветствую это состояние.

(Желание выспаться стало преследовать меня после первых двух недель университетской жизни. Времени катастрофически не хватало, его надо было как-то делить между университетом, филармонией, театром — в первую очередь БДТ, — «Публичкой», где, по тогдашним моим представлениям, можно было прочитать все, и Городом, который становился знакомым, близким, осязаемым.

Сфинксы у Академии художеств — вот они, можно постоять рядом, а при желании потрогать. «Исакий в облачении из литого серебра» — не миф, не литература — хорошо виден из 10 аудитории. Эрмитаж с поразившими навсегда жестоко-жесткими лицами римских императоров и Роденом на третьем этаже. «Всадника длань в железной перчатке»; Сенная, еще хранящая запахи 19 века; оśnieженные колонны и Елагин мост... В университетскую библиотеку, где регулярно встречался с А.И. на выставке новых книг, путь проходил по второму этажу главного здания —

Коридор Петровских Коллегий

Бесконечен, гулок и прям.

(Что угодно может случиться,

Но он будет упрямо сниться

Тем, кто нынче проходит там).

Город входил в меня, я читал и впитывал Город. И все-таки первое место занимал Университет. Ежедневные семинарские заня-

тия (8 часов латинского, 6 часов греческого, 6 часов немецкого в неделю) оказались поначалу делом непривычно трудным, требуя подготовки, времени, внимания, иного ритма жизни. После филармонии или театра садились за книги почти все мои однокашники. Помогали молодость и первое мое ленинградское пристанище — в двадцати минутах ходьбы от университета. Будильника не было. Роль будильника исполнял сосед четырех или пяти лет от роду. Каждое утро он исправно заходил в комнату, где я спал, и, забравшись ручонками ко мне под одеяло, радостно верещал: «Дядя Шаша, я в шадик ухожу». Дома я оказался без будильника, совершенно в ином ритме, словно попал в другой часовой пояс).

Дни летят быстро, — продолжает А. И., — *это значит, что они хорошо заполнены (в известную пору жизни хорошо заполненными можно считать даже дни, целиком или частично заполненные пустотой).*

Одинокество и книги. (Скорее всего, я писал, что наконец-то остался один на один с любимыми книгами, поскольку в Ленинграде у меня почти не было возможности побыть одному и почитать в свое удовольствие Блока).

Первое вызывает у меня недоумение — разве Вы не дома? Или вы считаете родственников особыми существами? Книги — хорошо, но кое-что в Ваших словах мне не понравилось. (Для убедительности, как я теперь понимаю, с чисто дидактическими намерениями А. И. добавляет по-латыни — *minime placuit*, — чтобы не забывал способы образования латинского перфекта и усвоил ходячее латинское выражение). *Вы говорите только о поэзии (Блок), как будто книга и сборник стихов — синонимы. Во-вторых, одной высказанной Вами мысли одобрить не могу: «да и не предугадаешь, что захочется почитать через час или два» — Кто это пишет? Никак не филолог. Так может говорить поэт, фантаст, дилетант и т.подобный. В Вашем возрасте человек должен утром знать, чем он сам заполнит свой день (ведь у Вас сейчас нет расписания обязательных занятий и т.под.).*

За снимки благодарю. Они дают мне некоторое представление о Воронеже, в котором есть красивые здания и даже красивые ансамбли. Во всяком случае, о парадном Воронеже Ваши снимки говорят достаточно красноречиво (само собой разумеется, есть и непарадный Воронеж).

Нахожусь в своей памяти еще одно место, которое может быть направлено против Вас, но уже не как воронежского ультра-патриота, а как любителя чтения стихов в полужемачем состоянии на диване. «Я люблю умственные наслаждения — чтение, театр, — но значит ли это, что я люблю умственный труд?» — так говорит один из героев Чехова. Подумайте над этим. Кончаю. Скоро увидимся.

Ваш А. Доватур

Пытаюсь сформулировать простую мысль: чему же он учил? Учил радости жить, радости узнавать новое, радости человеческого общения. При всей своей мягкости, доброте, отзывчивости А. И. учил стойкому гуманистическому миропониманию. Стремился сохранить, упрочить разрушенную и разрушаемую гуманистическую традицию. В книгах и статьях А. И. никогда не пытался определить собственный научный метод, он его блестяще демонстрировал на конкретном историческом, фольклорном, литературном материале, учил бережно относиться к традиции и делать сноски.

Маленькое отступление о сносках в научной работе. В реферате диссертации А. И. первоначально не было ни одной ссылки на классиков марксизма-ленинизма и творения отца народов, что в 1952 году было совершенно недопустимо. Все советы сделать необходимые ссылки А. И. вежливо отклонял. И. И. Толстой, приложивший много сил, чтобы бывший лагерник мог защитить диссертацию, уговаривал А. И. сделать необходимые ссылки: «Ну Аристид Иванович, дорогой, ведь это же у них как «Осподи, помилуй, Осподи..., Осподи...». Требуемые ссылки в автореферате все-таки появились, но в автореферате были убраны все ссылки на труды предшественников, т.е. все указания на предшествующую научную традицию были исключены. Как точно заметил в связи с этим А. К. Гаврилов, А. И. не пожелал «смешивать строителей будущего с исследователями прошлого». Это не было фрондерством бывшего заключенного, это было позицией исследователя, хотя многие продолжали уснащать свои опусы ссылками на классиков марксизма даже тогда, когда это перестало быть «патентом на благородство».

В сущности своей метод Аристида Ивановича — это традиционный историко-филологический метод, восходящий к эллинистической традиции, освоенный эпохой Возрождения, проверенный рационалистическим XVIII веком, не поколебленный скепсисом века девятнадцатого и блестяще развитый отечественной историко-филологической школой века двадцатого. Совершенствуясь, изменяясь, критически осваивая все наиболее ценное, что было создано мировой гуманистической традицией, метод пережил почти полтора тысячелетия, доказав свою жизнеспособность. Суть метода А. И. формулировал в разных аудиториях: «Историк без филологии витает в воздухе, филолог без истории прижат к земле». Каждое явление может быть понятно и истолковано только в широком историко-литературном, либо историко-культурном контексте. Поэтому такое в общем-то скучное занятие, как объяснение латинского перфекта, сопровождалось у А. И. занимательным историческим анекдотом о Наполеоне, сумевшем в нужном случае в нужное время правильно употребить латинское речение. Комментарий солонвской элегии «Саламин» дополнялся стихами Осипа Мандельштама:

Собирались эллины войною
На прелестный остров Саламин —
Он, отторгнут вражеской рукою,
Виден был из гавани Афин.

Перед нами сопрягались история, география, грамматика и политика, древние Афины и отечественная поэзия. Цивилизационный путь, о котором вдруг стали так много говорить, становился удивительно наглядным, обретал историческую перспективу.

На каких-то занятиях, или в перерыве между ними (ведь перерыв тоже можно использовать в дидактических целях) услышал от А. И. строки из поэмы Андрея Белого «Первое свидание». Темы занятий не помню, стихи остались навсегда —

Передо мною мир стоит
Мифологической проблемой:
Мне Менделеев говорит
Периодической системой.

Чтение писем Цицерона перерастало у А. И. в рассказ о гражданских войнах в Риме, о письме как литературном и историческом источнике, о римских нравах и обычаях, о французском исследователе Гастоне Буасье, написавшем поучительную книгу «Цицерон и его друзья».

А. И., следуя средневековой и возрожденческой традиции, любил давать своим ученикам латинские прозвища. Когда мы уже одолели 3 латинское склонение, он тут же перевел мою фамилию на латинский язык, объяснив: «латинское *cardo* означает “крюк”, следовательно, в средневековом университете Вас бы именовали *Cardinius*».

Одного из выпускников нашей кафедры, успешно подвизавшегося на общественном поприще, отправленного за эти заслуги в загранкомандировку, А. И. окрестил *Durissimo*. Здесь иронически обыгрывается фамилия Дуров, латинское прилагательное *durus*, что означает суровый, грубый, суффикс превосходной степени — *issim* и безликое окончание *-o*, которое не может по нормам латинской грамматики быть приложимо к существительному мужского рода. В результате возник чрезвычайно выразительный ядовитый макаронизм — соединение слов и форм русского и латинского языков. Когда на кафедре случалось какое-то выпадавшее из норм событие (независимо хорошее и плохое) А. И. повторял — «Вот вернется *Durissimo*, у нас запляшут лес и доли!».

Не менее выразительно звучало у А. И. порицание, высказываемое по поводу любого пустого оригинальничания или откровенного фрондерства — *Non est выпирандум!* Комизм заключался в том, что к латинскому отрицанию добавлялась образованная от глагола «выпирать» форма, усиленная латинским суффиксом с оттен-

ком долженствования. Видимо, по-русски это лучше всего передать просторечием — «не высовывайся!».

Занятия с А. И. особенно в аспирантские годы редко завершались звонком. Обычно они продолжались, переходя в форму неспешной беседы на Университетской набережной, по дороге к дому нашего наставника. Частенько заходили в книжный магазин, расположенный в начале Невского проспекта, где появлялись периодически произведения греческих и латинских авторов. А. И. всегда советовал, что необходимо купить, что не только не следует покупать, но даже вредно держать в руках, добавляя для убедительности афоризм, приписываемый известному историку Е. В. Тарле: «Названия отдельных книг и фамилии их авторов следует постоянно держать в уме, чтобы не прочесть по ошибке».

Однажды в магазине старой книги на Литейном проспекте я обнаружил на полочке под прилавком солидную пачку книг, поверх которой лежала записочка «для Доватура». Через несколько дней пачка эта появилась у нас на занятиях, и А. И. провел обряд торжественного вручения книг всем присутствующим, заметив при этом, что недовольные могут поменяться между собой подаренными книгами, если подобные у них уже имеются.

Аристид Иванович любил сладкое, иногда он вел нас в кондитерскую, расположенную в начале Невского. Сперва А. И. обстоятельно производил осмотр, затем выбирал пирожные, стараясь доставить всем маленькую радость. Как-то, наделяя нас сладостями, А. И. положил одному из нас два пирожных и, усмотрев удивление на моем лице, торжественно заметил: «Гаврилову полагается два, у него ведь два ребеночка, а у Вас только один!».

Наставник учил нас думать и чувствовать, по-новому видеть мир, по-иному относиться к людям. Мы, сами не замечая того, становились другими, лучшими, чем были прежде. Осознание встречи с Аристом Ивановичем как события значительного, может быть главным в жизни, оставалось почти у всех, с кем сталкивалась его судьба.

Мы проходили школу Доватура — академическую, нравственную, эстетическую. Уроки, полученные в этой школе, запоминались навсегда. Свидетельство тому — письма Наставнику, которые он аккуратно сохранял. Приведу лишь одно — письмо Софьи Аполлоновны Поповой.

«Глубокоуважаемый Аристид Иванович!

Уже много лет собираюсь Вам написать, но всякий раз сдерживало понимание того, что письмо незнакомого человека, недельное, а даже очень эмоциональное вряд ли принесет Вам какое-нибудь удовлетворение. Я сейчас преподаю русский язык в Мурманском педагогическом институте, а в прошлом, в 1932 — 33 учебном году — Ваша студентка в ЛИФЛИ. Моя фамилия Попо-

ва, зовут меня Софьей Аполлоновной. Мне 57-й год. Не за горами конец жизненного пути. Почему же и сейчас я должна сдерживаться, почему не написать просто человеческое письмо. 1932 — 33 учебный год — это для меня первый курс. Вы у нас преподавали древнегреческий язык. Со мной вместе учились Кучинский, Пантелеев, оба в 37 году арестованные вместе со многими студентами и погибшие, Сорокин Ю. С., ныне доктор филологических наук, Теплов Е. Ф., доцент Петрозаводского университета... Но вряд ли Вы нас помните. Вы не пришли на занятия. Разнесся печальный слух. Моим друзьям и мне было грустно. Поверьте! Меня, может быть, как профорга «командировали» к Вам на Сенную площадь с Вашими книгами, которые Вы дали некоторым из нас. Нашла Вашу квартиру. Кажется, это был второй или третий этаж. На звонок вышли Вы, провели в свою комнату, где до моего звонка Вы вместе со своими знакомыми укладывали вещи. Кажется, Вам был дан трехдневный срок. Часы, минуты короткие, но Ваш знакомый вышел из комнаты. Вы от книг отказались: “Передайте им же от меня на память!”. Вы проводили меня до дверей, поцеловали руку и заплакали или почти заплакали. На лестничной площадке я на минуту задержалась, осмысляя понятное... Виденное в течение нескольких секунд запечатлелось в мозгу, как на фотопленке: тяжелая, безотрадная печаль на Вашем лице, озобоченное, хмурое лицо Вашего знакомого, корректность Вас обоих...

На другой день я Вас встретила в коридорах второго этажа. Я приветствовала Вас и сделала движение в Вашу сторону, но Вы предостерегающе махнули рукой и тихо, явно сказали, чтобы я не подходила. Вы пробирались как-то странно, по стенке... Итак, отверженный и все-таки заботящийся о других...».

И еще письмо. Письмо человека, учившего А. И. в молодости, позднее ставшего коллегой, другом, человека, наставлявшего и мое поколение — Марии Ефимовны Сергеевны — талантливого исследователя римской цивилизации, превосходного переводчика.

«Дорогой, Аристид, Вы знаете, что я не охотница до писем (тем более к лицу, которое живет в том же городе и которое я вижу каждую неделю) — значит, если пишу, то чем-то душа взволнована. Я не могу сказать, что Ваш доклад доставил мне удовольствие: это не то слово и его мало. Это было не только наслаждение чисто интеллектуальное; к нему в сильной мере примешивалось еще что-то, что я не могу определить, но что я чувствую, читая прекрасные стихи, неотрывно глядясь на тихо гаснущее зарево заката...

Мой дорогой старый друг (хотя Вы иногда вели себя по отношению ко мне свинья-свиньей, Вы неизменно оставались старым, любимым другом), разница между нами велика: я гораздо меньше Вас. Но в одном мы равны: и для Вас и для меня наука всегда

была жизнью жизни, а не дойной коровой и средством к чему-то вроде теплого местечка, и эта “жизнь жизни” требовала полной отдачи себя и на большое (“проблемы”) и на малое: все было дорого и любимо, все было ценно, и без “малого” не могло стать крепко на ноги и “большое”. И вот, выйдя из нашей 18-й (аудитория в Ленинградском отделении Института истории, где А. И. Доватур читал доклад — А. К.), я почувствовала такое одиночество, такую заброшенность в этом мире, где существуют только “проблемы”, где учиться некому, потому что все всё знают, а если есть что-то, чего они не знают, то это мелочи, что-то ничтожное и неважное, чему учиться не то, что не стоит, но просто их недостойно... И мне захотелось уцепиться за Вашу руку, последнюю опору в безнадежно разваливающемся храме, который мы когда-то со спокойной гордостью называли “классической филологией”. Жму лапу. М. Сергеенко 27 октября 1968 г.».

Нет Аристиды Ивановича, давно уже нет Марии Ефимовны, нет многих, наставлявших и учивших не одно поколение.

Главное, нет Авторитета, академического, эстетического, нравственного.

Остается надежда, что наше будущее — это не только прошедшее, что после хаоса, общественного безумия и полной социальной безответственности наступит хоть какой-то светлый день. «Жаль только жить в эту пору прекрасную», как заметил классик, «уж не придется ни мне, ни тебе», дорогой читатель!

И все-таки *laboremus!* — давайте работать!

¹ Письма Д. С. Лихачева, С. А. Поповой, М. Е. Сергеенко, фрагменты воспоминаний и дневника А. И. Доватура, документы из его архива приводятся по книге А. Н. Васильева.

² Из писем А. И. Доватура к Е. А. Миллиор // Вестник Удмуртского университета. 1995. Спецвыпуск. С. 56.

³ Фрейденберг О. М. Осада человека / Публикация К. Невельского // Минувшее: Исторический альманах. М., 1991. № 3. С. 33.

К 90-летию ВГУ: из недавнего былого

Г. Веллас

ПОКА ЖИВУ — НАДЕЮСЬ...

I

Я РОДОМ ИЗ ЭПИРА

Я жил, учился и работал в Воронеже с 1957 до 1999 года. Как будто целая вечность прошла с той поры, как я появился здесь! А если точнее — 50 лет. И все эти годы я публикуюсь в газетах и журналах области. Однако очень редко приходилось рассказывать воронежцам о себе. Пользуясь случаем — 90-летием ВГУ, хочется не просто рассказать, а привести здесь отдельные фрагменты из моих дневников, которые носят название «Одиссея моей жизни».

...Я принадлежу к тому поколению греков, которые не сражались с оружием в руках за свободу и независимость Греции. Но наше поколение испытало на себе все ужасы фашизма и войны.

Родился я в 1936 году в селе Дросопиги в Эпире — необыкновенном крае на севере Греции. Удивительной красотой нашей природы восхищался когда-то лорд Байрон. И каждая вершина здесь может рассказать историю мужества нашего народа, которая ведется с очень далеких времен.

Есть в Эпире горная деревня Сули. Еще со времен турецкого ига хранится в народной памяти легенда о подвиге ее жителей. Оказавшись в засаде, один за другим погибали доблестные защитники Сули. И тогда женщины этого селения, чтобы не попасть в рабство к туркам, пошли к отвесной скале горы Залонго. Поцеловав своих детей, они бросили их в пропасть. А потом, взявшись за руки, начали петь и танцевать. С каждым кругом одна из женщин подходила к краю пропасти и бросалась вниз. А песня все звучала в горах — песня несломленного духа и ненависти к врагу. Пятьдесят семь кругов танца — пятьдесят семь огненных строк песни...

Сегодня на горе Залонго стоит памятник, который напоминает живущим о тех греческих женщинах, их любви к Родине. И эту их песню, песню любви и ненависти, еще не раз потом будут петь женщины Эпира в годы Сопrotивления.

Мне было немного лет в то время, но эти годы остались в моей памяти — навсегда. Именно тогда я впервые увидел кровь, убитых и расстрелянных. И испытал вместе со всеми страшный в своей безысходности голод. Тысячами умирали дети, женщины, старики. Каждый из нас ожидал услышать «печальный звон колоколов». Именно тогда родились в моей душе позднее написанные стихи.

В 1944 году Греция была освобождена. Но не все греки пожинали плоды свободы. «Союзники» начали вешать наших отцов и матерей, братьев и сестер, всех тех, кто с оружием в руках добивался долгожданной свободы. Вот почему в 1946 году начинается еще одна война, более страшная — гражданская. И опять — разрушения, голод и смерть.

После поражения революции 1949 года мне, как и многим моим сверстникам, пришлось покинуть Родину.

Начинаются мои скитания по разным странам — Албании, Югославии, Болгарии, Румынии, вдалеке от родных и близких. Будучи студентом греко-румынского лицея в Бухаресте, начал писать стихи. Потом, спустя много лет, я узнал, что мои родители живы и здоровы, переехали в Советский Союз — в Ташкент. Я поехал к ним.

II

Я В СОВЕТСКОМ СОЮЗЕ

В Ташкенте я работал грузчиком, каменщиком. В 1957 году поступил в Среднеазиатский государственный университет (САГУ), откуда был направлен учиться в Воронежский государственный университет на историко-филологический факультет.

Первая встреча в ректорате ВГУ с Митрофановым и Некрасовым вдохновила нас — первых иностранцев на историко-филологическом факультете. Кстати, их родительские наставления и поддержку мы чувствовали все время, до окончания ВГУ, а все, что они нам обещали, было выполнено. Затем была встреча с деканом историко-филологического факультета, а 1 сентября 1957 года состоялся первый урок русского языка с Людмилой Петровной Комиссаровой. Людмила Петровна была для меня первой учительницей русского. Но, к сожалению, она не смогла довести нас до конца, так как серьезно заболела: у нее было белокровие. Мы, студенты-греки, были шокированы этим и стали всюду узнавать, как можно вылечить такое заболевание. Какие-то женщины подсказали нам, что Людмиле Петровне могут помочь сухофрукты. Мы написали своим родным в Ташкент и вскоре получили от них большую посылку с сухофруктами. Но они не спасли Людмилу Петровну.

Людмила Петровна Комиссарова была красивейшей женщиной, прекрасным человеком и талантливым педагогом. Мы были крайне опечалены ее смертью...

III

МОИ ДУХОВНЫЕ УЧИТЕЛЯ

В моей духовной культуре учителями были греки, румыны, русские. И, конечно же, Воронеж занимает в этом плане особое место. Я учился здесь у замечательных педагогов. Среди них были В. И. Собинникова, А. И. Чижик-Полейко, М. В. Федорова, Л. П. Комиссарова, А. М. Абрамов, Б. Т. Удодов, А. Б. Ботникова, З. Д. Попова. Учась у таких замечательных людей, боль-

ших знатоков и подвижников своего дела, просто невозможно было не полюбить русскую и советскую литературу, вообще искусство.

Первый экзамен по русскому языку я сдавал очень строгому преподавателю — Раисе Куприяновне Кавецкой. Я очень волновался. Причины для этого были веские. Мои друзья-греки имели преимущество передо мной: ведь они окончили десятилетку в Советском Союзе. Я же учил русский самостоятельно. Поэтому первый экзамен прошел не без курьеза. При морфологическом анализе предложения все у меня шло как будто гладко. Но когда я дошел до слова «моросить», то растерялся. Я не знал, что это слово означает. Раиса Куприяновна рассмеялась. Я твердо отвечал ей, что это глагол, но этимологии слова не знал. На помощь мне тут же пришел мой земляк Трифон Спасис. Он хорошо знал и греческий, и русский и подсказал мне, что это слово означает.

Покидая аудиторию, я был рад, что этот экзамен сдал. Он был для меня самым серьезным. Ведь я работал на стройках Ташкента и русский язык для вступительных экзаменов в САГУ учил, как уже сказал выше, самостоятельно.

Мои ляпсусы по русскому языку продолжались долго. Когда-то я был страстным поклонником футбола. И вот однажды побывал на воронежском стадионе «Труд» на игре сборной Черноземья с московским «Динамо». Я пошел на этот матч, чтобы увидеть Льва Яшина, которого знал еще с Бухареста. Со стадиона я пришел в университетское общежитие № 2 взволнованным. Ребята стали спрашивать меня, откуда я вернулся таким красным, как рак. Я ответил, что мне удалось достать билет на футбол, и я побывал на встрече «уборной Черноземья с командой Яшина». Ребята от хохота схватились за животы. Я призадумался, над чем они смеются. Понял, что слово «уборная» — совсем не из области футбола, но было уже поздно. Все хохотали, а я со слезами на глазах поднялся на второй этаж общежития и стал, успокаивая себя, искать значение этого слова в русско-новогреческом словаре, чтобы в следующий раз не ошибиться.

И все же эти студенческие годы были для меня самыми добрыми и самыми светлыми в жизни. Позднее, когда я уже работал на факультете РГФ, подготовительном факультете и истфаке, я понял, как мне повезло, что я учился на филологическом факультете. У филологов, я бы сказал, был другой менталитет. Здесь царствовала не только любовь к науке, но и какая-то необыкновенная теплота, человечность.

IV ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА

Моя педагогическая практика проходила в воронежской средней школе № 28. К сожалению, я не помню, кто у нас был руководителем практики. Но мне эта практика запомнилась на всю жизнь.

Мне досталось вести урок литературы. Ребята проходили в это время творчество Михаила Юрьевича Лермонтова. Можно себе представить, как мне, иностранцу, было непросто вести урок на русском языке. Я должен был, готовясь к уроку, проверить интонацию каждого предложения, которое я скажу школьникам, ударение в каждом слове!

Настал день урока. Вместе со мною волновались все мои сокурсники. Я должен был рассказать школьникам о «Мцыри». У меня дрожали и руки, и ноги. Но несмотря на это я неплохо провел и опрос учеников по предыдущей теме, и объяснил новый материал. «Мцыри» я хорошо знал еще со времен моей учебы в Румынии, и это мне помогло. В Бухаресте я пристально интересовался русской и советской поэзией, в лицее проводил несколько заседаний литературного кружка и темами этих заседаний была поэзия М. Ю. Лермонтова, маленькие трагедии А. С. Пушкина и песни Михаила Исаковского (тогда советские песни были в Румынии очень популярными).

Когда я после завершения педагогической практики покидал 28-ю школу, то мои ученики, прощаясь со мной, называли меня не Георгием Янновичем. Они говорили: «До свидания. Мцыри!» Когда позднее приходилось встречаться с ними на улицах города, они называли меня точно так же.

Словом, практика прошла для меня удачно. И я никогда не забуду, как помогли мне в это время мои коллеги с курса Светлана Чувозкова (Гусева), Галина Будкова (Щербатых) и Раиса Драчевская...

С удовольствием вспоминаю и курсовые работы. До третьего курса мы писали курсовые по литературе. С разрешения деканата я дважды работал над курсовыми у одного и того же преподавателя — Бориса Тимофеевича Удодова. Я очень любил его. И не только я — все студенты филфака его любили. Первая работа была написана по маленьким трагедиям А. С. Пушкина. Как я уже говорил выше, они знакомы были мне еще с лицея. Не помню уже, какую оценку поставил мне Борис Тимофеевич, но осталось в памяти, как интересно было работать с этим прекрасным преподавателем.

Я тогда с необычайным трепетом входил в недра русской культуры и литературы, которые люблю до сих пор.

Вторая моя курсовая работа была написана по патриотической лирике моего любимого поэта — М. Ю. Лермонтова. Борис Тимофеевич поставил мне за нее «отлично». Я был неравнодушен к стихам Лермонтова с лицейских лет (в лицее я учился в 1951—1955 гг.).

Когда вспоминаю годы учебы на филфаке, то меня охватывает чувство радости. Никогда не забуду, как слушал лекции Аллы Борисовны Ботниковой по зарубежной литературе. Своими знани-

ями она буквально завораживала, магнетизировала нас. Мало кто писал на ее лекциях — все слушали. Ах, как она говорила о Гомере, о греческой трагедии!

Не было свободных мест в аудитории и на лекциях Анатолия Михайловича Абрамова — уникального специалиста по поэзии Владимира Маяковского и вообще по советской поэзии. На нашем курсе его в шутку называли «складом советской поэзии». Он читал свой курс так увлеченно, что ничего вокруг не замечал.

Такие же интересные лекции по литературе народов СССР читала нам и Полина Андреевна Бороздина. Именно тогда я понял, что на начальной стадии развития литературы все народы так похожи друг на друга...

После курсов лекций Антонины Ивановны Чижик-Полейко, Марины Васильевны Федоровой, Валентины Ивановны Собинниковой я совершенно по-иному стал относиться к русскому языку и к общему языкознанию. С тех пор стал заниматься гречизмами в русском языке. По этой теме были мои неоднократные выступления на самых разных конференциях, а в конечном итоге — дипломная работа под руководством В. И. Собинниковой «Гречизмы в русском языке». Ученый совет даже принял решение опубликовать эту работу. Но она почему-то исчезла из кабинета...

V

НА ИСТФАКЕ

В 1962 году, окончив университет, я стал работать на кафедре испанского языка факультета РГФ, на подготовительном факультете для иностранных учащихся. Знаменательным для меня было знакомство с А. И. Немировским. Благодаря этому человеку я стал историком. Был его аспирантом, защитил диссертацию по истории древнейшей Греции и с 1969 года я — на кафедре истории древнего мира и археологии.

Позднее мы встречались с Александром Иосифовичем в Афинах. Я был рад, что помог ему осуществить детскую мечту — увидеть Грецию, которую он очень любил.

После защиты диссертации я преподавал на истфаке латинский и древнегреческий языки, а затем вел курсы древнегреческой и древнеримской истории, истории древнего Востока и античную культуру. Мне было нелегко, ибо менталитет филфака и истфака — разные. Я знал, что на моих лекциях возможны всевозможные ляпсусы с точки зрения русского языка, поэтому никогда не стеснялся говорить студентам: «Прошу вас: если у меня будут речевые ошибки, непременно поправляйте меня».

Студенты понимали меня, надо сказать, больше, чем коллеги по работе, которые каждый раз устраивали открытые занятия. Но я все выдержал, надеясь на взаимопонимание и человечность с их стороны.

VI ПИШУ СТИХИ

Впервые мои стихи увидели свет в Румынии — в греческих журналах «Эспонитис» («Комсомолец»), «Аэтопула» («Пионер»), в ГДР — в греческом журнале «Пирсос» («Факел»). Неоднократно печатался в газете «Неос Дромос» («Новый путь»), которая издавалась греческими политэмигрантами в Ташкенте, в кипрской газете «Харагви» и др. Мои стихи появились и в сборнике «Молодые поэты», изданном в Бухаресте в 1954 году, в антологии греческих поэтов, проживающих в СССР. Печатался в альманахах, в других коллективных сборниках.

Летом, когда ездил на родину, неоднократно выступал по радио — не только со своими стихами, но и с переводами стихов Пушкина, Кольцова, Никитина, Ахматовой, Мусы Джалиля, Евтушенко и других поэтов.

Мои стихи переводили на русский язык и поэты нашего университета, и известные поэты Воронежа: В. Сухомлинов, Л. Косыков, О. Шевченко, Е. Новичихин, С. Шереметев, А. Пресман, Л. Москвина, а также греческий поэт Алексос Диамантопулос и другие. Переводы печатались на страницах газеты «Воронежский университет», в «Молодом коммунаре», «Коммуне», в журналах «Подъем», «Смена», в вышедших в Воронеже коллективных сборниках «Тропа», «Рукопожатие». В 1962 году сдал в Центрально-Черноземное книжное издательство свой сборник стихов «Эллада — моя любовь», который был рекомендован к изданию правлением Воронежской организации Союза писателей России. К сожалению, в Воронеже я его так и не дождался. Но я давно привык жить по древнеримской поговорке: «Пока живу — надеюсь». Сборник вышел в 1992 году, спустя тридцать лет, когда я уже жил в Афинах.

Иногда — реже, чем хотелось бы, — мне удастся на несколько дней приехать из Греции в Воронеж. Меня недавно кое-кто даже упрекнул: мол, не признают тебя в Греции, приезжаешь в Воронеж за славой? Для меня это было страшным оскорблением. Я считаю Россию своей второй Родиной. Честно говоря, Грецию я часто называю мачехой — и в беседах с друзьями, и в стихах. Очень скучаю по Воронежу, по университету, по своему филфаку. Приезжаю в Воронеж по зову сердца. А к тому же чтобы немного подработать, знакомя воронежцев с греческими писателями.

Удастся ли побывать в Воронеже еще раз? Пока живу — надеюсь...

От всей души поздравляю филологов ВГУ с юбилеем, желаю всем здоровья, благополучия и успехов во всех делах и замыслах.

А. А. Слинько
ПОЛЕМИЧЕСКИЕ ПЕРЕДЕРЖКИ
(По поводу одной статьи)

Предисловие и публикация М. А. Слинько

В 2004 году В. А. Свительский, просматривая материалы из архива А. Слинько, остановил свое внимание на той статье ученого, которая сегодня будет предложена вниманию читателей. Приведем текст заметки Владислава Анатольевича по этому поводу: «Хранить до поры до времени! Опубликуем в «Фил. записках» к 75-летию Анатолия Александр.».

История предлагаемого материала уже описывалась¹.

Принципиальная критика всегда добросовестна. Если критика стремится помочь молодому писателю, она должна быть избавлена от субъективизма и предвзятости. Она может быть резкой по форме лишь в том случае, если она доброжелательна по существу.

Этих элементарных требований, на мой взгляд, не всегда придерживался ростовский поэт Ашот Гарнакерыян, когда он в «Литературной России» полемизирует с Е. Евтушенко².

Критик, вспоминая статью Е. Евтушенко «Мы — наследники великой поэзии», упрекает поэта в пренебрежительном отношении к Пушкину.

«Беря под защиту Вознесенского, — утверждает А. Гарнакерыян, — Евтушенко не очень снисходителен к Пушкину. Вот что он пишет о нем: «Но Пушкин все-таки лишь в общих словах писал о молодых крестьянках:

Здесь девы юные цветут
Для прихоти бесчувственной злодея.

Пушкин даже в гениальных стихах об Арине Родионовне не заглядывал в самую глубь души своей няни».

По Евтушенко получается, что Пушкин поверхностно знал жизнь народа. Чтоб возвеличить Некрасова, он принес в жертву Пушкина, совершенно не отдавая себе отчета в том, что сказки Пушкина, рассчитанные (?) не на одно столетие и никем до сих пор не превзойденные, являются энциклопедией народной мудрости, его чаяний и надежд. И это Пушкин раскрыл глубоко народный характер Пугачева во всей его сложности и противоречивости. И, конечно же, Евтушенко можно было бы порекомендовать учиться у Пушкина проникать в глубины народной души».

Последняя рекомендация, конечно, справедлива. Хотелось бы только заметить, что учиться у великих мастеров русской поэзии, и, в первую очередь, у Пушкина, как раз и призывает молодых поэтов Евгений Евтушенко в статье «Мы — наследники великой

поэзии». И при этом замечает: «Все, что я говорю в этой статье, я говорю и себе»³.

Мне хотелось бы напомнить то место статьи, где Евтушенко говорит о своем отношении к Пушкину:

«Я думаю о Пушкине, в котором с такой неповторимой навеки молодой гармоничностью сочетались и шалое «Подъезжая под Ижоры», и душераздирающее «...мальчики кровавые в глазах!», и строго-чеканное «тяжелозвонное скаканье по потрясенной мостовой», и лукаво усмехающееся «Не гонялся бы ты, поп, за дешевизной...», и буйно чувственное «...мой пламень делит поневоле», и тихо целомудренное «Я вас любил, любовь еще, быть может...»

Мы должны учиться у Пушкина быть цельными, и в то же время разнообразными, ибо гармоническая разнообразность есть самая высшая форма цельности.

Мы должны учиться у Пушкина его полнокровному ощущению жизни — с ее горестями и радостями, с ее подлостями и подвигами, с ее запахами, звуками и красками...»⁴.

Невольно вспоминаются стихи Евтушенко:

Причудливо,
 точно,
Сквозь время он пущен,
 и в будущем
 тоже
Он тот же.
Он — Пушкин⁵

Где же тут неуважение к Пушкину, «недостаток снисходительности» и упрек в том, что Пушкин «поверхностно знал жизнь народа»?

Теперь о сопоставлении Пушкина и Некрасова.

Я беру одну из последних значительных работ о Некрасове — книгу А. Еголина «Некрасов и поэты-демократы». Читаю: «Творчество Некрасова относится ко второму, разночинскому этапу освободительного движения в России. Поэт стоял к народу ближе, чем его великие предшественники — Пушкин, Лермонтов, Гоголь»⁶. Далее: «Никто из поэтов до Некрасова не спускался так глубоко в «низкую» жизненную прозу, чтобы черпать в ней вдохновение... Никто до Некрасова не поднимал «низкую» прозу жизни на такие вершины поэзии, не был так близок к подлинно демократической точке зрения на социальную действительность. Некрасов имел право сказать, что в его стихе «Кипит живая кровь». Только ему, поэту с народным сердцем, оказалась по силам задача создать новый стиль демократической поэзии»⁷.

Проблема отношения поэзии Некрасова к поэзии Пушкина после исследований К. Чуковского, А. Еголина, В. Евгеньева-Максимова перестала быть спорной. Отмечая, что хотя «на том историческом этапе, когда вообще писать о народе считалось неприлич-

ным, многие стихи Пушкина были первой дерзновенной попыткой», все же «Некрасов выше Пушкина в изображении простого люда России...», Е. Евтушенко не делает никакого открытия. В соответствие с общепринятой точкой зрения, рассматривая Некрасова как продолжателя Пушкина, он справедливо отмечает: «И эта способность жить жизнью самых простых людей как своей жизнью, не есть ли еще более высокая гуманистическая ступень, на которую поднял Некрасов русскую поэзию после Пушкина, Лермонтова и Тютчева?!»⁸.

Зачем же понабилось А. Гарнакерьяну прибегать к передержке? Неужели он полагает, что от этого его критика станет более убедительной?

Вероятно, Е. Евтушенко немного пристрастен в оценке поэзии А. Вознесенского. Я думаю, что и в эпоху ракет, даже с учетом «Бешеной скорости атомного века», так же как и в эпоху телег, остается для художественных произведений неизменным требованием единство «поэзии живой и ясной, высоких дум и простоты». Думаю, что усложненность поэтических образов делает круг читателей поэзии А. Вознесенского уже, чем круг читателей того же Е. Евтушенко. Но было бы также пристрастием утверждать, что в статье «Мы — наследники великой поэзии» Евтушенко относится к Вознесенскому не критически. Когда он пишет, в частности, о том, что «...скоростным потоком образов иногда не раскрывается, а заслоняется реальный мир, в том числе, и сам Вознесенский»⁹ — он, по существу, упрекает Вознесенского именно за отсутствие простоты. Забывая сказать об этом, А. Гарнакерьян и здесь допускает передержку.

Неправда и то, что к числу «Наследников великой поэзии» Е. Евтушенко относит только пять поэтов: Ахмадуллину, Вознесенского, Рождественского, «немного» Цыбина и самого себя. Кстати, зачем это «немного»?

О Цыбине в статье сказано очень уважительно — не менее уважительно, чем о Вознесенском. Здесь снова передержка!

О себе Евтушенко говорит лишь в той мере, в какой он говорит о всех молодых поэтах в целом. Подробнее остановившись на особенностях поэзии А. Вознесенского, В. Цыбина, Б. Ахмадулиной, Р. Рождественского, Н. Матвеевой, он говорит также о надеждах, которые внушают «... и мальчишеская искренность Риммы Казаковой, и иногда слишком жестковатая прямота воронежца Владимира Гордейчева, и непокорная вихрастость свердловчанина Ильи Фоякова, и мужественная обветренность владивостокца Виталия Коржикова, и не всегда глубокая, но искренняя полемичность краснорядки Майи Борисовой, и смущенная скуповатость киевлянки Юнны Мориц, и задорность еще совсем ломающихся голосов Игоря Волгина и Владимира Лугового»¹⁰.

Зачем же упрекать Евтушенко в том, что он небольшую группу молодых поэтов отделяет от всей поэтической молодежи?

Подчеркивая, что молодые поэты должны учиться не только у классиков русской литературы, но и у своих более опытных современников, Евтушенко пишет:

«...Я назову реально действующих поэтов, — конечно, некоторых из них.

Мы должны учиться серьезности Твардовского, отточенности Ахматовой, доброй внимательности к людям Смелякова, умной улыбке Светлова, взрывчатости Кирсанова, метафоричности Мартынова, напряженности Антокольского, обнаженной грубоватости Слуцкого, философичности Винокурова.

Мы должны вбирать все их лучшие качества, оставаясь в то же время самими собой.

И, конечно, мы должны учиться друг у друга, не задирая носа от собственных маленьких или больших удач»¹¹.

Что можно возразить против этих мыслей? Где тут А. Гарнакерьян обнаружил претенциозность? Неужели — только в названии «Мы — наследники великой поэзии»? Ну а кто является наследниками великой поэзии прошлого, как не советские поэты, в том числе, и поэтическая молодежь? Что же тут претенциозного?

Вызывают возражение и отдельные другие положения статьи А. Гарнакерьяна. Гарнакерьян бросает молодым поэтам упрек в небрежном отношении к рифме. Это — серьезное замечание. Но его нужно обосновать. Как это делает критик? Он берет для примера несколько неудачных рифм, принадлежащих молодым поэтам, из сборника «День поэзии». Но разве это метод доказательства? Конечно, у молодых поэтов (и не только у молодых) можно найти примеры неудачного «версификаторства». Но когда А. Гарнакерьян из нескольких неудачных рифм делает вывод, что молодые поэты вообще небрежно относятся к рифме, он, по-моему, не только искажает факты, но и упрощает проблему рифмы как элемента художественной формы.

А. Гарнакерьян выступает в защиту «пособий для начинающих». Я тоже уважаю авторитет этих пособий, а потому не могу не сослаться на одно из них — академическую «Историю русской литературы». В статье, посвященной творчеству крупного русского поэта А. К. Толстого, И. Ямпольский пишет: «для поэзии Толстого, и в первую очередь, для его лирики характерна одна черта, которая довольно ярко сказалась в его отношении к рифме. Толстого упрекали в том, что он употреблял плохие рифмы. В ответ на эти упреки он подробно изложил свои взгляды на рифму и связал их со своей поэтической системой. Неточная рифма, созвучие, имевшие место еще в народной поэзии и получившие особенное распространение в русской поэзии во второй половине XIX века,

для Толстого лишь частное проявление близких ему поэтических принципов. «Приблизительность рифмы в известных пределах, — писал он Маркевичу в 1859 году, — не только меня не пугает, но, по-моему, может сравниться с храброй кистью венецианцев, которые именно своей неточностью или, лучше сказать, небрежностью достигают... того, чего Рафаэль не мог достигнуть со всей своею чистотой линий» (IV, 183).

Через много лет, в ответ на тот же упрек, Толстой снова заявил: «Дурные рифмы я пишу сознательно в тех стихотворениях, где я считаю себя вправе быть неряшливым».

Приведя ряд сравнений из истории искусства, подкрепляющих его позиции, Толстой следующим образом отозвался о молитве Гретхен в «Фаусте»:

«Есть ли что-нибудь хуже рифм в этой великолепной молитве? Это единственная вещь в смысле наивности и правды! Но попробуйте исправить фактуру, придать ей более правильности, более изящества, и все будет испорчено.

Вы думаете Гете не мог писать лучших стихов? — Он не хотел, и тут доказал свое удивительное поэтическое чутье. Есть некоторые вещи, которые должны быть выточены; есть другие, которые имеют право и даже обязаны не быть отделанными под страхом казаться холодными (письмо к Маркевичу от 20 декабря 1871; IV, 241,242).

Далее литературовед справедливо резюмирует:

«...Разумеется, у Толстого есть просто слабые стихотворения и строки, но речь не об этом. Он был прекрасным версификатором, мастером рифмы и достаточно владел языком; сгладить стих, поправить рифму, заменить неудачное выражение не составляло для него большого труда. Но особого рода небрежность была органическим свойством его поэзии; она создавала впечатление, что поэт передает свои переживания и чувства в том виде, как они родились в нем, что мы имеем дело почти с импровизацией, хотя на самом деле Толстой тщательно обрабатывал и отделывал свои произведения».

Как видно из этого поучительного примера, — говорить об особенностях рифмы у того или иного поэта нельзя в отрыве от индивидуальных особенностей его поэзии в целом. Так же как и музыку — поэзию нельзя «разъять как труп».

А. Гарнакерьян щедр на исторические параллели. Он не постеснялся вспомнить Бенедиктова, Кукольника, Северянина и даже Тургеневского Пигасова. Нельзя, однако, не заметить, что критические приемы самого А. Гарнакерьяна напоминают почтенного поэта XVIII Сумарокова, который, как известно, весь анализ од Ломоносова свел к цифровым подсчетам «строф прекраснейших», «строф прекрасных», «строф весьма хороших», «строф хороших», «строф изрядных», «строф, по моему мнению, требующих большова исправления» и строф, «о которых я ничего не говорю».

Разница только в том, что, несмотря на вею неприязнь к Ломоносову, Сумароков все-таки стремился в меру сил и своего понимания поэзии быть добросовестным и, во всяком случае, не допускал таких изысканных оборотов как сравнение своего оппонента с пустой бочкой.

А. Гарнакерьян упрекает критика «Литературной газеты» Б. Сарнова за его слова о том, что некоторые молодые поэты могут собрать полную аудиторию даже в Лужниках. «Дело, в конечном счете, — пишет он, — не в количестве, а в квалифицированности аудитории». Вот тебе и раз! Начав с критики формалистических выкрутас и псевдонаторства, А. Гарнакерьян кончил проповедью «искусства для избранных», кончил тем самым доводом, к которому обычно прибегают модернисты, когда они стремятся оправдать тот факт, что их искусство чуждо народу!

Есть поэты, которые могут собрать полную аудиторию в Лужниках. И Е. Евтушенко, бесспорно, принадлежит к их числу. Есть поэты, которые не соберут такой аудитории. Но стоит ли из-за этого путаться в трех соснах?

Статья А. Гарнакерьяна не убедительна. И не убедительна она, прежде всего, потому, что недобросовестно написана. Этим критик наносит вред больше всего — самому себе, потому что предвзятое изложение фактов затемняет и заслоняет то положительное и справедливое, что есть в его критических замечаниях.

«Что это за нравы, откуда они перекочевали в нашу среду? — пишет в завершение своей статьи А. Гарнакерьян. — Не пора ли кончать с ними. По-моему времена проработок давно прошли».

Что правда — то правда.

¹ Одним из любимейших поэтов Анатолия Александровича всегда был Е. Евтушенко. Поэтому, когда при Н. Хрущеве началась травля поэтов-шестидесятников, А. Слинько, никому не известный аспирант из Воронежа, направил в журнал «Вопросы литературы» заметку «Полемические передержки (по поводу одной статьи)» (1962 г.) в защиту Е. Евтушенко и его товарищей. Ответ был получен год спустя. По политическим соображениям статья не могла быть напечатана. В. Непомятый, один из тогдашних работников редакции, корректно пишет об этом в своем кратком ответе: *«Уважаемый товарищ Слинько! Простите, пожалуйста, за то, что отвечаем Вам с большим запозданием. В то время, когда Вы прислали свое письмо, у нас не было возможностей полемизировать по затронутым Вами вопросам. Сейчас это не менее трудно — еще и потому, что прошло довольно много времени»* (Слинько М. А. Эпизоды из жизни нашего современника. К 70-летию со дня рождения А. А. Слинько // Филологические записки. Вып. 20. Воронеж, 2003. — С. 220.)

² Гарнакерьян А. «Еще о версификаторстве» // Литературная Россия — 1962. — № 12. — С. 5.

³ Евтушенко Е. «Мы — наследники великой поэзии» // Молодой коммунист. — 1962. — № 10. — С. 47.

⁴ Там же. — С. 47.

⁵ *Евтушенко Е.* Нежность. — М., 1962. — С.60.

⁶ *Еголин А.* Некрасов и поэты-демократы. — М., 1960. — С. 30.

⁷ Там же. — С. 32-33.

⁸ *Евтушенко Е.* «Мы — наследники великой поэзии». — С. 40.

⁹ Там же. — С. 55.

¹⁰ Там же. — С. 58.

¹¹ Там же. — С. 53.

М. Граф
ВЛАДИСЛАВ АНАТОЛЬЕВИЧ,
ЧЕЛОВЕК ПОЛИФОНИЧЕСКИЙ

Предисловие Н. М. Митраковой

Барбара Кох и Марион Граф (до замужества Шнайдер) — наши швейцарские друзья.

Марина пишет, что знакомство с нами ей подарила Барбара. Дело в том, что Барбара сама по себе — подарок, подарком был ее приезд в наш город, подарком для нас стало то, что она посоветовала Марине выбрать в качестве города для продолжения работы по Достоевскому именно Воронеж, и именно Владислава Анатолевича — в качестве консультанта.

Барбару в Воронеж направил Лев Алексеевич Шубин, в то время активно изучавший творчество Андрея Платонова. Обратиться Барбара должна была к Владиславу Петровичу Скобелеву, а поскольку оба Владислава, Скобелев и Свительский, уделяли Платонову много внимания, Барбара попала в круг их общих интересов. И общалась то со Скобелевым, то со Свительским. Тяжело ей бывало тогда, когда они сидели вместе. По словам Барбары, ей нужно было два-три дня, чтобы разобраться в той информации и эмоциях, которые обрушивались на нее в таком общении.

Много вместе гуляли. Знакомили Барбару с городом, с окрестностями города. И — беседовали, разговаривали. Чаще всего отвечали на вопросы Барбары, главным из них был вопрос — «Почему?». Маршрут был постоянным. От дома, где мы тогда жили, на углу улиц Ленина и Республиканской, вниз, через железную дорогу, к совсем еще неустроенной набережной нашего рукотворного моря.

Барбара и Марина — очень разные. Четкая, пунктуальная Барбара, все свои дела заранее планирующая, не дающая воли своим чувствам. И Марина — романтически настроенная, устремленная и стремительная, эмоциональная. В Воронеже девочки были в разное время, но беседы с ними обеими, безусловно, обогащали обе стороны — нас,

воронежцев, и их, таких ярких представительниц Швейцарии. Разными мы были, но открытыми и искренними.

Современная русская литература в то время только поднимала голову. Появились произведения Ф. Абрамова, Б. Можжева... Прочитали «Привычное дело» Василия Белова.. Потрясла повесть своей пронзительностью, неподдельной честностью, болью за человека. Марине хотелось все это прочитать — и понять... Не завершила Марина свою работу о Достоевском. Вышла замуж, появилась дочь — Ребекка. А Марина — человек самоотверженный, преданный, мама из нее получилась трогательная. И Марина нашла свое занятие, стала серьезной переводчицей. Как-то в письме она обозначила себя как переписательницу. Главный ее автор до недавнего времени — Роберт Вальзер. Не теряет она интерес и к нашей литературе, выпустила серьезную книгу об Анне Андреевне Ахматовой, близки ей произведения О. Мандельштама, Б. Пастернака, М. Цветаевой. Знакома Марина и с творчеством современных наших авторов.

Барбара творчеством Андрея Платонова занималась серьезно, публиковались ее статьи в научных журналах. Но... так сложилось, последнее время Барбара обучала русскому языку своих соотечественников. Нашла много друзей, которые и сейчас, когда Барбара серьезно больна, не оставляют ее без внимания.

И обе наши подружки, каждая из которых — подарок судьбы, сделали нам бесценный подарок. Когда ушла из жизни последняя наша бабушка, они спланировали и полностью профинансировали нашу поездку в Швейцарию. Увиденное — не просто запомнилось, многое стало понятнее и в нашей жизни. Годы прошли, а некоторые детали увиденного все еще возникают в памяти. Владислав Анатольевич все повторял: «Не сравнивай!». Трудно это — не сравнивать... Увиденного — множество, впечатлений — на всю жизнь.

Не говорю о больших городах. О маленьких: сказочный Новшатель, умиротворенный Шафгаузен, альпийское местечко под названием Шампери, пещера в глетчере... А у Владислава Анатольевича были и свои самые дорогие впечатления. Вот одно из них. Подруга Барбары повела нас в начальную школу и показала класс, в котором она работала. Очень большая и светлая комната. Громадная, во всю стену доска, на которой еще были видны какие-то записи, ученические столы, полукругом стоящие вокруг учительского места. На широких подоконниках и на столах у задней стены — множество музыкальных инструментов. И традиционных, и фольклорных. В углу — золотисто-коричневый рояль А на глухой стене напротив окон — множество довольно больших репродукций, среди которых увидели мы и картину любимого Славой М. Шагала, витебские его улочки с бредущими домами... Владислав Анатольевич редко свои чувства демонстрировал, а тут в его глазах я увидела слезы...

Редко мы встречались в последние годы. Но интерес, участие в жизненных перепетиях друг друга сохранялись. И когда Владислав Анатольевич был на симпозиуме, посвященном Ф. М. Достоевскому, в Баден-Бадене, и Барбара и Марина приезжали в Германию, чтобы послушать его выступление, чтобы повидаться с ним, поговорить... Марина была и на симпозиуме в Женеве. Это уже в 2004 году. У Владислава Анатольевича был доклад «Метаморфозы кризиса и бунта: «Логические романы» Достоевского и Герцена». Марина пригласила на доклад и своих друзей...

Идет время. И нам остается только в делах своих хранить те чувства и отношения, которые зарождались так давно, еще на улице Республиканской, которую Марина называет дореволюционным ее именем — Варваринской...

Сегодня мне все еще трудно поверить, что Владислав Анатольевич Свительский ушел из этого мира. Блеск его глаз, веселая и добрая улыбка, исключительная галантность и эта немного насмешливая, отличающая от других манера противостоять неотвратимым жизненным обстоятельствам — настолько неподвластны смерти, что кажется: в любой момент я могу услышать его голос и смех, увидеть такие знакомые глаза, поблескивающие за стеклами очков.

В январе 1977 года в качестве стажера я приехала в Воронеж. В рамках обмена студентами, существовавшего между Швейцарией и СССР, я получила стипендию, позволившую мне провести шесть месяцев в этом городе. Мои планы включали совершенствование русского языка и работу над исследованием «Поэтика пространства в романе *Братья Карамазовы*». Моя подруга Барбара Кох из Берна подсказала: один из выдающихся знатоков Достоевского преподает в Воронежском педагогическом институте и читает ряд лекционных курсов в университете. Если мне удастся попасть к такому *руководителю*, то я не пожалею... Барбара — к сожалению, сегодня она очень больна — тогда преподнесла мне такой замечательный подарок.

Очень скоро двери небольшого дома, стоявшего на улице Варваринской, как и сердца обитавших в нем людей, широко открылись передо мной. В любое время я находила у Владислава Анатольевича и Нины Матвеевны неподдельно дружеский прием: небольшой столик с вкусными угощениями, такими желанными в студенчестве, и беседы, беседы, увлекательные и оживленные. Ни разу хозяйева дома не дали мне понять, что они устали или заняты, что после моего позднего ухода лампа еще долго будет гореть на столе, освещая ночные работы: докторская диссертация, предисловия к книгам, новые статьи, редактирование, студенческие работы, профессиональное чтение художественных текстов... Но ве-

черами, после каждой нашей встречи, Владислав Анатольевич и Нина Матвеевна шли меня провожать. Позднее я в полной мере оценила и поняла их гостеприимство, щедрость и откровенность, с которой они отвечали на мои многочисленные вопросы об истории и различных аспектах жизни в СССР, известных им по собственному опыту. В их доме я познакомилась с сестрой В. А. Свительского Татьяной Анатольевной, прекрасным специалистом по творчеству австрийского писателя Музиля, скончавшейся, увы, также слишком рано. Помню, как мы вместе слушали пластинки, сочинения Скрябина для фортепиано, симфонии Чайковского...

О чем мы говорили с Владиславом Анатольевичем? Мне запомнились три больших «сюжета». Первым среди них был, разумеется, Достоевский. Правда, замысел моей диссертации остался незавершенным из-за профессионального выбора в пользу переводческой деятельности и семейных обстоятельств, но мне посчастливилось быть свидетелем движения мысли Владислава Анатольевича, масштабной и точной: творчество Достоевского он знал досконально. В те годы его интересовала авторская оценка, проблема важная, если учесть, что природа романов Достоевского считается полифонической. Свительский познакомил меня со взглядами Бахтина, получившими развитие в Тартуской школе.

Второй «сюжет», оказавшийся в центре внимания этого выдающегося филолога, — советская литература, прежде всего — Платонов. Беседы с Владиславом Анатольевичем открыли мне литературный Воронеж, город Кольцова, Мандельштама, Бунина, других писателей... Благодаря литературе я открыла город, современный и древний, познакомилась с его историей, которую Владислав Анатольевич хорошо знал и любил.

Третий «сюжет» составили беседы о литературе, ее эмоциональной силе, востребованности, обусловленной в наши дни, как и в прошлом, защитой духовности, вольнолюбивой природы человека, ценности личности. От Владислава Анатольевича я узнала о «деревенской прозе», получившей тогда известность. С увлечением я слушала песни Булата Окуджавы, Евы Демарчик, Новеллы Матвеевой... Моя преданность литературе, убеждение, что она, как и прежде, необходима, несмотря на Интернет, видео, электронные media — всему этому я обязана Славе. И счастлива, сознавая, что, редактируя «Филологические записки», он сумел отстоять высокий взгляд на литературу.

После моего возвращения в Швейцарию мы переписывались, встречи стали редкими. Но я не забыла прогулки, на которой состоялось мое знакомство с «Мандельштамовским Воронежем». Памятны праздники, собиравшие близких друзей и всю семью за веселым столом. Потом Нина и Слава дважды приезжали в Швейцарию, первый раз — с племянником Сергеем. Их все интересо-

вало в нашей стране. С какой же радостью я устраивала их поездки в наиболее значимые города и музеи. Мы побывали на могиле Джойса, отправлялись на прогулки в Альпы, где осматривали театр и амфитеатр столицы римской Гельветии. Любознательность моих гостей, их интерес ко всему увиденному впечатляли.

Вновь повстречаться нам удалось на конференциях, посвященных Достоевскому, в Баден-Бадене и Женеве. Мы долго гуляли по аллеям парка в Баден-Бадене. Владислав тогда сделал доклад о так называемом антисемитизме Достоевского, интерпретируя этот вопрос с иных позиций, исходя из пристального интереса романиста к проблеме «чужого», «другого», «исключительного» — важнейшей слагаемой полифонического мира Достоевского. Именно тогда, слушая доклад, я поняла, что Владислав Анатольевич в точности соответствует характеристике «человек полифонический», и эта особенность определяет исключительную глубину его личности.

В сентябре 2004 года, когда Нина Матвеевна и Владислав Анатольевич приехали в Швейцарию, мы все знали, что он тяжело болен, и, не говоря об этом, старались разделить с ним каждую минуту из отпущенного времени. Сегодня его так не хватает. Но работой, продолжая традиции нравственности и оптимизма, мы можем отдать ему должное.

Пер. с фр. О. Ю. Алейникова

Е. А. Иваньшина **ВСПОМИНАЯ АНДРЕЯ...**

С Андреем Кретиным мы познакомились в сентябре 1983-го года: пишу «мы», потому что нас было много — целый первый курс. Учебный год только начался, корпус пуст, а мы и не обращаем на это никакого внимания, так как поглощены новыми ощущениями студенческой жизни. И вот в конце учебного дня появляется Андрей (уже третьекурсник) и начинает проводить комсомольское собрание группы. Его приход вызывает некоторое раздражение — Андрей специально провоцирует вопросами, чтобы посмотреть нас «в деле».

С его приходом пространство расширилось: он обратил наше внимание на то, что в коридорах пусто, потому что старшекурсники на картошке или на школьной практике; он начал завлекать нас рассказами об особенностях факультетской жизни, о научных кружках, о днях первокурсника и студенческих вёснах, о лекциях Владимира Петровича Манаенкова (который появится у нас только на втором курсе), о Рвачёве и Золотухине (которых призывали тогда в армию), о Театре Песни. Обаянию Андрея не поддаются

было нельзя: он не был похож на тех кадровых комсомольцев, которых я знала; при том, что комсомольский огонь потух во мне ещё в школе, вдруг неожиданно для самой себя я оказалась комсоргом курса. Честно признаюсь, что комсомольская работа интересовала меня меньше всего — но симпатия к Андрею оказалась такой сильной, что я как-то сразу пошла у него на поводу. Андрей был вожатым в абсолютном смысле этого слова: на филфаке существовал круг его друзей и добрых знакомых, тесно, душевно с ним связанных и зачастую никак помимо него не пересекавшихся и даже не знакомых между собой. Пересечения наверняка вызвали ревность: филологини народ трепетный, склонный к парным отношениям, к тому же численно их на факультете намного больше. Видимо, для Андрея такой способ общения, при котором интимность совмещалась с публичностью, был наиболее органичен. Его круг открывался для меня постепенно (и открывается до сих пор), и постепенно же я научилась со своей ревностью справляться — стало очевидно, что Андрей, как и университет, принадлежит всем по-своему и никому в отдельности.

Андрей постоянно что-то затевал. Он был редактором студенческой стенгазеты “Наше слово”, и по этому поводу шутил: «Вначале было Слово, потом — “Наше слово”». Выпуск каждого очередного номера (размеров в несколько листов ватмана) был одним из тех особенных ритуалов, благодаря которым создавалась художественная атмосфера внутреннего филфака.

*Золотухин рисовал красный облак,
Красноок рисовал Золотухина,
Я — сидел, сочинял поэму.
Тут пришли две девицы-красавицы,
Две царевны южного царства да западного государства...
И кисть выронил Золотухин тут,
И упали две капли багровые — на каждого молодца да по капельке.*

Примерно так, как описал в своей поэме Андрей, всё и протекало. Процесс был важнее результата: долгими вечерами мы химичили над ватманами (могли три дня рисовать один заголовок), кто-то из филологической братии забредал на огонёк, вскладчину покупалась еда (и, разумеется, не только она); потом, когда корпус закрывался, а расходиться не хотелось, мы гуляли, дурачились — словом, роскошное было время. Хотя «Наше Слово» и считалось печатным органом факультета, только Андрею (да ещё, может, Лёне Шифрину) было ведомо, что в итоге будет висеть на стене. Однажды он поднял нас по тревоге во время зимних каникул. Помню, возвращаюсь я домой с вокзала (только приехала из Питера), ставлю сумку и предвкушаю, как завалюсь спать, — вдруг стук в окно. Смотрю — на улице Андрей и Лёня; Андрей демонически усмехается: «Чем занимаешься? Небось бездельничаешь?

У тебя пятнадцать минут на сборы — газета-то сама не нарисует-ся, а я придумал, что к открытию учебного сезона номер должен уже висеть». Через пару часов редколлегия уже трудилась.

Ещё одним долгоиграющим Андреевым проектом был теневой деканат — такой полуофициальный (потому и теневой) клуб, куда входила компания его близких друзей, точнее, часть мужского населения филфака. На счету теневого деканата — праздники на факультете. Но мне посчастливилось присутствовать только на двух таких праздниках — причём с интервалом в несколько лет. Постепенно теневой деканат перерос в теневой ректорат: видимо, с ростом внешних связей и с появлением в Андреевом кругу не-филолога Володи Фролова они решили свой статус повысить. Впрочем, это моя версия названия — лучше бы об этом рассказали участники ректората.

На какое-то время наши с Андреем пути разошлись: он работал в школе, потом в педагогическом институте, я доучивалась. Потом мы стали пересекаться во дворе моего дома, который соседствовал с пединститутом: я гуляла с коляской, он возвращался с работы, и снова можно было вдоволь наговориться. Именно тогда он и подкинул мне идею: «А приходи к нам на кафедру». Идея вскоре осуществилась, но Андрей к тому времени уже работал в ВГУ. Однако среда обитания оставалась общей: на нашей кафедре его любили, и на праздничных кафедральных застольях, в том числе загородных, он всегда был желанным гостем. Кроме того, под руководством Андрея Фаустова тогда образовались филологические посиделки на кафедре русской литературы, и там Андрей Крегинин выступал уже в другой — научной — роли. Кстати, ещё в первый год нашего знакомства Андрей придумал себе псевдоним — А. Мефистофелев. И объяснил: раз есть Андрей Анатольевич Фаустов, то я тогда кто? Я тоже Андрей Анатольевич, но не Фаустов, следовательно, Мефистофелев.

Весной, когда мы заканчивали первый курс, Андрей принёс нам почитать свою лирико-ироническую поэму, посвящённую Высокому Голубоглазому Университету. Главным героем её был Андрей Золотухин, к тому времени уже призванный в ряды вооружённых сил. Там был миф о Золотухине, который в глазах первокурсниц приобретал былинные черты: — *Говорят, он стихи писал? — И поэмы, и драмы, притом Он романы, как доски, тесал, Не считал эпопею трудом. — Говорят, он артистом был, Но героев играл лишь? — Да. — Говорят, он совсем не пил? — Только водку: вино — никогда. — Говорят, он был чуть самодур, что ему — хоть бревном теши? — Это верно: в своём саду Посадил он весной камыши...*

В связи с армией там были такие строки: *Может быть, тогда меня, трёхногого, позовёт к себе незримый рог На защиту государства островного, Где двоих уже не хватит ног...*

Своё островное государство Андрей создал сам. Оно было одновременно и открытым, и неприступным, заповедным. В этом царстве-государстве он был Граф Самсусамский. Управлял он своим государством творчески, делая окружающих соучастниками своего личного мифа. Граница перехода жизни в творчество рядом с ним переходилась незаметно. Разумеется, я прежде всего имею в виду походы на Веневитиново, приуроченные к Андрееву Дню рождения. Своих друзей-приятелей Граф собирал под заветным дубом на берегу Усманки. Для него принципиально было, чтобы поход от железнодорожной станции был пешим, чтобы речку переходили вброд по затонувшему мостику, чтобы само празднество было ночью, и чтобы шёл дождь — чем сильней, тем лучше. В связи с этим ожидаемым небесным подарком к дубу приделывался тент, и дождь был практически всегда. *С другом, во ржи, под дождём Мы разговоры ведём: — На счастье мозоль не натрёшь, А боль продырявит до дыр. — Какой удивительный дождь, И сладкий какой дым...* В программе принимали участие все присутствующие под дубом. Обязательными были вечерний футбольный матч (команда девочек против команды мальчиков) и утренний бадминтон. Сценарии таких июньских походов каждый раз сочинялись заранее: это был то пионерский праздник, то охота, то спартакиада, то фестиваль искусств. Утром прямо с поляны некоторые отправлялись на экзамен или на защиту дипломов своих подопечных студентов. Сценарий фестиваля «Крымские зори — 96» имеется в печатном виде: на одной стороне обложки — этикетка крымского вина «Бастардо», на другой стороне — Графский драматический театр представляет трагедию в пяти актах «Стон в летнюю ночь, или Так кто же убил Лору Палмер во второй раз?» (с портретом мёртвой Лоры Палмер из «Твин Пикс»). Вот увертюра из этой программы: *«Июньские иды 1996 года. Новолуние — Луна ещё не взошла и вряд ли вообще взойдёт этой ночью. Ночь перед выборами, после которых, говорят, Луна вообще уже никогда не взойдёт. Всё это угнетает. Незамеченные в безлунном ночном небе плывут облака. Квакает лягушка-вещунья. У одинокого дуба на берегу реки — группа молодых людей, играющих в фестиваль искусств. Они делают вид, что им весело и что всё приделано очень остроумно. Но тьма сгущается. Может быть, порыв ветра, может, злой дух гасят и без того неяркие блики костра, воеет выть, Луна смеётся из-за небесных кустов как фонарь, который не светит, а только притягивает тьму. Двое выходят на ночной берег не глубокой, но опасной реки. Ничто не отражается на её гладкой и скользкой поверхности и уже никогда не отразится. Ибо Луна не взойдёт...»*. Тогда мы спешили утром вернуться в город, чтобы успеть проголосовать на своих избирательных участках. Предчувствие про выборы не сбылось.

В последний раз, в июне 1997, мы задержались под дубом дольше обычного: возлежали у догорающего костра, болтали о разном, в том числе о филологии. Андрей ругал постмодернистское литературоведение, был вообще как-то полемично настроен и на вопрос о том, как мы будем отмечать его день рождения в следующий раз, сказал резко, что больше не будем, что надо искать новые формы. Помню, как я тогда всерьёз расстроилась, а он смягчил своё заявление: будем отмечать день рождения английской королевы или что-нибудь ещё. Похожее произошло с телефонным звонком. Андрей никогда не звонил мне по телефону, и когда я ему пеняла, что, мол, мог бы и позвонить, он усмехался и парировал: «Не дождёшься, ещё чего: зачем звонить, если мы находимся в одном пространстве». Позвонил он только однажды: разговор был очень долгий, Андрей говорил, что собирается круто поменять свою жизнь и уехать в Москву, потому что чувствует, как здесь его затягивает болото обыденности. Шутил, как обычно, задибался. Это было в апреле 1998 года. А в мае его не стало. Может быть, он и звонил тогда всем своим друзьям, потому что было какое-то предчувствие. На Веневитиново он тогда тоже побывал: пошёл в одиночку, и остановился не у дуба, а на другой стороне реки...

О непрочности ткани существования Андрей знал не понаслышке, а узоры на этой ткани создавал удивительные. Другим он дарил стихи и поэмы, был щедр на разного рода сюрпризы — быть может, отчасти это было сопротивление пустоте, которая останется после его ухода. Но не будем ничего придумывать — будем любить и помнить.



УЧИТЕЛЮ СЛОВЕСНОСТИ

К 190-летию со дня рождения И. С. Тургенева

В. Г. Тимофеева

И. С. ТУРГЕНЕВ «В ШКОЛЕ И ДОМА».

В общеобразовательной программе по литературе творчество И. С. Тургенева представлено с 5 по 10 классы, причем достаточно разнообразно: стихотворения в прозе, рассказы, повести, романы. По объему изучаемого и частоте обращений к произведениям писателя Тургенев намного опережает и Ф. М. Достоевского, и Л. Н. Толстого, и А. П. Чехова, сравниваясь с А. С. Пушкиным — «нашим всем». Однако если разговор о любом из великих русской классической литературы вызывает у учеников живой интерес, по крайней мере запоминание ярких страниц биографии и эпизодов читаемых шедевров, то «прохождение» курса тургеноведения оставляет впечатление досадной и нелогичной недоговоренности, ущербной схемы. Школьные «очерки жизни и творчества» в существующих учебниках вообще грешат беглостью, но случай Тургенева уникален. Если верить всем собранным воедино с 5 по 10 классы биографическим справкам, то наш классик прожил по следующему плану: 1) родился в неблагополучной семье; 2) дал «аннибалову клятву»; 3) стал светским львом, но тайно писал «Записки охотника»; 4) влюбился в Полину Виардо и уехал в Баден-Баден; 5) поссорился с Добролюбовым и Некрасовым; 6) умер, завещав поклониться родине и дубу в Спасском-Лутовинове.

Учитель, которому некогда разбираться в причинах, подвигавших и подвигающих авторов учебников на вопиющую примитивизацию жизненного и творческого пути классика, оставляет биографию художника в покое и пытается заняться тем, что в школе более насущно — изучением текстов. Уже первый из них по времени обращения к работам писателя — «Муму» — отпечатан в сознании детей и слезами глубокого переживания, и чувством горького недоумения: неужели трагедии нельзя было избежать? Мало кто из классиков располагает подобным эмоциональным авансом перед обращением учащихся в более зрелом возрасте к более сложным (что для меня — вопрос!) произведениям.

И тут мы опять сталкиваемся с примитивной схемой, на которую в школьном литературоведении с незапамятных времен принято раскладывать живую и страдающую плоть тургеневских шедевров. Учащиеся должны не понять ранее непонятое, а усвоить следующие постулаты:

1) Тургенев — чутко отзывающийся на социальные проблемы времени писатель, улавливающий мировоззренческие и поведенческие тенденции эпохи (нигилизм, освободительное движение, появление целого слоя «лишних людей» и т. п.);

2) Тургенев — реалист, достоверно и скрупулезно изображающий действительность (заплатку на плече крестьянской рубахи, убогий быт мужицкой избы);

3) Тургенев — мастер портретной характеристики (большая голова Павлуши, грязные перчатки и райская птица в волосах Кукшиной);

4) Тургенев — мастер пейзажа;

5) Тургенев — блестящий стилист.

И выучить наизусть стихотворение в прозе «Русский язык».

Мастер, отнюдь не по чьей-то прихоти с дореволюционных времен представленный на втором по важности для детей месте в курсе изучения отечественной литературы, уничижается как личность и как художник, а его «проанализированные» по схеме шедевры рассыпаются элементами паззла с потерянной исходной картинкой. Более всего от этого страдают «Записки охотника», обращение к которым в 6 классе («Бежин луг»), в 7 классе («Бирюк») и в 10 (обзор всего цикла — при наличии времени...) подчеркивает их важность и особое место в наследии классика. На них мы и остановимся в нашем дальнейшем рассуждении о сути и судьбе произведений Тургенева в школьном изводе.

Тенденциозность и схематизм принятого толкования рассказов писателя проще всего вывести из авторитетного в XX в. мнения о них А. И. Герцена: «У Тургенева есть свой предмет ненависти... он преследовал другую добычу — помещика, его супругу, его приближенных, его бурмистра и деревенского старосту»; это, говорит он далее, поэтически написанный обвинительный акт против крепостничества¹. Также нельзя забывать и утверждающего заявления В. Г. Белинского, определившего «Записки охотника» как «физиологические очерки»²: «...он (Тургенев. — В. Т.) не может создавать характеров, ставить их в такие отношения между собою, из каких образуются сами собою романы или повести. Он может изображать действительность, виденную и изученную им, если угодно — творить, но из готового, данного действительностию материала»³. Далее там же: «Не можем не упомянуть о необыкновенном мастерстве г. Тургенева изображать картины русской природы. Он... никогда не старается изображать ее только в поэтических ее видах, но берет ее, как она ему представляется. Его кар-

тины всегда верны, вы всегда узнаете в них нашу родную, русскую природу...»⁴.

В общем этой схемы школьное литературоведение всегда и придерживалось. Однако не много будет пользы, если расширить круг цитируемых отзывов хотя бы и за счет привлечения весьма авторитетных имен из других «лагерей» и «кругов». Так, недоумение вызывает уподобление П. В. Анненковым рассказов Тургенева «изящным, шеголеватым лодочкам, неоценимым для прогулок... но мало пригодным к большому... плаванию за богатствами русского духа и русской поэзии»⁵. Это мнение человека, считающегося в кругах тургеноведов одним из самых объективных и ценных мемуаристов. Но еще занимательнее сопоставление суждений Л. Н. Толстого и Н. Г. Чернышевского, высказанных с дистанцией в восемь лет, причем последнее совершенно независимо от первого:

1) Л. Н. Толстой в дневнике 1853 г. о «Записках охотника»: «Простой народ так много выше нас стоит... что как-то нехорошо нашему брату искать и описывать в нем дурное. Оно есть в нем, но лучше бы говорить про него (как про мертвого) (! — В. Т.) одно хорошее. Это достоинство Тургенева и недостаток Григоровича...»⁶;

2) Н. Г. Чернышевский в статье «Не начало ли перемены? (Рассказы Н. В. Успенского. Две части. СПб., 1861 г.)», написанной в том же 1861 г.: «Говорить всю правду об Акакии Акакиевиче бесполезно и бессовестно, если не может эта правда принести пользы ему, заслуживающему сострадания по своей убогости. Можно говорить об нем только то, что нужно для возбуждения симпатии к нему... сострадание к нему будет ослабляться знанием его недостатков. Будем же молчать о его недостатках. // Таково было отношение прежних наших писателей к народу. <...> Читайте повести... г. Григоровича и г. Тургенева... — все это насквозь пропитано запахом «шинели» Акакия Акакиевича»⁷.

Налицо недвусмысленное сближение позиций, пусть с полярными знаками, но с одинаковой однобокостью суждений, если не прямо с отказом понимать писателя. Таким образом, допустимо усомниться в пользе выстраивания концепции преподавания творчества Тургенева в школе на базе мнений даже самых авторитетных отечественной культуры. Она в России насквозь тенденциозна и к диалогу по-подростковому мало приспособлена.

Более целесообразным представляется медленное и вдумчивое чтение самих текстов «Записок охотника», а также попутное обращение учителя к предшествующим им по времени произведениям Тургенева вкуче с мемуарными записями о писателе. В процессе такой работы проявляется иной, вовсе не схематичный облик и самого художника, и его рассказов.

Тот же Анненков в воспоминаниях о молодом Тургеневе говорит о его «жажде осуждения, критики своих произведений... кото-

рая обратилась у него почти в болезнь. Он радовался всякому разбору своих произведений... обнаруживая и готовность исправления»⁸. И, однако, он же указывает на то, что начинающий писатель защищал свое право стоять особняком от господствующих течений в обществе, «не подчиняться деспотизму принятых условий существования ни в каком их виде и оградить себя от разного вмешательства посторонней силы в дела своей души, в свободное, независимое цветение своей мысли и фантазии»⁹. Любимый афоризм Тургенева в то время: «Только с теми людьми и жить можно, которые все видят и понимают — и умеют молчать»¹⁰.

Знаменательно перекликается с этим финал стихотворения Тургенева «Толпа» (1843, публ. 1844), посвященного его спорам с Белинским в первый год их знакомства:

И я молчу — о том, что я люблю...
Молчу о том, что страстно ненавижу —
Я похвалой толпу не удивлю,
Насмешками толпы я не обижу...
А толковать — мечтать с самим собой,
Беседовать с прекрасными друзьями...
С такой смешной — ребяческой мечтой
Расстался я, как с детскими слезами...
...И я тяну с усмешкой торопливой
Холодной злости — злости молчаливой
Хоть горькое, но пьяное вино.¹¹

Да, впоследствии, в спорах со славянофилами, как отмечает В. Р. Щербина, Тургенев утверждал: «Белинский и его письмо (к Гоголю. — В. Т.) — это вся моя религия»¹². Однако таковой провозглашенный пietet по отношению к властителю дум не помешал молодому писателю бросить Белинского в Зальцбрунне под надуманным предлогом и уехать именно накануне исторического события — написания «Письма...» (см. об этом с. 55 указанного тома «Тургенев в воспоминаниях современников»; Тургенев бежал от общества Белинского в мае 1847 г., а «Письмо...» было написано в июле). Свой внезапный отъезд Тургенев не стал объяснять никак и никому, в ответ на расспросы мемуариста просто пожал плечами. Характерная для него позиция.

Вот поэтому при обращении к текстам «Записок охотника», а особенно к изучаемым в 6 — 7 классах рассказам «Бежин луг» и «Бирюк», мы считаем более корректным основываться не на устоявшихся мнениях критиков, литераторов и общественности XIX в., тем более что их послы сегодня во многом чужды учащимся 12 — 13 лет, а на сведениях о замыслах самого Тургенева, в том числе и не осуществленных в «Записках...» (см. замысел рассказов «Неудача» и «Безумная»), а также — и в первую очередь — на подробнейшем анализе самих текстов, с интерпретацией, учи-

тывающей огромную эрудицию молодого Тургенева, прекрасное знание им поверий и верований своего народа, включающих как языческие, так и христианские представления о действительности. Есть в текстах писателя и скрытые цитаты из значимых для него источников, и такая же скрытая полемика с ними.

В качестве примеров такой работы обратимся к двум эпизодам из рассказов. Вот начало новеллы «Бирюк» (1848): «Я ехал с охоты вечером один, на беговых дрожках. До дому еще было верст восемь; моя добрая рысистая кобыла бодро бежала по пыльной дороге, изредка похрапывая и шевеля ушами; усталая собака, словно привязанная, ни на шаг не отставала от задних колес. Гроза надвигалась. Впереди огромная лиловая туча медленно поднималась из-за леса; надо мною и мне навстречу неслись длинные серые облака... <...> Сильный ветер внезапно загудел в вышине, деревья забушевали, крупные капли дождя резко застучали, зашлепали по листьям, сверкнула молния, и гроза разразилась. Дождь полил ручьями. Я поехал шагом и скоро принужден был остановиться: лошадь моя вязла, я не видел ни зги»¹³. Вряд ли Тургенев в конце сороковых годов был знаком с мыслями А. Н. Афанасьева, который только в начале пятидесятых стал публиковать труды, легшие затем в основу «Поэтических воззрений славян на природу» (после 1865 г.). Однако они пользовались одним и тем же фольклорным материалом, орловец Тургенев и воронежец Афанасьев. Народные представления о грозе — «Илья-громовержец на телеге едет» (как иронически, но со знанием дела выразится Базаров в романе «Отцы и дети»), о ветре как псе / хорте, об облаках как небесных конях словно сопровождают, «запараллеленно» со своими жалкими земными подобиями, совсем не грозного барина, едущего на хлипких дрожках, от которых не отстает усталая собака.

И эта гроза на небе отразится затем в «грозе», которая разыгрывается над мужиком-вором на земле. Библейскому Илье, могучему, справедливому и жестокому персонажу Ветхого Завета, соответствует какой-то сверхъестественный образ Бирюка, наделенного нечеловеческой силой и «нелюдским» понятием о должном и недолжном. Вот он появляется пред рассказчиком: «... ожидал я терпеливо конца ненастья, как вдруг, при блеске молнии, на дороге почудилась мне высокая фигура. Я стал пристально глядеть в ту сторону — та же фигура словно выросла из земли подле моих дрожек»¹⁴. Вот лесник освобождает застрявшую повозку из грязевого плена: «Он подошел к голове лошади, взял ее за узду и сдернул с места. Мы тронулись. Я держался за подушку дрожек, которые колыхались, «как в море челнок»...»¹⁵. Поймав браконьера-порубщика, Бирюк угрюмо и коротко отвергает все просьбы отпустить: «Знаю я вас... ваша вся слобода такая — вор на воре... Разорены!.. Воровать никому не след» — и в ответ на последний довод, о голодных плачущих детях, отрезает: «А ты все-таки воро-

вать не ходи»¹⁶. Эта ветхозаветная прямота и недвусмысленность позиции, когда сама жизнь героя выстраивается на неукоснительном следовании своим убеждениям и долгу перед Законом (не берет взяток и не пользуется тем, что охраняет, поэтому живет в нищете, его дети тоже голодают, а жена сбежала, бросив даже младенца от Бирюка, как если бы он был сыном не от человека) сталкивается в финале рассказа с новозаветной позицией барина, настаивающего на милосердии: «...Оставь его... бог с ним» — и даже собирающегося действием помочь вору освободиться¹⁷. Бирюк подчиняется, впервые в жизни отпуская преступника на свободу, милость одерживает верх над законом, прямо по «Слову о законе и благодати» митрополита Илариона Киевского... Но справедлив ли порядок жизни в России «милосердной»?

В качестве второго примера обратимся к элементам пейзажа в рассказе «Бежин луг» (1851). Заблудившийся рассказчик «очутился в неглубокой, кругом распаханной лощине... <...> на дне ее торчало стоймя несколько больших белых камней, — казалось, они сползли туда для тайного совещания, — и до того в ней было немо и глухо, так плоско, так уныло висело над нею небо, что сердце у меня сжалось. Какой-то зверок слабо и жалобно пискнул между камней. Я поспешил выбраться назад на бугор»¹⁸. Рассказчик идет далее: «Казалось, отроду не бывал я в таких пустых местах: нигде не мерцал огонек, не слышалось никакого звука <...> Я все шел и уже собирался было прилечь где-нибудь до утра, как вдруг очутился над страшной бездной. Я быстро отдернул занесенную ногу и, сквозь едва прозрачный сумрак ночи, увидел далеко под собою огромную равнину»¹⁹. Это был Бежин луг. Охотник спустился к реке и присоединился к стережшим табун ребятишкам, сидевшим «вокруг... огней». «Картина была чудесная: около огней дрожало и как будто замирало, упираясь в темноту, круглое красноватое отражение; пламя, вспыхивая, изредка забрасывало за черту того круга быстрые отблески... <...> Иногда, когда пламя горело слабее и кружок света суживался, из надвинувшейся тьмы внезапно выставлялась лошадиная голова... Из освещенного места трудно разглядеть, что делается в потемках, и поэтому вблизи все казалось задернутым почти черной завесой...»²⁰.

Пейзаж из рассказа «Бежин луг» — воплощенный, как кажется, протест против гоголевской мистики в духе и с почти прямым цитированием «Письма к Гоголю» В. Г. Белинского: «Взгляните себе под ноги, — ведь вы стоите над бездною...»²¹. Рассказчик — уставший, но не суеверный человек, он готов за неимением лучшего переночевать прямо на дороге, где придется. Ландшафт, изображаемый писателем, самый заурядный среднерусский, отчего так внезапно и знаково воспринимается в тексте слово «бездна». Однако первое и третье из процитированных описаний природы пронизаны если не мистикой, то архетипической символикой: в

круг мрака сползлись камни — в круг света стянулись люди. Люди в ночном сторожат коней от покражи — но конь также стоит на страже рубежа света и тьмы. И далее в повествовании: разорвавший границу круга света Павел слышит обращенный к нему голос утопленника, то есть он делается внятным (его увидели или услышали) потустороннему миру. Павел — положительный герой, о каких Белинский сказал в «Письме...»: «...мистическая экзальтация не в его натуре; у него слишком много для этого здравого смысла, ясности и положительности в уме, и вот в этом-то, может быть, огромность исторических судеб его в будущем»²². Но будущего у Павла нет — он погибает. И виной тому не крепостное право, а способ жизни отважного мальчика, любящего действие и риск. Тургенев реалист, но не в том ограниченном понимании, которое приписывал ему Белинский в обзоре «Взгляд на русскую литературу 1847 года. Статья вторая».

Возникает вопрос, насколько обоснованы подобные интерпретации текстов? Соединение в сознании молодого писателя трезво-реалистического взгляда на мир и архетипического толкования элементов этого мира, причем в эпоху, когда и речи еще не было о «коллективном бессознательном», может показаться антиисторической натяжкой истолкователя. Однако, как нам представляется, объяснением может служить именно безоговорочный «реализм» Тургенева, замешанный на глубоком знании с детского возраста подлинно народных представлений о действительности. Тургенев в силу своей верности фактам воспроизводил не то, что было принято думать о народе в известную эпоху в известных кругах «образованных людей», но именно то, что он сам видел и объяснение чему получал из первых рук.

Современный исследователь Юрий Плюсин предложил «модель реки», объясняющую массовое, народное сознание, его поведенческие изменения и ментальные стереотипы наличием трех уровней. Уровень «русла реки» — самый изменчивый, но наблюдателю представляющийся неизменным. Уровень «долины», которую «река» вырабатывает веками, — уровень менее изменчивых процессов, которые наблюдаются только в крайне редких случаях («не приведи бог видеть русский бунт...») — примерно об этом. — В. Т.). И третий — уровень «скального ложа», которое выстраивает все поведение «реки» в ее историческом развитии²³. В рамках модели Плюснина речное ложе — это некие глубинные архетипы сознания, которые определяют и поведение, и ментальные установки людей в течение всего срока существования нации, народа.

Возможно, И. С. Тургенев, как и А. С. Пушкин, просто более чутко, чем другие классики XIX в., вслушивался в окружающую его с детства музыку жизни. Во всяком случае, подобное истолкование, идущее от текстов и записей самого писателя, не искаженных наблюдений самых близких и честных свидетелей его

пути, позволяет нам избежать схематизма в изучении творчества русского художника, а главное, понять вместе с детьми, что И. С. Тургенев — на самом деле русский художник. А не политик. Не бонвиван. Не Кармазинов. И это важнее всего.

¹ Герцен А. И. Собр. соч.: В 30 т. Т. XIII. — М., 1954 — 1965. — С. 177.

² Белинский В. Г. Собр. соч.: В 3 т. Т. 3. — М., 1948. — С. 831.

³ Там же. — С. 832.

⁴ Там же. — С. 833.

⁵ Тургенев И. С. Полн. собр. соч. и писем: В 30 т. Т. 3. — М., 1979. — С. 414 — 415.

⁶ Там же. — С. 418.

⁷ Чернышевский Н. Г. Полн. собр. соч.: В 15 т. Т. VII. — М., 1939 — 1950. — С. 859.

⁸ Тургенев в воспоминаниях современников. — М., 1988. — С. 48.

⁹ Там же. — С. 44.

¹⁰ Там же. — С. 49 — 50.

¹¹ Тургенев И. С. Полн. собр. соч... Т. 1 — М., 1978. — С. 20.

¹² История всемирной литературы: В 9 т. Т. 7. — М., 1990. — С. 42.

¹³ Тургенев И. С. Полн. собр. соч. Т. 3. — М., 1979. — С. 155. Далее все цитаты из рассказов «Записок охотника» даются по этому тому; ссылку делаем только на страницу.

¹⁴ С. 155.

¹⁵ С. 156.

¹⁶ С. 160 — 161.

¹⁷ С. 162.

¹⁸ С. 88.

¹⁹ С. 89.

²⁰ С. 89 — 90.

²¹ Белинский В. Г. Указ. соч. — С. 709.

²² Там же. — С. 710.

²³ Плюсин Ю. Идеология провинциального человека: изменения в сознании, душе и поведении за последние 15 лет. — М., 2007. — С. 2.

Е. О. Козюра

Жизнь на кончиках пальцев: к образу Базарова

Еще Д. И. Писарев (в статье «Базаров» /1862/) заметил, что «весь интерес, весь смысл романа заключается в смерти Базарова»¹. Эта, по словам героя, *неприятная случайность* явилась, как известно, следствием заражения инфекцией, попавшей в организм через ранку на пальце. Деталь, на первый взгляд, призванная подчеркнуть трагическую бессмысленность гибели героя, является элементом целого ряда схожих мотивов.

В этом ряду особенно показательна фраза, которую Базаров бросает, уезжая с Аркадием из имения Одинцовой: «А коли ты не совсем меня понимаешь, так я тебе доложу следующее: по-моему — лучше камни бить на мостовой, чем *позволить женщине завладеть хотя бы кончиком пальца*» /306/.² Герой (обладающий, по словам Павла Петровича, *гордостью почти сатанинской*) отвергает любые властные притязания на свою личность, в соответствии с его естественнонаучными воззрениями эквивалентную телу, в котором *кончику пальца* отводится наименее значительное место.

Тем не менее, в другом пассаже, также трактуемом о силе женского воздействия на мужчину, *палец* вновь претендует на центральное положение. Это происходит в разговоре Базарова с Фенечкой: «А если б он (Павел Петрович. — Е. К.) меня побеждать стал, — спросил он, — вы бы за меня заступились? // — Где ж мне за вас заступаться? да нет, с вами не сладись. // — «Вы думаете? А я знаю руку, которая захочет, и *пальцем меня шишет*» /345/. И такое внимание к *пальцам* у Базарова отнюдь не случайно.

Наиболее частотная функция *пальцев* в поэтике романа заключается в том, чтобы служить симптомами психологического состояния персонажей, свидетельствовать об их взволнованности или подавленности, которая зачастую вызвана ощущением собственной слабости. Подобная поведенческая деталь постоянно сопровождает фигуру отца Базарова, Василия Ивановича, начиная с его первого появления в тексте и до сцен болезни и смерти его сына: «Наконец пожаловал, — проговорил отец Базарова, всё продолжая курить, хотя *чубук так и прыгал у него между пальцами*» /308/; «он беспрестанно двигался, поводил плечами, точно платье ему под мышками резало, моргал, покашливал и *шевелил пальцами*» /312/; «Василий Иванович уже не упомянул о том, что каждое утро, чуть свет, стоя о босу ногу в туфлях, он совещался с Тимофеичем и, доставая *дрожащими пальцами* одну изорванную ассигнацию за другою, поручал ему разные закупки» /333/; «Василий Иванович пытался обращаться к нему с разными вопросами, но они утомляли Базарова, и старик замер в своих креслах, только изредка *хрустя пальцами*» /388/; «Старик поднялся, сел на кресло и, взявшись за подбородок, *стал кусать себе пальцы...*» /393/.

Другому тургеневскому отцу, Николаю Петровичу Кирсанову, тоже свойственна эта черта, причем в его случае подчеркивается угнетающее воздействие фигуры сына: «В чем извиняется! — подумал он (Аркадий. — Е. К.) про себя, и чувство снисходительной нежности к доброму и мягкому отцу, смешанное с *ощущением какого-то тайного превосходства*, наполнило его душу <...> Николай Петрович *глянул на него из-под пальцев руки*, которою он продолжал тереть себе лоб, и что-то кольнуло его в сердце...» /204/; «Спасибо, Аркаша, — глухо заговорил Николай Петрович, и *пальцы его опять заходили по бровям и по лбу*» /213/.

Наконец, особенно наглядно позиционную слабость персонажа *пальцы* выявляют в отношениях Фенечки и Павла Петровича: «Она несла большую чашку какао и, поставив ее перед Павлом Петровичем, *вся застыдилась*: горячая кровь разлилась алою волной под тонкою кожицей ее миловидного лица. Она *опустила глаза* и *остановилась* у стола, *слегка опираясь на самые кончики пальцев*» /216/; «Павел Петрович умолк. «Теперь уйдет», — думала Фенечка, но он не уходил, и она стояла перед ним как вкопанная; *слабо перебирая пальцами*» /228/.

Главный герой романа лишь однажды выражает своё волнение «при помощи» пальцев: «Он *медленно проводил своими длинными пальцами по бакенбардам*, а глаза его бегали по углам» /277/. Для Базарова более характерно противоположное использование пальцев, утверждающее *силу* героя и приводящее других в замешательство³: «А это заведение твоего отца тоже нравственное явление? — промолвил Базаров, *ткнув пальцем на кабак*, мимо которого они в это мгновение проходили. // Ситников опять засмеялся с визгом. Он очень стыдился своего происхождения и *не знал, чувствовать ли ему себя польщенным или обиженным* от неожиданного тыканья Базарова» /264/; «Базаров *растопырил свои длинные и жесткие пальцы*... Аркадий повернулся и приготовился, как бы шутя, сопротивляться... Но лицо его друга *показалось ему таким зловещим, такая нешуточная угроза почудилась ему* в кривой усмешке его губ, в загоревшихся глазах, что *он почувствовал невольную робость*» /327/.

Последняя ситуация особенно примечательна, поскольку она завершает собою «теоретический» спор Аркадия и Базарова, в котором Базаров утверждает приоритет *ощущений* перед всеми другими формами гносеологии: «Принципов вообще нет — ты об этом не догадался до сих пор! — а есть ощущения. Все от них зависит. <...> Глубже этого люди никогда не проникнут» /325/. В таком контексте *палец* выступает как самый проходящий орган (а заодно и символ) познания мира, основанного на ощущениях, познания, равного индивидуальному (в пределе — тактильному) опыту человека. Поэтому исключительно символичным оказывается момент отъезда Базарова из имения своих родителей: «Бросил, бросил нас, — залепетал он (Василий Иванович. — *Е. К.*), — бросил; скучно ему стало с нами. *Один как перст теперь, один!* — повторил он несколько раз и каждый раз выносил вперед свою руку с отделенным указательным пальцем» /334/.⁴ Базаров, сводящий собственную личность к сумме ощущений, действительно, эквивалентен *пальцу*⁵. Часть тела в романе Тургенева становится метафорой характера главного героя⁶.

Но *пальцу* доступны лишь «покровы» жизни, для проникновения в «глубины» необходим его *усовершенствованный* вариант — *ланцет*, в итоге приносящий гибель герою. Базаров познает жизнь, анато-

мируя, *разрезая* её, как это заявлено в хрестоматийной сцене с лягушками: «я лягушку распластаю да посмотрю, что у нее там внутри делается; а так как мы с тобой те же лягушки, только что на ногах ходим, я и буду знать, что и у нас внутри делается» /212/.

Характерно, что двойник-антипод Базарова⁸, Павел Петрович, также соприкасается с жизнью с помощью орудия-медиатора — ногтя: «Экой бутуз, — снисходительно проговорил Павел Петрович и пощекотал двойной подбородок Мити *концом длинного ногтя на указательном пальце*» /230/⁹. Однако для него это отнюдь не «орган» познания жизни, а символическая преграда, отделяющая (чуждого любой непосредственной витальности) героя от нее¹⁰.

В уравнивающей разнородные явления перспективе жизнь предстает некой однородной материей, причем для Базарова не важно, живая она или мертвая. Не случайно его резкую отповедь получает размышление Аркадия о сходстве в природе мертвого и живого («сухой кленовый лист оторвался и падает на землю; его движения совершенно сходны с полетом бабочки. Не странно ли? Самое печальное и мертвое — сходно с самым веселым и живым» /326/), сходстве, не отменяющем их качественных различий, для Базарова нерелевантных. Поэтому, скажем, любовный дискурс Базарова тождествен анатомическому: «Ты проштудируй-ка анатомию глаза: откуда тут взяться, как ты говоришь, загадочному взгляду? /226/»; «Этакое богатое тело <...> хоть сейчас в анатомический театр» /272/. Фактически, все живое Базаров сводит к мертвому, даже окружающих его людей рассматривая как не вполне живых: «Твой отец добрый малый, — промолвил Базаров, — но он человек отставной, его *песенка спета*» /238/. Для Базарова это экзистенциальная позиция, он проговаривает ее даже в предсмертном бреду: «мясник... мясо продает... мясник... постойте, я путаюсь... Тут есть лес...» /396/. Эта фраза, параллельная известному антропологическому тезису героя «люди, что деревья в лесу» /277/, уравнивает изучение *живого* с расчленением *мертвого*.

Неразличение мертвого и живого и становится причиной смерти самонадеянного анатома: вскрывая труп, Базаров одновременно разрезает и свою собственную плоть, словно не отличая ее от чужой. Закономерность такой развязки была еще раньше предсказана «пословичным» речением Базарова «решился все косить — валий и себя по ногам!» /325/.

Но, как кажется, трагический исход судьбы героя мотивирован не только вызывающим уравниванием живого и мертвого в жизни (или сведения всего живого к мертвому). Базаров, вообще, слишком тесно для тургеневского человека соприкоснулся с жизнью.

Предостережением от «осязательного» контакта с жизнью (хотя и представленным в сниженном виде) выглядит статуя *богини Молчания*, с *пальцем на губах* из имени Одинцовой, которую «привезли

было и поставили; но ей в тот же день дворовые мальчишки отбили нос, и хотя соседний штукатур брался приделать ей нос «вдвое лучше прежнего», однако Одинцов велел ее принять, и она очутилась в углу молотильного сарая, где стояла долгие годы, возбуждая суеверный ужас баб» /374/. Природа нередко персонифицируется у Тургенева в облике женского божества, как, например, в одноименном *стихотворении в прозе* или в «Поездке в Полесье» (*вечная Изида*). Подавляющая человека своим молчанием,¹¹ *Природа* налагает запрет на *прикосновение* к ее тайнам.

Особо стоит отметить здесь вторую деталь облика *богини Молчания: отбитый нос*. Коррелятивная фольклорному образу Смерти (*безносой*), *богиня* дает человеку еще одно предупреждение. *Нос*, как и *палец*, принадлежит к органам чувственного восприятия. Базаров наделен *кверху плоским, книзу заостренным носом*, носом, напоминающим *ланцет*. И «гносеологическая» функция *носа* у героя прямо соотнесена с его естественнонаучными занятиями: «Посмотрим, к какому разряду млекопитающих принадлежит сия особа, — говорил на следующий день Аркадию Базаров, поднимаясь вместе с ним по лестнице гостиницы, в которой остановилась Одинцова. — *Чувствует мой нос*, что тут что-то не ладно» /269/.

В то же время, *нос*, начиная еще с гоголевского майора Ковалева, может прочитываться как знак человеческой индивидуальности, знак самого существования человека¹². Весьма симптоматично в этой перспективе «дуэльное» наблюдение Базарова: «Он (Павел Петрович. — Е. К.) мне *прямо в нос* целит, — подумал Базаров» /352/. *Нос* здесь выступает как самый уязвимый орган человеческого тела,¹³ поэтому человек, слишком далеко зашедший в своей любознательности, ставит свою жизнь под угрозу. Тем более что Базаров фактически раскрывает главную тайну жизни.

Другой «познающий» герой романа, Павел Петрович Кирсанов, старающийся узнать тайну княгини Р. («в которой даже тогда, когда она отдавалась безвозвратно, все еще как будто оставалось что-то заветное и недоступное, куда никто не мог проникнуть» /222/), «метонимически» связанной с тургеневским *Неведомым*¹⁴ («казалось, она находилась во власти каких-то тайных, для нее самой неведомых сил» /222/), в качестве ответа (уже после ее смерти) получает «данное им княгине кольцо. Она провела по сфинксу крестообразную черту и велела ему сказать, что *крест — вот разгадка*» /223/.

За «покровом» жизни находится смерть. Базаров своей омертвляющей аналитикой словно достигает сокровенного, запретного для человека знания и расплывается за нарушение тайны.

¹ Писарев Д. И. Собр. соч.: В 4 т. Т. 2. М., 1955. С. 49.

² Все цитаты из романа даются по изданию: Тургенев И. С. Полн. собр. соч. и писем: В 28 т. М.-Л., 1961—1968. Т. VIII, с указанием

страницы в тексте. Другие тургеневские тексты цитируются по этому изданию с указанием тома и страницы. Курсив повсюду принадлежит автору статьи.

³ В соответствии с декларируемым героем принципом: «настоящий человек тот, о котором думать нечего, а *которого надобно слушаться или ненавидеть*» /324/.

⁴ Уникальность позиции героя в этой сцене подчеркивается при помощи антитезы: отец Базарова сравнивает себя и жену с *опенками на дупле*, используя традиционный символизм грибов как знаков изобилия и множественности. См. *Топоров В. Н.* Семантика мифологических представлений о грибах // *Balkanica*. Лингвистические исследования. М., 1979. С. 258.

⁵ Под таким углом зрения несколько иначе прочитывается неприязнь Базарова к *романтизму* — культуре, негативно оценивающей *осязание*. Ср. *Фаустов А. А.* Миф как зрение и осязание: Введение в художественную онтологию Мандельштама // «Отдай меня, Воронеж...»: Третьи международные Мандельштамовские чтения. Воронеж, 1995. С. 235.

⁶ На метафорический характер отмеченного мотива указывает и то обстоятельство, что в описаниях внешности и поведения Базарова привилегированного внимания *пальцам* не уделяется. Для сравнения можно вспомнить старающегося прятать свои пальцы Мухоморова («Обломов» И. А. Гончарова) или постоянно поднимающего палец кверху Стебелькова («Подросток» Ф. М. Достоевского). Ср. также интересные соображения о семиотике пальцев в культуре XX века в работе: *Буренина О.* Органопозитика. Репрезентация анатомических аномалий руки в литературе и культуре 1900—1930-х гг. // *Wiener Slawistischer Almanach*. Bd. 51. 2003. S. 205—226.

⁷ Об историко-культурном контексте этих мотивов см.: *Матич О.* «Рассечение трупов» и «срывание покровов» как культурные метафоры // Новое литературное обозрение. № 6. 1994. С. 139—150; *Богданов К. А.* Врачи, пациенты, читатели: Патографические тексты русской культуры XVIII—XIX веков. М., 2005. С. 234—254, 302—304.

⁸ О симметричности двух героев см. *Вердеревская Н. А.* Русский роман 40—60-х годов XIX века (Типология жанровых форм). Казань, 1980. С. 119—132; *Савицков С. В.* «Как равнодушна, как нема природа»: к вопросу об авторской телеологии в «Отцах и детях» И. С. Тургенева // Филологические записки. 2007. Вып. 26. С. 139—146.

⁹ Развернутый литературный контекст этой телесной детали представлен в работе: *Мароши В.* Семиотика ногтей и русская литература // Критика и семиотика. Вып. 1—2, 2000. С. 111—117.

¹⁰ Ср. пример другой подобной «преграды»: «он всякому рад помочь и, между прочим, всегда вступается за крестьян; правда, говоря с ними, он *мощится и нохает одеколон*» /226/.

¹¹ Ср. в «Дневнике лишнего человека» (1850): «иная возвышенная русская девица так могущественно молчит, что даже в подготовленном человеке подобное зрелище способно произвести легкую дрожь и холодный пот» /V, 188/.

¹² См. *Бочаров С. Г.* Загадка «Носа» и тайна лица // Бочаров С. Г. О художественных мирах. М., 1985. С. 142—148. Отметим, что *нос* в «петербургской повести» Гоголя негативно сравнивается с *пальцем*: «Это не то, что какой-нибудь *мизинный палец на ноге*, которую я в са-

пог — и никто не увидит» (Гоголь Н. В. Собр. художественных произведений: в 5 т. М., 1960. Т. 3. С. 74).

¹³ Ср. в «Накануне» (1859): «еще, пожалуй, иной комар *сядет на нос* царю создания и станет употреблять его себе в пищу» /VIII, 8/. Любопытная констелляция двух интересующих нас деталей наличествует и в «Первой любви» (1860), тексте, также трактующем о «властных» взаимоотношениях мужчины и женщины: «Зинаида стала передо мной, наклонила немного голову набок, как бы для того, чтобы лучше рассмотреть меня, и с важностью протянула мне руку. У меня помутилось в глазах; я хотел было опуститься на одно колено, упал на оба — и так неловко *прикоснулся губами к пальцам Зинаиды, что слегка оцарапал себе конец носа ее ногтем*» /IX, 26/.

¹⁴ Об этой категории тургеневского мира см.: Фаустов А. А. Авторское поведение в русской литературе: Середина XIX века и на подступах к ней. Воронеж, 1997. С. 75—89; Топоров В. Н. Странный Тургенев (Четыре главы). М., 1998. С. 173—174.



АСПИРАНТСКАЯ ТРИБУНА

Е. В. Кончакова

ПУШКИН... МОЦАРТ... ГРОБОВЩИК

Даже на общем фантазмагорическом фоне повести А. С. Пушкина «Гробовщик» странная надпись на вывеске похоронного предприятия Адриана Прохорова («Здесь продаются и обиваются гробы простые и крашенные, также отдаются напрокат и починяются старые» (81)¹) привлекает особое внимание читателя своей нарочитой несуразностью. Эта деталь уже получила комментарий в литературе. Так, по мнению Н. Н. Петруниной, в пушкинской повести оказывается «...вывеска, абсурдная в своём простодушии (“гробы... отдаются напрокат и починяются”), наряду с текстом, то ли бездумно заимствованным, то ли по незнанию грамоты просто скопированным с рекламы какого-то другого ремесленника, товар которого служит живому клиенту...» [Петрунина 1983: 79]. Развивая мысль Н. Н. Петруниной, Г. Ф. Ковалёв полагает, что текст вывески гробовщика частично скопирован с вывески портного («В эту рекламу, вроде бы в интересах потребителя, для расширения услуг, вплетён текст, видимо из текста вывески портного, что содержательно исключено, казалось бы, для гробовщика» [Ковалёв 2005: 104]. В подтверждение своего мнения названные исследователи приводят два тезиса:

1) А. С. Пушкин видел похоронную контору напротив дома, где гостевала Н. Н. Гончарова; ср. фразу из письма А. С. Пушкина от 4 ноября 1830 года, адресованного невесте (с фр.): «Как вам не стыдно было оставаться на Никитской во время эпидемии? Так мог поступать ваш сосед Адриан, который обделывает выгодные дела» (цит. по: [Ковалёв 2005: 104—105]);

2) поскольку у реального российского гробовщика не могло быть откровенно абсурдной рекламы о починке и сдаче в аренду гробов, она перенесена А. С. Пушкиным из текста вывески «какого-то другого ремесленника, товар которого служит живому клиенту» (Н. Н. Петрунина), скорее всего — портного (Г. Ф. Ковалёв).

Понятно, что указанные экстралингвистические факторы не позволяют рассматривать понятия *гроб старый* («бывший в употребле-

нии»), *гроб починяемый, сдаваемый в аренду* в абстрактно-лексикографическом аспекте, то есть квалифицировать их в качестве составных номинаций неких российских исторических реалий. Действительно, для понятия «многоразового» гроба (требующего починки после неоднократного использования и сдаваемого внаём) на русской почве просто не существовало реальной (денотативной) основы. Тем не менее, перевод исследования в сферу лингвистической прагматики — то есть попытка установить не только факт переноса А. С. Пушкиным текста рекламы портного или иного ремесленника в текст рекламы гробовщика, но и эстетические мотивы этого переноса — добавляет новые акценты.

В самом деле, у реального российского гробовщика не могло быть рекламы «бывших в употреблении» гробов — но такая реклама вполне могла использоваться гробовщиком *европейским*. Приведём несколько исторических фактов.

Известно, что современного вида — *дощатые* — гробы появились в русской культуре в Петровскую эпоху. В допетровской Руси усопших хоронили в *колодах* — толстых брёвнах, в которых вырубались углубления (Энциклопедия обрядов и обычаев 1996: 457). Потребности России в качественном лесе (прежде всего для корабле- и градостроения) заставили Петра I в 1703 году законодательно запретить его самовольную вырубку, а в 1723 — побудить Сенат издать отдельный указ о запрете на изготовление долблёных сосновых гробов — теперь их дозволялось делать «только из досок» [Рохленко 2003: 69]. Поскольку толстые и прямые древесные стволы, из которых только и можно было вырубать похоронные *колоды*, перестали быть общедоступными, в погребальную культуру России постепенно вошли гробы из досок (Энциклопедия обрядов и обычаев 1996: 457). Таким образом, уже сам *дощатый гроб* в исторической перспективе является отражением европейских тенденций к экономии природных ресурсов, перенесённых на русскую почву Петром I. Действительно, по сообщению «Энциклопедии обрядов и обычаев»: «В средневековой Европе простых крестьян и горожан хоронили в общих могилах, которые открывали всякий раз, когда нужно было положить нового покойника» [Там же: 450].

Но подобное же практиковалось и в более поздние времена. Как известно, за неимением денег у супруги В.-А. Моцарта — либо в силу иных причин — композитора похоронили (6 декабря 1791 года) на муниципальные средства на венском кладбище в общей могиле, точное место которой неизвестно до сих пор (см., напр.: [Дальхов, Риттер 1991; Бэлза 1991] и др.). Известно также, что похороны проводились «по третьему (низшему. — Е. К.) разряду» [Дальхов 1991: 21—22 и др.] и что свидетелем захоронения оказался лишь могильщик, не успевший до своей смерти (в 1802 году) никому сообщить ни о месте общей могилы, ни о других деталях обряда погребения. Однако есть некоторые свидетельства — в фор-

ме устойчивых преданий, — которые проливают свет на эту загадку. По свидетельству И. Бэлзы, в 1947 году старейшина австрийских композиторов Й. Маркс изложил ему ту версию погребения Моцарта, которая была принята в венской музыкальной среде уже в конце XVIII века и не нашла опровержения на момент беседы. Как пишет И. Бэлза: «Йозеф Маркс добавил ещё несколько слов о “похоронах по третьему разряду”. По его словам, умершего могильщики несли в *гробу, нижняя доска которого отодвигалась над рвом* (курсив наш. — Е. К.), куда и падало тело². Такой гроб старый композитор сам видел на кладбище. Он добавил, что, собственно говоря, и я мог бы попытаться взглянуть на такой гроб» [Бэлза 1991: 22]. Как видим, похороны «по третьему разряду» за счёт венского муниципалитета не предусматривали «одноразового» гроба, привычного в русской культуре³. Многократно использовавшийся (видимо, отдававшийся муниципалитету *напрокат* одной из венских похоронных фирм), гроб с «люком» или «дверцей», надо полагать, иногда нуждался и в *починке*.

По нашему мнению, на вопрос о том, была ли известна А. С. Пушкину версия погребения Моцарта в «многоразовом» гробу, — следует ответить положительно. Исследователи указывают на одновременность возникновения и бытования данной версии и легенды о том, что Моцарт был отравлен завистником А. Сальери. По сообщению И. Бэлзы: «Во время одной из дружеских бесед (с упомянутым ранее Й. Марксом. — Е. К.), когда речь зашла о трагедии Пушкина “Моцарт и Сальери”, я спросил моего собеседника, действительно ли, по его мнению, Сальери совершил злодеяние, положенное в основу этой трагедии. И Йозеф Маркс, ни минуты не колеблясь, ответил: “А кто же из старых венцев сомневается в этом?”» [Бэлза 1991: 8]. Как утверждает С. М. Бонди, А. С. Пушкин тоже не сомневался в истинности слухов об отравлении В.-А. Моцарта Сальери [Бонди 1983: 254]. Знакомство А. С. Пушкина с одной из этих двух историй⁴ отчасти может свидетельствовать и о знакомстве с другой.

Мы предполагаем, что именно этот «многоразовый» «моцартовский»⁵ гроб — действительно «абсурдный» для русского сознания не только нашей, но и, несомненно, пушкинской поры — и появился в одной из самых «европейских» по населяющим ее персонажам «Повестей Белкина». Отметим и некоторые другие возможные связи содержания «Гробовщика» с историей последних дней жизни В.-А. Моцарта. Характерными приметами моцартовских похорон были *непогода*, якобы помешавшая сопровождавшим катафалк дойти до общей могилы⁶, и их *дешевизна*. Сравним эти приметы с некоторыми эпизодами текста «Гробовщика»: «Он (Адриан Прохоров. — Е. К.) думал о проливном дожде, который, за неделю тому назад, встретил у самой заставы похороны отставного бригадира. Многие мантии от того сузились, многие шляпы покособились» (82). Помимо «погодных» совпадений можно заметить и

другие. В видении Адриана Прохорова к нему явились гости-мертвецы, некоторых из которых он проводил в последний путь «по типу» Моцарта, наскоро, «на медные деньги» или на скудный казённый счёт, — чьи души оттого не нашли успокоения и вернулись в мир живых за восстановлением справедливости (это и даром похороненный бедняк, и отставной гвардии сержант Петр Петрович Курилкин, которому герой продал сосновый гроб за дубовый, а возможно, и упомянутый бригадир, чьи похороны, скорее всего, были весьма скудно оплаченными, иначе убытки от повреждения проливным дождём похоронных принадлежностей не погрузили бы Адриана Прохорова в столь печальные размышления).

По легенде, использованной и А. С. Пушкиным в «Моцарте и Сальери», за несколько месяцев до смерти к Моцарту явился «серый посланец» [Дальхов 1991: 104] (в маленькой трагедии А. С. Пушкина — «чёрный человек»), будто бы напугавший композитора и заказавший ему траурную мессу. Этот *серый посланец*, как утверждается в источниках, был направлен масонами, к которым принадлежал и Моцарт [Там же: 97] и у которых будто бы были претензии к композитору из-за «некорректного» по отношению к ложе содержания оперы «Волшебная флейта» [Там же: 100—104 и др.]. К Адриану Прохорову также является *нечаянный посланец*, и также с масонскими⁷ «приметами» — однако он противоположен моцартовскому, весел и узнаваем: «Сии размышления были прерваны нечаянно тремя франмасонскими ударами в дверь. “Кто там?” — спросил гробовщик. Дверь отворилась, и человек, в котором с первого взгляду можно было узнать немца ремесленника, вошёл в комнату и с весёлым видом приблизился к гробовщику» (с. 82). Оба посланца — и «чёрный человек» из трагедии «Моцарт и Сальери» и немец Шульц из «Гробовщика» — по-своему соединяют мир живых и мир мёртвых. Один из них служит для Моцарта «проводником в смерть», другой на короткое время «оживляет» мертвецов, чтобы они, видимо, могли высказать гробовщику свои претензии. Это «оживление мертвецов» происходит у Шульца в форме своеобразного заклинания, ср.: «Каково торгует ваша милость?» — спросил Адриан. “Э-хе-хе, — отвечал Шульц, — и так и сяк. Пожаловаться не могу. Хоть, конечно, мой товар не то, что ваш: живой без сапог обойдётся, а мёртвый без гроба не живёт” (82—83).

Как видим, анализ «денотативной основы» похоронного обряда в повести А. С. Пушкина «Гробовщик» позволяет выдвинуть целый ряд версий о характере соотношения художественного времени и пространства произведения с объективной реальностью (прежде всего — европейской) соответствующей эпохи. Нам представляется очевидным, что если в русском языке понятия *гроб напрокат*; *гроб, требующий починки*; *гроб, использованный повторно*, и т. п. не могут быть квалифицированы как историзмы вследствие абсурдности их денотатов, то при определённых прагматических

условиях (в случае привлечения автором инокультурного фона) эти понятия приобретают денотативную основу, становятся фрагментами эстетической — созданной писателем — реальности.

¹ Здесь и далее «Гробовщик» цитируется по изданию: *Пушкин А. С. Полное собр. соч.*: В 10 т. Л.: Наука, 1977—1979. Т. 6.

² Эта версия ярко воспроизведена в современном австрийском художественном фильме о судьбе Моцарта, правда — с некоторыми нюансами: «выходной люк» был расположен не в низу гроба (как указывает Й. Маркс), а в его торце со стороны ног. По фильму, тело Моцарта могильщик в одиночестве довёз до места захоронения в лёгком катафалке и «пристойно» (то есть не опрокидывая гроба, а лишь немного опустив его передний конец над краем общей могилы) свалил в яму к другим трупам (бродяг, бедняков и др.). После этого гроб с «дверцей» в целостности и сохранности был отвезён могильщиком обратно.

³ Ещё раз отметим, что мы не смогли обнаружить в литературе ни малейшего намёка на существование в истории России многократно используемых гробов. Из этого понятно, что российским исследователям, занимавшимся анализом происхождения текста вывески конторы Адриана Прохорова, её вторая часть представлялась безоговорочно абсурдной.

⁴ Ср. замечание самого А. С. Пушкина: «Сальери умер лет 8 тому назад. Некоторые немецкие журналы говорили, что на одре смерти признался он будто бы в ужасном преступлении — в отравлении великого Моцарта. Завистник, который мог освидетельствовать “Дон Жуана”, мог отравить его творца» (*Пушкин А. С. О Сальери // Пушкин А. С. Полное собр. соч.* Т. 7. С. 181).

⁵ Об особой роли В.-А. Моцарта в художественном и реальном мире А. С. Пушкина после многочисленных исследований детально рассуждать полагаем излишним.

⁶ Ср. свидетельства из источников: «Лишь немногие пошли проводить Моцарта в последний путь <...> Но до кладбища никто из них не дошёл, якобы из-за того, что пошёл сильный дождь, переходивший в снегопад. Все сопровождавшие катафалк шли под зонтиками, а погода всё ухудшалась и заставила их повернуть обратно» [Бэлза 1991: 10].

⁷ Отметим, что в «Гробовщике» представлен единственный случай употребления в пушкинской художественной прозе лексемы с корнем —*масон*—.

Литература

Бонди С. М. О Пушкине. Статьи и исследования. М.: Художественная литература, 1983.

Бэлза И. О тайне гибели Моцарта // Дальхов Й., Дуда Г., Кернер Д. Хроника последних лет жизни и смерть. Риттер В. Так был ли он убит? М.: Музыка, 1991. С. 7—25.

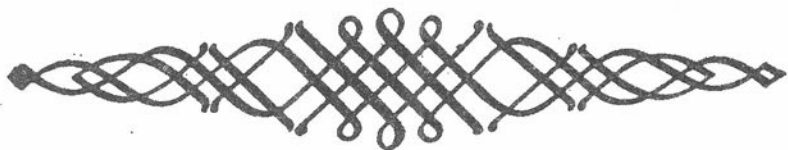
Дальхов Й., Дуда Г., Кернер Д. Хроника последних лет жизни и смерть. Риттер В. Так был ли он убит? М.: Музыка, 1991.

Ковалёв Г. Ф. Ономастическое комментирование на уроках русской словесности. Воронеж: Изд. ВГУ, 2005.

Петрунина Н. Н. Первая повесть Пушкина («Гробовщик») // Русская литература. 1983. № 2. С. 70—89.

Рохленко Д. Пётр Великий. Флот и лес // Наука и жизнь. 2003. № 5. С. 64—70.

Энциклопедия обрядов и обычаев / Сост. Л. И. Брудная и др. СПб.: ТОО «РЕСПЕКС», 1996.



ФАКТЫ, СОБЫТИЯ, КНИГИ, ИМЕНА

Л. В. Вахтель

ПО СЛЕДАМ «ОТЧУЖДЕННОГО» Я

Путешествуя с Виталием Батовым в реальность «по ту сторону слова»*, оказываешься во власти очерченного им психогерменевтического круга с заданным вектором движения от выражения и отражения Я автора в порождаемом тексте до многогранного и обращенного в бесконечность понимания творчества и культуры. Предложенный путь следования не исключает, вероятно, ряда оснований и сопутствующих диалогически ответных ассоциативных размышлений, безусловно, субъективного характера.

Выбор методологических ориентиров в построении теоретического и эмпирического материала книги, как замечает сам автор, обусловлен желанием «разобраться с досадным недоразумением относительно претензий современной психологии изучать «психику человека» (С. 6) и внести свои коррективы в устранение кричаще противоречивой установки научной психологии «между декларируемой целью — изучением психики (внутренней духовной жизни) и фактическим способом ее достижения — анализом предметных (внешних, реальных) следов психической деятельности» (С. 8). Признавая личную неудовлетворенность нынешним состоянием отечественной психологии, методологически продолжающей существовать в парадигме исторического материализма, плохо усваивающей западные психологические достижения и вследствие постсоветской идеологии несколько потерявшей «в дремучем лесу мистифицированных и фальсифицированных «психологий» (С. 11), В. И. Батов в качестве альтернативного предлагает принцип «новой другой» психологии — психогерменевтики.

Приоритетным с точки зрения обозначенного принципа становится парадигма «рассмотрения и, соответственно, исследования психического, субъективного, личностного *извне*, то есть в условиях, когда изучающая и изучаемая психика разделены во времени и пространстве» (С. 13), реализуемая через идею «отстранения» и «отчуждения». Отстранение в данном случае означает, что «психическое изучается как объект (предмет), как вещь, во внешнем (относитель-

* Батов В. И. Мой друг Глеб Арсеньев: Психогерменевтика словесного творчества. — М.: Гнозис, 2008. — 223 с.

но Я исследователя) пространстве действительного мира». При этом, по мнению автора, сохраняются изначальные свойства обоих членов диспозиции: идеальность, внепространственность и вневременность изучающей психики и опредмеченность, пространственность и временность изучаемой психики. В качестве объекта, несущего в себе психическое, является феномен «отчуждения» и как одна из отчужденных форм психического — вербальный текст.

Раскраивая психологическую ткань вербального текста на конструкторы, отражающие прежде всего психические свойства автора, В. И. Батов несколько интригует читателя, продолжая вмещать в текст «во-первых, психическое не только автора, и, во-вторых, не только психическое» (С. 14). Так в психическую структуру текста вплетается этническое и архетипическое, а в качестве непсихического рассматриваются значения, определяющие содержание (семантику) или информационность. Далее обозначается фактически ключевой вопрос исследования: становится ли отчужденная в вербальном тексте сущность психического самостоятельной и автономной, начинает ли психическое существовать независимо или же продолжает оставаться атрибутом психики автора?

Проблема проявления особенностей личности автора в тексте и рассмотрения сочинения как зеркала его внутреннего состояния в психологии произведения искусства решается через выявление зависимости между доминирующими психическими состояниями художника и его характером, а также связанными с ними способностью и потребностью художника жить в вымышленных ролях и создаваемых им самим образах.

Вживание в различные образы, или, как говорил Гейне, «переселение душ» почти всегда переносится художником болезненно, и требуются немалые усилия воли для прерывания этого состояния. Случай Шумана, страдавшего маниакально-депрессивным психозом, открывает неустойчивый психический мир «сходящего с ума» или отрывающегося от земного бытия художника, душевное состояние которого до того делалось странно, что, как писал сам композитор, «ни одному человеку в мире не мог бы я рассказать его понятно».

Навязчивый диалог с миром теней, переполняющие сознание постоянно звучащие темы, диктуемые уже ушедшими друзьями Шубергом, Мендельсоном, раздвоение внутреннего Я и мучительные перепады, смены фаз бешеной активности и работоспособности и полной апатии и опустошения — вот некоторые признаки доминирующих жизненных состояний Шумана. Эти психические особенности композитора отражаются в его творчестве, превращая личностные черты в специфические черты стиля, композиторского почерка. Известен, к примеру, излюбленный прием Шумана — вести повествование от имени двух разнохарактерных героев — мечтательного, поэтичного Эвсебия и страстного, темпераментного Флорестана, именами которых он подписывает многие пьесы своих циклов. Музыкальные образы этих персонажей как будто передают протворечивый внутренний диалог самого композитора.

Вопрос о взаимовлиянии творческой и бытийной биографии художника в психологии произведения искусства остается открытым и подстегивает исследовательский интерес к изучению скрытых, но прочных форм сопряженности творческого дара и образа жизни художника, выявлению зависимости его творческой и бытийной активности. Возделывает или изобретает ли художник особые условия для творчества, насколько его безумный иррациональный порыв необходим для выверенного изощренным образом мастерства, совпадает или контрастирует его психическое поведение, характер, темперамент в жизни и творчестве, и, наконец, как влияет социальная установка эпохи на его жизненный и творческий путь?

Психологическое измерение произведения искусства напрямую связано с интерпретацией феномена самопознания художника и самодвижения искусства. Как известно, все на свете способно быть самим собою, лишь превосходя себя. Самопознание через самопревышение, а точнее, самовосхождение, определяющее потребность художника в творческом акте создания произведения искусства выходить за пределы самого себя, обнаруживает истинное лицо творца, раскрывая уникальный механизм самореализации личности: «когда это персональное, или ипостасное, начало приоткрывается в человеке, он чувствует себя самим собой так ярко и сильно, как никогда в обычном состоянии»¹. Укорененностью личности в сверхличном объясняется ее индивидуальный характер.

В художественном содержании произведения искусства запечатлевается вторая природа психического: субъектная — по происхождению, объектная — по формам и способам существования. Наиболее полно и адекватно категория «художественного» представлена в интерпретации стиливого пространства произведения искусства. Уточним данную мысль на примере музыкально-исполнительского искусства.

Исполнительский стиль, напоминая нам об исходном метафорическом значении термина «стиль», уместает в своей внутренней организации диалектическое взаимодействие объективных и субъективных смыслов, типичных и индивидуализированных решений. Диалектическая природа стиля подразумевает характерное и необходимое для эволюции исполнительского искусства взаимопроникновение противоположных начал, к примеру, — стихийного импульса в творческом интерпретаторском поиске и сознательного отбора адекватных исполнительских приемов, духовного движения к высотам композиторского замысла и безусловно точно выстроенного его материального технического воплощения.

Индивидуализированные характеристики стиля проявляются в процессе интерпретации сочинения, когда нахождение «живого центра» произведения затрагивает «глубинный нерв» психической организации исполнителя. В этой точке пересечения личностных и художественных потенциалов обнаруживается уникальная потребность исполнителя к воспроизведению, прежде всего, духовного слоя сочинения. Здесь-то и

вырисовывается автопортрет исполнителя, в котором за реально подчеркнутыми линиями и формами сочинения угадывается неповторимо самобытная индивидуальная составляющая его стиля.

Подобный ракурс исследуемой темы, а именно рассмотрение вопроса о наделении произведения искусства самостоятельным психологическим началом и, как следствие, существование отдельной области психологии творчества — психологии произведения искусства, на наш взгляд, по-своему подтверждает поставленный В. И. Батовым вопрос о самостоятельности и автономии «отчужденной в вербальном тексте сущности психического», обретающей собственную онтологию. Вместе с тем, природа и содержание этой отчужденной сущности может вызывать разночтения.

Описывая основные признаки механизма отлучения от Я автора «отчужденных отторжений», В. И. Батов отмечает целесообразность рассмотрения сущностей отчужденной психики во времени: «если психическое (шире — личностное) в создаваемых текстах являет собой пусть и неполную, но все же копию «Я» автора, то мы вправе ожидать, что обнаружим определенную динамику каких-то признаков в отторгнутой психологической ткани текстов, подобно тому, как это имеет место в реальной картине психической жизни человека». Гипотезу же эмпирического исследования автор формулирует следующим образом: «в то время как последовательность создаваемых текстов разворачивается во времени, а время есть фактор определенных трансформаций предмета (в данном случае это изменения в семантической и психологической ткани текстов), психологический механизм отчуждения (а далее — отлучения и отторжения) должен оставаться постоянным, неизменным, тождественным самому себе, аутентичным, так как его неизменно «запускает» одно и то же психологическое образование — личностное «Я» автора» (С. 14—15).

С феноменом «отчуждения» В. И. Батов связывает истоки происхождения понятия «самоотчуждения», которое, в отличие от его понимания Хайдеггером, предполагает все же сохранность в продуцируемом тексте «диалога с самим собой». Следуя канону герменевтической автономии, согласно которому текст обладает объективной самостоятельностью в отношении любого субъекта, включая автора и интерпретатора, В. И. Батов определяет начало процесса отчуждения уже в акте восприятия, хоть и предполагающего пока что лишь «отчуждение Я наблюдателя, но не Я творца, не Я созидателя того искусственного мира, который мы называем культурой. Здесь личностное как бы получает зеркальное отражение самого себя в наблюдаемом предмете, и как всякое зеркальное отражение оно (личностное) по своей природе является виртуальным, то есть исчезает, как только внимание переключается на другой предмет, с тем, чтобы возникнуть уже в новом облике и в другом явлении-предмете» (С. 50).

Следующий этап отчуждения обнаруживает пространство трансцендентальности образования «предмета» личностного смысла, актуализирующее мотив неудовлетворенности, возникающий в процессе речевого действия на границе передачи вербального дискурса во вне, когда Я теряет власть и свободу в создании «персонифицированного» продукта, разрушая тем самым целостность автора. В соответствии с «эффектом Зейгарник» и гипотезой автора исследования, следствием этого является незавершенность опредмеченного действия, что снова и снова, циклически, порождает мотив неудовлетворенности и стремление к возврату прерванной, неоконченной деятельности (С. 64).

Таким образом, в психологической картине личностного смысла присутствуют оттенки неудовлетворенности Я автора продуктом своего творчества, требующей постоянного обновления создаваемого продукта вследствие незавершенности деятельности вербализации Я автора и невозможности достижения поставленной в замысле цели. Это в свою очередь предопределяет с одной стороны вечную незавершенность произведения искусства, с другой же — указывает, по мнению В. И. Батова, на «маскировку» Я автора и ведет, в конечном счете, к «ущербности», деструкции предметного выражения исходного смысла.

Данную постановку вопроса в полной мере оправдывает искусно и неординарно выстроенная эмпирическая часть психологического исследования, в которой очерчена область взаимодействия индивидуальности человека и произведения искусства, художественной жизни человека и психической жизни искусства. Подчеркивая сложность и «уязвимость» применения эмпирического метода к исследованию литературного текста, а также «непроеденность» этой области психологии, следует отметить, что предложенный В. И. Батовым психогерменевтический метод удачно интегрирует достижения «классического» и «неклассического» подходов в современной психологии искусства. Преодолевая парадигму фрагментарности первой и идею связности второй, автор расставляет свои акценты в понимании словесного творчества и метаиндивидуального мира произведения искусства.

В результате качественного анализа эмпирического исследования В. И. Батова одержала победу гипотеза деструкции и оказалась побежденной сама культура, отождествленная с отчужденной психикой и, вслед за античной поговоркой, «ведущая к вырождению», только не в метафорическом, а в прямом смысле слова. Лаконичное заключение автора равносильно приговору: «отчужденное в тексте Я автора не есть ни «Я-чужой», ни «Я-другой», ни «не-Я», а есть искаженное недоработанностью в своей материализации подобие, тем не менее сохраняющее основные сущностные признаки Я автора» (С. 215).

Идея одновременного сосуществования различных, подчас прямо противоположных концепций понимания феномена «культура» (даже у одного автора), выражающая, вероятно, ее природную сущность, пробуждает потребность восстановления многосложных

смыслов и полифонической целостности в понимании рассматриваемых в настоящей статье культурных явлений. Именно этой идее подчинен завершающий штрих, адресующий нас к трактовке интерпретации как отчуждения от традиции в трудах Т. В. Адорно и их продолжении касательно интерпретации музыкального сочинения в работах Ю. Уде и Р. Виланд².

Сопровождаемая возрастающим отчуждением, выражающим опыт познания себя и путь постижения традиций и одновременного неистового желания их преодоления и бегства от самого себя, интерпретация направлена на понимание замысла сочинения как сохранения его высшего смысла: «ведь Бах писал музыку в честь Бога, Бетховен — от имени самостоятельной стихийности, от имени всего человечества» (по словам Ю. Уде). Таким образом, миссия интерпретатора заключается в спасении «живого» в произведении, а исследователя — в улавливании и математически выверенном измерении именно этого «живого», что позволит, возможно, в отчужденном «Я» выявить не только следы растерянной деструкции, но и духовной трансформации личностного «Я» в созидающем его движении культуры.

Р. С. Замыкая круг, хочется по-детски спросить: узнает ли себя в книге интерпретаций ее герой Глеб Арсеньев — Юрий Сорокин, покорный мудрости Тортиллы «...весь как взрыв ста миллионов тонн тротила коричневый обугленный как йод за годом год»?

¹ Мелик-Пашаев А. А. Мир художника. М.: Прогресс-Традиция, 2000. — С. 30—31.

² Uhde, J. Denken und Spielen: Studien zu einer Theorie der musikalischen Darstellung. — Kassel; Basel; London; New York: Bärenreiter, 1988.

Е. О. Козюра ПОЭТИКА ГРАММАТИКИ

Новое издание трудов Я. И. Гина* включает монографию «Поэтика грамматического рода» (первое издание которой, вышедшее небольшим тиражом в 1992 году, давно стало библиографической редкостью) и подборку статей, входивших в предыдущее собрание работ ученого «Проблемы поэтики грамматических категорий» (СПб., 1997). Книга снабжена также списком научных работ Я. И. Гина. Особый раздел книги, озаглавленный «Пока нас помнят, мы еще не ушли...», включает в себя воспоминания об ученом, написанные его друзьями и учениками.

* Гин Я. И. О поэтике грамматических категорий / Сост., предисл., подгот. текстов, коммент. С.М. Лойтер. — Петрозаводск: Изд-во ПетрГУ, 2006. — 287 с.

Перепечатка написанных два десятилетия назад работ рано ушедшего из жизни исследователя отнюдь не выглядит только данью памяти не успевшему реализовать себя во всей полноте научному таланту. «Бег времени» практически не затронул представленные в книге тексты, которые по-прежнему читаются с интересом благодаря основательности теоретической мысли, вызвавшей их к жизни.

Уже в открывающей книгу монографии, самом раннем из вошедших в книгу текстов (фактически, это кандидатская диссертация, защищенная Я. И. Гином в 1985 году) высказана ключевая идея ученого, затем получившая уточнение в посмертно напечатанной статье «О построении поэтики грамматических категорий»: поэтический язык подчиняется особым грамматическим нормам, отличным от общеязыковых. И нарушение / выполнение именно этих норм в большей степени позволяет выявить специфику индивидуального поэтического стиля того или иного автора. Поэтический текст существует на пересечении нескольких разно устроенных «грамматик», а взаимный «перевод» двух грамматик генерирует поэтический смысл, порождает особую, поэтическую, реальность.

Поэтическую грамматику Я. И. Гин определяет как *язык языка*, «т.е. некий код, на котором мы общаемся с нашим языком и при помощи которого понимаем язык» (С. 84). Лучше всего, с точки зрения исследователя, отношения двух грамматик определяет термин *диалог* (С. 74, 127—128). Соответствующие идеи М. М. Бахтина, а также развитая Ю. М. Лотманом концепция семиозиса как столкновения двух разноструктурных языков в трудах Я. И. Гина получают оригинальное лингвистическое преломление, а эффектные истолкования пола Месяца Месяцовича в сказке Ершова или имени *Агафон* в «Евгении Онегине» демонстрируют, как на разных уровнях текста (лексическом и грамматическом) реализуется диалог между *своим* и *чужим*.

Именно в силу своей диалогической природы поэтическая грамматика, «интерпретируя реальную (языковую и внеязыковую) действительность, формирует (внеязыковую) и воплощает (языковую) новую, поэтическую реальность» (С. 89). Сама оппозиция «язык / текст» в поэтическом дискурсе нейтрализуется. Вслед за А. А. Потебней Я. И. Гин особо отмечает семиотическую однородность знака и текста, их способность переходить друг в друга. К примеру, комментируя необычную родовую характеристику *филумелы* в стихотворении А. Вознесенского, исследователь реконструирует две лингвопоэтические традиции изображения соловья в поэзии, в «свернутом» виде представленные буквально в одной лексеме.

Внимательный анализ особенностей «грамматики поэзии» того или иного автора позволяет обнаружить, как грамматический уровень кодирует индивидуальную «мифологию» поэта. Так, в специальной статье, детально описав разнообразие варианты пере-

ключения лица в лирике Мандельштама, Я. И. Гин вскрывает весьма существенный фрагмент авторской «картины мира»: «Более глубокое, далекое во времени и пространстве намного ближе поэту — такова культурософия Мандельштама» (С. 207).

Поэтический текст в предложенной Я. И. Гином перспективе предстает исключительно динамичной структурой, он всегда не равен сам себе и отсылает исследователя сразу по нескольким «адресам». Для как можно более строгого и корректного осмысления такого феномена Я. И. Гин вводит понятие *лингвопоэтического факта*, всегда существующего на пересечении разных «рядов» (в терминах Ю. Н. Тынянова) и требующего аналитического инструментария сразу нескольких дисциплин. Именно такие не поддающиеся однозначной интерпретации факты становились предметом специального анализа исследователя.

Но *лингвопоэтический комментарий*, принципы которого обобщаются в специальной работе, далек от обычного толкования «темных мест» текста. Рассмотренные Я. И. Гином конкретные лингвопоэтические факты (помимо уже названных, необходимо также указать на не вошедший в сборник замечательный разбор финала плача Ярославны) — это свидетельства принципиальной многозначности поэтического текста, ускользающего от любой жесткой определенности. Поэтический текст — пространство свободы. Книга Я. И. Гина дает читателю возможность соприкоснуться с этим пространством.

О. В. Тихонова

НЕМЕЦКАЯ ЛИТЕРАТУРА И НЕМЕЦКОЕ СОЗНАНИЕ

Книга Альберта Викторовича Карельского* — ожидаемое и бесспорно важное событие для всех германистов, а также специалистов-филологов разного уровня и профиля. Это последнее издание, продолжившее серию «Метаморфозы Орфея. Беседы по истории западной литературы»¹, в которой вышли труды ученого по французской и австрийской литературам XIX—XX вв.

Третья книга, посвящённая немецкому литературному процессу, появилась стараниями его учеников, друзей и коллег, благодаря долгой и кропотливой работе по сохранению, упорядочиванию и расшифровке его наследия. Составителями выступили Ольга Борисовна Вайнштейн — ученица Альберта Викторовича, инициатор и

* *Карельский А. В.* Метаморфозы Орфея: Беседы по истории западных литератур. Вып.3: Немецкий Орфей / Сост. А. Б. Ботникова, О. Б. Вайнштейн. — М. РГГУ, 2007. — 608 с. (далее цитаты даны по этому изданию с указанием страниц).

организатор всей работы по публикации его работ, и Алла Борисовна Ботникова, долгие годы состоявшая в дружеской и творческой переписке и научных контактах с А. В. Карельским. Составителям удалось не только собрать впервые весь немецкий материал А. В. Карельского (исключая обширнейшую и серьёзную работу по драме немецкого романтизма — это отдельное издание), но и передать, на наш взгляд, самую *атмосферу* его научного поиска, проследить *сам процесс* рождающейся и оформляющейся мысли и — главное — представить самого *автора как личность*.

Названная цель отражается уже в *структуре* книги. Она состоит из текстов лекций по двум периодам немецкой литературной истории (средневековью, романтизму), из статей разного плана и разного времени, переводов (поэтических и драматического текстов). Кроме этого, издание включает статьи и воспоминания его коллег (А. Б. Ботниковой — «Предисловие», «Festina lente»; Э. В. Венгеровой — об истории издания книги «Немецкая романтическая комедия»; Л. И. Соболева «Одна общая книжка» — о подготовке тома европейской романтической поэмы) и письма к А. В. Ботниковой о концепции лекций по немецкому романтизму.

И здесь, как нам кажется, лекционный материал предоставляет особую возможность. Стремление составителей и редакторов сохранить стиль лекций Карельского (над которым он сам тщательно работал) позволяет читателю не только словно почувствовать себя в аудитории, но и сопереживать слову сказанному или написанному, проникаться теми эмоциями и мыслями, которые так образно и даже афористично представлены в текстах Карельского. Автору этих строк посчастливилось (последнее сказано без пафоса) в своё время присутствовать на некоторых из них, и я не могу не согласиться с точным выражением А. Б. Ботниковой, что «по сути дела, эти лекции — своеобразная поэзия литературоведческой мысли» (С. 14). Всегда поражалась точности, лаконичности и своеобразной красоте формулировок Альберта Викторовича, будь то лекции или статьи, или, тем более, поэтические переводы, в которых Карельский был просто неподражаем. Любой, владеющий немецким языком, восхитился бы умению Альберта Викторовича «найти верное слово» — адекватное, ёмкое, зримое. Стиль Карельского — лучший пример того, как за текстом (научным!) отчётливо возникает интереснейший и привлекательный для заинтересованного слушателя / читателя образ самого лектора / автора.

Несомненно, своеобразным ядром всей книги становится *проблема романтизма* в немецкой не литературе даже, но в немецкой культурной традиции в целом. Как верно отметила Элла Венгерова, «и сам он был романтик, и романтизм его интриговал необычайно» (С. 552), ведь романтизм был его «духовной родиной». Немецкая модель, рассмотренная Карельским во всех возможных аспектах, служила главным, но не единственным, а лишь отпав-

ным вариантом для построения концепции *феномена романтизма в целом*. Сам Альберт Викторович отстаивал неслучайно свою идею (и право тоже!) рассматривать романтизм как *мироощущение*, где есть «своя исходная точка» — «полная независимость личности от мира» (С. 107), своя «орбита романтического сознания», «его исходная зона» (С. 147), своя этика (с рядом вариантов — С. 102 — 103), особая модель истории и концепция личности. Именно *эволюцию* проблемы «личность и мир» А. В. Карельский понимал как главный элемент в романтическом сознании, где «начальный пункт <...> полная независимость личности от мира, свободы воли от необходимости», причём, «структурно это выражается, прежде всего, в максимальном удалении от реальности, чаще всего именно в возвышении...» (С. 102)

Необходимость и своевременность издания «Немецкого Орфея» очевидна. Именно сейчас мы уже совершенно ясно можем оценить, насколько новыми и непредвзятыми были оценки Альберта Викторовича самых разных литературных явлений. Насколько впереди многих он шёл, попытавшись без социологичности, без схематизма (что сейчас нам кажется естественным, а в советское время виделось иначе) подойти к вопросу о целостности и специфике романтического движения, о его соотношении с реалистической традицией. Мы видим, что многие современные комплексные исследования романтизма прямо «выходят» из концепции Карельского.

Особое внимание Альберт Викторович уделял проблеме вызревания реализма и его проявления в творчестве поздних романтиков. Таким образом, специально не затрагивая вопроса о другом типе художественного мышления классической поры (это он прекрасно делает в лекциях и статьях по французской литературе XIX века), он всё же выводит на него, отталкиваясь от романтического искусства.

Хотелось бы отметить особую чувствительность Альберта Викторовича к особенностям *немецкого национального сознания*, его способности «воспарять» над реальностью, но и погружаться в неё иронически и «заземленно», отражать её порой гротескно, но всегда трагически.

Принципиальная мысль о романтизме как о *движущемся*, эволюционирующем и вариативном явлении, в центре которого стоит всегда эпохальное, но и *индивидуальное* творческое сознание, развивалась во всех работах автора и анализировалась в контексте разных национальных литератур. О ком бы ни писал Альберт Викторович, ему всегда удавалось удивительным образом не только вычертить модель типологически-романтического, но и «схватить» уникальное, единичное, что составляет сущностное, отличное для каждого из немецких (и не только) романтиков.

В личности и героях Клейста (на наш взгляд, это одна из лучших статей в цикле Карельского, да и об этом неоднозначном ав-

торе вообще) он выделяет «максимализм притязаний», «напряжённое противоречие» в душе личности и вне неё. В гофмановском сознании и творчестве — не просто пресловутое «двоемирие», но «земное притяжение» его фантазии, особую «приговорённость к действительности», а затем и «разорванность» его романтической двойственности, ощущение собственной «зыбкости» самой романтической личностью. У Шамиссо — его «неприкаянность», «чуждость» немецкой реальности, «проклятие непохожести», ставшие залогом его индивидуальности и выразившиеся в его повести о Петере Шлемиле. В этом смысле мы согласны с А. Ботниковой, заметившей, что ему удаётся дать «образ мысли художника», пропущенной «через его личность и через его жизнь» (С. 14).

Разделы об отдельных авторах не остаются обособленными от всей (и главной) проблематики концепции А. В. Карельского, они продолжают одни и те же мысли, проблемы, логику рассуждений, которые переходят из статьи в статью, продолжая общую линию. Это стиль жанра лекции, где есть принцип преемственности. Но это и стиль Карельского вообще — он всегда мыслит частное в самых различных контекстах, но и как пример целого. При этом он проводит параллели, отталкивается от типологии предыдущего художественного мышления (просветительского, сентиментального, и т. д.), демонстрируя удивительную эрудицию и интеллектуальную культуру.

Широкое поле, на котором произрастала идеология и художественная целостность романтизма, представлялось Альберту Викторовичу как некое *единое духовное пространство*, рождённое, но не ограниченное классической буржуазной эпохой. Именно поэтому совершенно логично составители включили в это издание, продолжая основную линию концепции Карельского, его работы 90-х гг., посвященные проблеме «продолжения», присутствия и трансформации романтизма в рамках других исторических и культурных эпох.

Мы знаем А. В. Карельского как прекрасного переводчика произведений и исследователя творчества таких гигантов XX века, как Р. Музиль и Г. Брехт, Р. М. Рильке, Т. Манн и Г. фон Гофмансталь. Но важно и другое. Мысль о «широком неоромантизме», выводы о соперничестве «субъективного» и «объективного» принципов в искусстве XX века, присутствующие сегодня во всех последних исследованиях, принадлежат именно Альберту Викторовичу. Рассуждая о «распутье европейского духа», об «эстетической революции» на рубеже двух столетий — XIX и XX, он проводит параллель с «рубежом», породившем романтизм, и рассматривает этот феномен «границы» опять же как продукт исторического и эстетического *сознания*, эволюции и диалектики *духовной культуры в целом*, в результате которого и был выработан «современный стиль».

Думается, что документ, заключающий книгу «Немецкий Орфей» (текст лекции с символическим названием «Немецкоязычная литература начала XX века в общеевропейском духовном контексте»), мог бы служить тоже «границей», «переходом» к новой книге, в которой хотелось бы увидеть такой же разный, но уникальный материал наследия А. В. Карельского, обращённый уже к литературному процессу XX века.

¹ *Карельский А. В.* Метаморфозы Орфея: Беседы по истории западных литератур. Вып. 1: Французская литература XIX в. / Сост. О. Вайнштейн. — М.: РГГУ, 1998. — 279 с.; *Карельский А. В.* Метаморфозы Орфея : Беседы по истории западных литератур. Вып. 2. Хрупкая лира. Лекции и статьи по истории по австрийской литературе XX в. / Сост. Э. Венгерова. — М.: РГГУ, 1999. — 299 с.

Т. А. Мегирьянц ЖИВОЙ ГОЛОС С. БРОЙТМАНА

Монография Самсона Наумовича Бройтмана (1937—2005) «Поэтика книги Бориса Пастернака “Сестра моя — жизнь”»* увидела свет в 2007 году, после смерти автора. Эта фундаментальная работа заслуживает самого пристального внимания специалистов; ее чтение — труд и высокое удовольствие.

«Сестру мою — жизнь» С. Н. Бройтман называет «может быть, самой представительной» книгой зрелого Пастернака, поэтому несомненно, что ее истолкование имеет более широкое значение, чем простое описание одной книги стихов. Базовым положением исследования, сформулированным во Введении, для ученого служит бахтинская мысль о «событийности эстетического объекта, архитектоника которого определяется отношениями субъектов — автора, героя и слушателя-читателя» (С. 5). Структура этих отношений, по мнению С. Н. Бройтмана, считавшего себя учеником Михаила Михайловича Бахтина, с которым он лично общался и о котором оставил интересные воспоминания, является определяющей в выстраивании художественного мира поэта.

При анализе субъектной структуры пастернаковской лирики С. Н. Бройтман исходными полагает мнения И. И. Иоффе и Р. О. Якобсона, как и в случае с идеями М. М. Бахтина, выстраивая на их основе собственную концепцию. В ней просматриваются две линии: это «конкретная множественность психики»

* *Бройтман С. Н.* Поэтика книги Бориса Пастернака «Сестра моя — жизнь». — М.: Прогресс-Традиция, 2007. — 608 с.

(С. 5), о чем писал Иоффе, и мнение Р. Jakobсона, который одним из первых отметил «редукцию лирического субъекта у поэта, устранение которого обманно, а присутствие — метонимично и лишь вследствие того — неявно» (С. 7).

Не остаются вне внимания С. Н. Бройтмана и грамматические подходы к интерпретации субъектной сферы лирики Пастернака. Как и в случае с первой позицией, обозначив исходную точку зрения, С. Н. Бройтман выстраивает линию преемственности от Р. Jakobсона к Й. Ужаревичу. Она, несомненно, более близка и самому исследователю, о чем говорит детальный характер ее изложения. Природа лирического «я» Пастернака обнаруживает ряд важнейших структурообразующих признаков: неуничтожимость традиционного присутствия «я» в лирике; видимую объективность и объектность, которая оборачивается автобиографичностью и субъектностью. Цитируя Ужаревича, Бройтман сопоставляет структуру пастернаковского лирического героя со сходными явлениями в лирике Мандельштама, Маяковского, типом лирического высказывания в русской поэзии XIX—XX веков, когда субъект речи выступает и как «другой», видимый со стороны.

С. Н. Бройтман избегает прямых оценочных суждений, хотя может и обозначить свое несогласие с чужим мнением, например, спорит с Ужаревичем, трактующим экзистенциальный страх смерти в качестве стремления «окутаться» им как защитой и источником творческой энергии. Рассмотрение чужих точек зрения и соотнесение их со своей позицией изложено таким образом, что читатель оказывается включенным в своеобразный сюжет, захватывающий неожиданными поворотами. Так, представив внешне логичную и своеобразную точку зрения Ужаревича на структуру лирического героя Пастернака, Бройтман, по сути, далее опровергает основной тезис ученого. Но сделано это так, что инструментарий, предложенный Ужаревичем, остается в арсенале Бройтмана в качестве продуктивного пути изучения структуры лирического «я», а результаты опровергаются как некорректные для художественного мира Пастернака.

По тому же пути Бройтман идет, анализируя работы О'Коннер. Он ищет возможность вычленения рационального, по его мнению, зерна из действительно спорного в целом вывода исследовательницы, пробуя ее метод на иных смысловых и композиционных уровнях «Сестры...». И в пятой главе первой части своей монографии вернется к поставленному во Введении вопросу о единомножественной природе лирического «я» и образа героини, вновь обратившись к работам О'Коннер. Так происходит расширение и укрупнение анализируемого вопроса; детализируется предмет спора, к анализу привлекаются разные уровни художественного текста.

Выведение анализа субъектной структуры лирики Пастернака в плоскость онтологическую обусловило необходимость разговора о феноменологической составляющей эстетики поэта. Именно этот фило-

софский комментарий предлагается исследователем в качестве проверки жизнеспособности литературоведческих трактовок лирического «я» Пастернака. Ключевыми в этом отношении Бройтман полагает работы Л. Флейшмана, Н. Ф. Овчинникова, S. Dörzweiler и др.

Мысль о «конкретной множественности субъектов сознания» (С. 11), по Бройтману, опирается на учение В. С. Соловьева об универсуме как особого рода единомножественности субъектной цельности с подключением и европейской философской традиции (в духе Платона и Гуссерля). Комментируя отзыв М. Цветаевой на лирику Пастернака («Световой ливень»), Бройтман видит в нем подтверждение именно этой мысли.

Столь же «плотным» является текст раздела, посвященного структуре словесного образа Пастернака. Здесь в качестве исходной берется брюсовская характеристика равенства «на одной плоскости» всех составляющих элементов образной структуры «Сестры...». Далее, через суждения Тынянова и Иоффе о том же рядоположении и полифоническом эффекте «пересекающихся» образов, Бройтман приходит к мысли о синкретизме каждого из компонентов образного ряда в результате размыкания смыслового поля. Этот разговор продолжен обращением к работам Ю. М. Лотмана, который, по выражению Бройтмана, «на своем языке» говорит о синкретизме Пастернака и мифопоэтическом начале его лирики.

Другая линия в исследовании структуры словесного образа — разработка объяснения его метонимической природы (Р. Якобсон, Л. Гинзбург, А. Жолковский, Н. Фатеева, Л. Флейшман). В круге внимания Бройтмана находятся и гипотезы, и незавершенные направления исследования. Он видит свою задачу не столько в определении «слабых мест» чужих теоретических построений, сколько намечает путь решения задачи, определяет стратегию практической (второй) части книги «Поэтика стихотворений».

Говоря о фигурах речи Пастернака, Бройтман связывает их своеобразие с «чертами глубокой архаики», отмеченными исследователями, как в образном строе речи поэта, так и в его синтаксисе. И здесь же вычерчивается схема такого подхода через сопряжение мнений и критических высказываний поэта-современника О. Э. Мандельштама, литературоведов разных поколений — Ю. Н. Тынянова, И. И. Иоффе, Ю. И. Левина, Ю. М. Лотмана, И. П. Смирнова, психологов Л. С. Выготского и Ж. Пиаже. И это позволяет исследователю сместить вектор поисков с семиотики на поэтику, поскольку «семиотика, конечно, дает более обобщенный, чем поэтика, анализ искусства, но уровень достигаемой ею абстрактности превосходит внутреннюю меру отвлеченности самого искусства, а потому речь начинается идти не о нем, а о чем-то другом» (С. 21). Явление нерасчлененности и антилинейной логичности,

концептуально важное и структурообразующее, С. Н. Бройтман называет *неосинкретизмом*.

Исследователь стремится к поиску комплексных методов анализа *сущностных* основ поэтики «Сестры...», органичных природе «неосинкретичных стихов Пастернака». Его особое внимание заслуживает интерпретация пастернаковских стихов Е. Фарино, оставляющая «далеко позади все, что было написано на эту тему» (С. 24). Однако сам Фарино понимает язык исключительно как семиотический феномен, что приводит, по мнению С. Н. Бройтмана, к прямому возведению слова, мотива или текста к его мифологической семантике, к «онтологизации художественной реальности», свойственной символизму.

Связь лирики Пастернака с символизмом несомненна. Спорна лишь, на наш взгляд, мысль С. Н. Бройтмана о необратимой смене гносеологических интенций художественного образа Пастернака онтологическими («жизненно-мифологическими», «бытийными», «архетипическими»). Как мы полагаем, безусловность такого утверждения может быть отчасти скорректирована как мыслью самого Бройтмана о «неосинкретичных стихах» Пастернака, так и работами ряда ученых (упомянем и диссертацию О. В. Евдокимовой «Гносеологические образы в лирике Б.Л. Пастернака 1920-х годов (на материале книг “Сестра моя — жизнь” и “Темы и вариации”»)» (Воронеж, 2006)).

Итогом объемного Введения «Проблемы поэтики “Сестры моей — жизни”, посвященной методологии анализа лирики Пастернака, стало определение основания, «личностного ядра», как его называет С. Н. Бройтман, поэтики Пастернака — «субъектный и образный неосинкретизм, “соответствие” и рядоположение на одной плоскости разных начал» (С. 26).

Рассмотрение жанровых интенций «Сестры...» (часть первая монографии) начинается с обозначения дифирамбической (дионисийской) и библейской (Песнь Песней и псалмы Франциска Ассизского) традиций. Название книги стихов здесь находит объяснение и обнаруживает свой генезис в синкретичной ритуально-поэтической формуле библейской песни IV—III веков до н.э. и — глубже — в египетской и малоазийской ритуальной поэзии (в соположении и взаимосвязи образов *невеста — сестра — сад*). Выстраивая историческую вертикаль образа / топоса, Бройтман не забывает о горизонтали, которую обозначает «софийным» опытом символистов, в частности, А. Блока, А. Добролюбова и А. Белого. Философско-эстетические поиски начала XX века и мифопоэтическая традиция образуют поле напряжения, в котором формируется оригинальная поэтика Б. Пастернака в автобиографизме и «металирическом субжанре».

Завершая разговор о жанре «Сестры...», С. Н. Бройтман вновь возвращается к сформулированному им ранее положению о нео-

синкретизме: «полигенетичность» жанра книги Пастернака «обнаруживает тот же принцип художественной модальности и рядоположения разных начал в одной плоскости» (С. 35).

Часть работы, посвященная «заголовочному комплексу» («Заглавие, его источники и предыстория», «Подзаголовок», «Посвящение Лермонтову», «Эпиграфы», «Субъектная архитектоника и проблема целого “Сестры моей — жизни”») — скрупулезнейшее восстановление основных компонентов «космогонии по Пастернаку», где жизнь — фундирующая составляющая. С. Н. Бройтман анализирует ранние незавершенные прозаические наброски, в которых молодой Пастернак стремился художественно выразить природу акта творения в искусстве (см. с. 56 и далее). В таком подходе обнаруживается концептуальность формулы *сестра моя — жизнь*, итог размышлений поэта о природе творчества. В ранних опытах «по видимости более сложно, а на самом деле более очевидно и даже наивно реализуется отождествление жизни и женщины (сестры)» (С. 58). Бройтман видит развитие этого положения в набросках раннего доклада «Символизм и бессмертие», у позднего Пастернака («Доктор Живаго»), показывая неметафорический смысл образа *сестры-жизни*.

Следует сказать и о форме изложения вполне академической гипотезы. Интерпретация отношений *сестра — жизнь* (содержание формулы, взаимосвязи с лирическим «я», «у которого такая “сестра”») составляет у Бройтмана отдельный захватывающий сюжет. Автор так выстраивает цитирование, так комментирует, сопоставляет материалы, классифицирует их и описывает компоненты смысла, что научное исследование обретает собственную покоряющую читателя «интригу».

И все же отдельные положения работы С. Н. Бройтмана кажутся дискуссионными. Так, определенное сомнение вызывает формула «герой (лирический герой «Сестры моей — жизни». — Т. М.) — нечто среднее между Адамом и Христом» (С. 63). Пастернаку и его герою необходимо услышать, угадать, «прозреть» уже сотворенное жизнью для того, чтобы транслировать его, реализуя теургическую миссию лишь в акте эстетического пересотворения. Для Б. Пастернака первична *жизнь*. Она — данность, явленная в чуде бесконечно многообразной реальности, которая ждет, требует того, кто смог бы выразить ее в слове.

В качестве организующего начала книги стихов Бройтман видит эпиграфы, интенции, идущие от них к книге в целом, соположение смыслов мотивной ее структуры. Он подробно рассматривает и те, которые позже были сняты Пастернаком, указывая, что между собой они состоят в отношениях дополнительности, привлекает автограф 1917 года, сопоставляя его со сборником «Поверх барьеров» и делая вывод о соотношенности книг по принципу «куби-

ческого наложения и нецентрированности интенций» (С. 133). Анализирует С. Н. Бройтман и путь от автографа 1920 года к канонической редакции «Сестры моей — жизни».

Вторая часть исследования С. Н. Бройтмана «Поэтика стихотворений» анализирует книгу в линейной последовательности текстов, ее составляющих, — от «Памяти Демона» до «Конца», завершающего «Послесловье». Она объемна и подробна, и является зримым торжеством подхода, обоснованного в начальных главах. На них мы и сосредоточили наше внимание, полагая, что выработанный С. Н. Бройтманом способ прочтения текста во многом определяет конкретные результаты его работы. Монография ученого — целостное, завершенное высказывание, ценность которого не только в создании собственного метода анализа лирики одного из крупнейших поэтов XX века. Это — образец строгой поэзии исследования, живое послание нам.

В. В. Бойков

ПАМЯТИ Б. М. ГОФМАНА

22 октября 2007 г. в Париже скоропостижно скончался Борис Михайлович Гофман. Читателям «ФЗ» это имя знакомо по публикациям в вестнике писем И. А. Бунина к его отцу Михаилу Александровичу Гофману и письма И. С. Тургенева к дочери Полине, сделанным на основе материалов архива Б. М. Гофмана.

Большая часть жизни Бориса Михайловича прошла во Франции, с ней была связана его профессия литературного агента, ставшая жизненным призванием. Агентство Гофмана — одно из старейших во Франции — хорошо известно литературному и издательскому миру Парижа. Как все выдающиеся люди, он не укладывался только в профессию — мудрец, полиглот, человек, который мог создавать вокруг себя удивительно интересный мир подлинной культуры, доброжелательности и человеческой теплоты. Б. М. Гофман родился 25 августа 1946 г. в Париже. Окончил школу восточных языков при парижском университете Сорбонна. Происходил он из семьи русского эмигранта. Дед — Александр Менделеевич Гофман до первой мировой войны служил в петербургском отделении общества «Сименс-Шукарт», где двадцать пять лет был главным инженером (директором этого учреждения был небезызвестный большевик Л. Б. Красин). После революции А. М. Гофман — главный инженер электросекции Петроградского совета народного хозяйства. Отец — Михаил Александрович Гофман (1906—1971)

родился в Петербурге, где окончил 15-ю советскую единую трудовую школу — в момент его поступления называвшейся еще Тенишевским училищем. В справке «советской единой трудовой школы Тенишевского училища» [sic!] было сказано об ученике Гофмане, что «за весь период обучения проявил исключительно серьезный научный интерес, большую талантливость к предназначению работать в области научных предметов». Но в советской России он не нашел применения этим способностям и, не закончив Петроградского университета, в середине 1920-х эмигрировал. В Германии М. А. Гофман завершил юридическое образование, а в 1934 г. открыл в Париже литературное агентство. С 1948 г. Михаил Александрович представлял литературные интересы И. А. и В. Н. Буниных, а затем их наследников — Л. Ф. Зурова, О. А. Жировой, Ф. Р. Коляра и М. Э. Грин. Кстати говоря, в Париже М. А. Гофман жил, как и Иван Алексеевич, в XVI округе в пяти минутах ходьбы от дома на рю Оффенбах.

Агентство М. А. Гофмана вначале специализировалось на продвижении англоязычных авторов — Джона Стейнбека, Лоуренса Даррелла и Генри Миллера, передавшего ему эксклюзивные права на свои произведения. С упрочением деловой репутации и орбиту деятельности Гофмана попадали известные представители литератур Европы и Америки: Джон ле Карре, Морис Дрюон, Альберто Коссери, Франсуа Бизо, Анна Сомон и др.

После смерти отца в 1971 г. Борис вместе с братом Георгием возглавил агентство. Борис Михайлович приумножил список авторов, сотрудничавших с агентством, укрепил его деловую репутацию, и к настоящему времени оно стало одним из четырех основных французских литературных агентств. Издательница Жоэль Лосфельд после его смерти сказала: «Ему нравилось устраивать счастливые союзы издателей и авторов». Борис Гофман в совершенстве знал русский, немецкий, английский, французский, испанский, португальский, китайский, идиш, албанский и др. языки. Никто в точности не знал количества доступных ему языков, но эти незаурядные способности позволяли Гофману прекрасно ориентироваться в мировой литературе.

Особые отношения у Бориса Гофмана были с русской литературой. Он был близок с писателями Владимиром Максимовым и Андреем Синявским. Борис Михайлович ценил литературные имена, доставшиеся ему от отца: он представлял интересы наследников не только И. А. Бунина, но и Б. К. Зайцева и Е. И. Замятина — семьи Зайцевых-Соллогуб. По-русски он говорил прекрасно — об этом свидетельствую как очевидец — и считал русский язык родным.

И. А. Бунин, наверное, был самым значительным русским писателем в коллекции агентства Гофмана. Как профессиональный

литературный агент он говорил, что Буниным занимается не для денег — много денег на издании его книг не заработаешь, — а для души. Борис Михайлович добросовестно защищал интересы бунинских наследников по всему миру (кроме России): Русского архива Лидского университета в лице его заведующего Ричарда Дэвиса (эти права университет получил от дочери Милицы Грин) и Франсуа Режис Коляра — мужа покойной Ольги Жировой, любимицы семьи Буниных, которой Вера Николаевна завещала небольшую часть авторских прав.

Я познакомился с Б. М. Гофманом в мае 2003 г. в Париже. Его литературное агентство на бульваре Сен-Мишель, архив агентства, наконец, общение с Борисом Михайловичем произвели на меня ошеломляющее впечатление. Открытый человек, с большим чувством юмора, когда он начинал рассказывать об истории агентства, отце, Бунине это был какой-то поток интереснейших сведений, известных, наверное, только одному ему. Бескорыстный архивный богач, он с щедростью открыл передо мной бунинские папки, показал бумаги отца, связанные с изданием книг Бунина по всему миру, прижизненные издания писателя с его автографами. Сохранилась большая видеосъемка своеобразной экскурсии по агентству Гофману, и, конечно, со временем надо будет сделать на ее основе фильм. Он был доброжелателен к людям, у него была детская душа в самом лучшем смысле этого определения.

Борис Михайлович говорил о том, что на рубеже веков во Франции, Англии, Германии, США возник какой-то новый интерес к Бунину и началось издание его произведений в новых переводах. Говоря о географии бунинских изданий, Гофман сказал, что чаще всего в Европе Бунина издают в Чехии, стране-поклоннице И. А. Бунина.

В откликах парижской печати на смерть Б. М. Гофмана писатели и издатели отмечают его благородство и готовность прийти на помощь. Французская издательница Лиана Леви: «Нас оставил самый благородный литературный агент на свете». Газета «Монд» пишет о нем как об исключительной личности: «В издательском сообществе редко бывает, что к какому-либо человеку все хорошо относятся. Борис Гофман принадлежал к такому типу людей... Борис Гофман был образцом агента, работающего по старинке. Его больше интересовало творчество писателей, чем сумма процентов, позволяющая ему кормиться. Он обладал безупречным литературным вкусом» (*Le Monde*, 04. 11. 2007).

Смерть Б. М. Гофмана — большая потеря для русской культуры. Он был одним из верных и преданных ее друзей на Западе. Борис Михайлович Гофман был именно деятелем русской культуры, потому что своим незаметным трудом делал очень много для распространения русской книги, а значит и русской культуры по всему миру. Таких людей очень мало, и тем больше эта утрата.

О. Ю. Алейников

АЛЕКСАНДР СОЛЖЕНИЦЫН. IN MEMORIAM

Смерть А. И. Солженицына не подвела черты под спорами о «неудобном», а для новых поколений, к сожалению, «даже не всегда прочитанном» писателе.

Жизнь и творчество этого выдающегося прозаика, публициста, общественного деятеля, объединившего в своей судьбе иллюзии, прозрения и соблазны минувшего XX века, участники литературно-критических дискуссий в последние дни склонны рассматривать как некое национальное социокультурное предание.

Один полюс мнений: в последнее время Солженицын был трагически одинок. Долгое пребывание в парадигме «советское — антисоветское» сделало из непримиримого борца с коммунизмом пленника оставшейся в прошлом идеологической борьбы. Многие годы безвозвратно потрачены на многотомную «авторитарную публицистику», реанимацию теократических взглядов, на создание историософской и языковой «ретроутопий», не нашедших у современников ответного адекватного понимания.

С 1960—1970-х годов взгляды писателя на искусство, отечественную историю, действительно, мало менялись. В публицистике, драматургии, стихах и прозе, последовательно дистанцируясь от «советского образа жизни», Солженицын отчасти идеализировал черты «подлинной» России, по его мнению, почти стертой с лица земли. Но предложенная им программа возрождения русского литературного языка, достаточно продуктивно реализованная в собственной художественной практике, а затем систематизированная в «Русском словаре языкового расширения», как и «Красное колесо», роман, написанный в жанре модернизированного жанра эпopeи, едва ли дают основания зачислять писателя в убежденные сторонники эстетической архаики. С «возвратом дыхания и сознания» прозаик не раз переступал через общепризнанные каноны «письма» — во времена узаконенной нормативной эстетики он возрождал в структуре повествования демократическую точку зрения, открывая тем самым новый уровень жизненной правды. Не потому ли повесть «Один день Ивана Денисовича» и рассказ «Матренин двор» воспринимались многими участниками литературного процесса как определенный художественный рубеж, после которого «писать, как прежде, нельзя»?

Вопреки литературным «правилам» и цензурным запретам написан «Архипелаг ГУЛАГ», представляющий собой инвективу против человеконенавистнического режима, построенную по аналогии с воображаемым судебным процессом: от имени погибших и выживших узников ведется следствие, приводятся документы, факты многочисленных преступлений, выступают свидетели, звучат обвине-

ния... Надо ли напоминать о значении, особом месте в мировой истории, мощнейшей силе воздействия этой книги? Переведенная на европейские языки, она радикально изменила отношение западных интеллектуалов к левой фразеологии и, в конечном счете, оказала исключительное влияние на судьбу коммунистических идей в странах, где насильственные методы борьбы за власть, как и «теория» диктатуры пролетариата, когда-то не воспринимались как недопустимые.

В СССР, зарубежном изгнании, а затем и в России Солженицын шел против предсказуемого течения политической жизни, не сторонясь резких шагов и заявлений. Вспомним императив «Жить не по лжи!», обращенный к соотечественникам, пасовавшим перед всемогущим государственным аппаратом. Или призыв к «оробелому цивилизованному миру» не верить миролюбивым заверениям коммунистического Кремля. Или критику западного «бездуховного» образа жизни, в том числе средств массовой информации, за «отвратный напор реклам, одурение телевидением». Не забыта и вызвавшая когда-то мощный резонанс речь Солженицына в Государственной Думе с осуждением всемогущего олигархического капитала, и демонстративный отказ принять орден св. Андрея Первозванного из рук Б. Н. Ельцина. Эти события вошли в сюжет жизни «трагически одинокого» человека, целого поколения или, может быть, общества?

Впрочем, есть и другой полюс мнений: в последние годы Солженицын сильно изменился. Когда-то совершив переворот в существовавших представлениях о роли писателя в СССР и современном мире, одержав нравственную победу в борьбе с казавшимся несокрушимым тоталитарным режимом, но в этом качестве триумфатора отступил от идеалов «диссидентского движения и своего же прошлого». Резкую критику, в частности, вызвало его согласие на Государственную премию в последний год президентства В. Путина.

Исходя из подобной «логики» и пропагандистских задач, после смерти писателя громче других о необходимости использовать наследие А. И. Солженицына заявляли руководители партии «Единая Россия», в том числе приписывая ему удобные взгляды: «Мы консервативная партия в том понимании, в котором был Александр Исаевич»; «Александр Исаевич мог бы стать одним из тех идеологов российского развития, на которое могла бы сориентироваться партия «Единая Россия», «он не был борцом с коммунизмом, скорее, предлагал ценности, по которым могло бы жить современное общество» и т.п.

Между тем Солженицын был убежденным и последовательным критиком «партийных идеологий», подавляющих суверенитет личности. В одном из последних интервью он подтвердил, что не видит «органичности в политических партиях: связь по политическим

убеждениям может быть и не стойка, а часто и не бескорыстна». Духовно значимым ориентиром, спасительным для национальной и мировой истории, Солженицын считал способность каждого человека не поддаваться гипнозу внедренных в общественное сознание «идей» и «мнений».

Путеводная звезда писателя светила тем ярче, а результаты выступлений были тем весомее, чем меньше на его решения и поступки влияла «среда»: литературное окружение, «единомышленники», профессиональные или политические объединения. Сознвая это, он добровольно избрал путь затворника, в обретенном одиночестве изучая «горький российский опыт», описанием и осмыслением которого Солженицын пытался «предупредить нас от новых губительных срывов» (Из выступления на церемонии вручения Государственной премии).

Об этом нельзя не вспомнить, отдавая должное человеку, в середине прошлого века начавшего возвращать русской литературе чувство «суверенного достоинства» и веры в будущую Россию...

В дни прощания с писателем исторические аналогии возникали по разному поводу. Солженицын не позволил манипулировать своим именем и после смерти: почетный караул, ружейный салют — воинские почести, отданные ему как ветерану Великой Отечественной войны, не сопровождались гимном Александра. Вместо нелюбимой писателем музыки оркестр играл мелодию Бортнянского «Коль славен наш Господь в Сионе», когда-то считавшуюся неофициальным гимном Российской империи. Писателя похоронили рядом с могилой историка Василия Ключевского, за алтарем храма Иоанна Лествичника, автора руководства для вставших на путь духовного совершенствования. Могила Александра Солженицына находится рядом с кладбищенской стеной, на которой укреплены уцелевшие после взрыва Храма Христа Спасителя барельефы на сюжеты русской истории.

В этом многие увидели символику... А мне вспомнился Александр Исаевич на встрече в 1994 году. Сдержанный, в полувоенном кителе, с сумкой, напоминающей офицерскую планшетку, он приехал в Россию не умирать, а работать. Жаль, что отпущено ему было для этого всего четырнадцать лет...

Наши авторы

Алейников Олег Юрьевич — доцент Воронежского гос. университета
Алдонина Надежда Борисовна — доцент Самарского гос. педагогического университета

Бойков Владимир Васильевич — директор выставочного центра «Русская усадьба» (Воронеж)

Вайнштейн Ольга Борисовна — ведущий научный сотрудник Института высших гуманитарных исследований Российского гос. гуманитарного университета (Москва)

Вахтель Лариса Викторовна — старший научный сотрудник Воронежского гос. педагогического университета

Веллас Георгис — доктор исторических наук (Афины, Греция)

Вельмезова Екатерина — преподаватель Лозаннского университета (Швейцария)

Геллер Леонид — профессор Лозаннского университета (Швейцария)

Граф Марион — переводчик (Шафгаузен, Швейцария)

Зенкин Сергей Николаевич — ведущий научный сотрудник Института высших гуманитарных исследований Российского гос. гуманитарного университета (Москва)

Иваньшина Елена Александровна — старший научный сотрудник Воронежского гос. педагогического университета

Карасева Татьяна Владимировна — доцент Воронежского гос. университета

Козюра Евгений Олегович — преподаватель Воронежского гос. университета

Кончакова Екатерина Викторовна — аспирант Воронежского гос. университета

Крюков Александр Самуилович — профессор Воронежского гос. педагогического университета

Левин Стив — кандидат филологических наук (Маале-Адумим, Израиль)

Мегирыяц Татьяна Анатольевна — доцент Воронежского экономико-правового института

Мельник Владимир Иванович — профессор Гос. академии славянской культуры (Москва)

Митракова Нина Матвеевна — сотрудник Воронежской гос. медицинской академии

Пономарев Евгений Рудольфович — доцент Санкт-Петербургского гос. университета культуры и искусств

Рафаева Анна Валерьевна — научный сотрудник Научно-исследовательского вычислительного центра Московского гос. университета

Савинков Сергей Владимирович — профессор Воронежского гос. педагогического университета

Слинько Марина Анатольевна — доцент Воронежского гос. педагогического университета

Тимофеева Вера Геннадьевна — преподаватель Лицея № 8 (Воронеж)

Тихонова Ольга Владимировна — преподаватель Воронежского гос. университета

Фаустов Андрей Анатольевич — профессор Воронежского гос. университета

Чапига Зофья — профессор Жешувского университета (Польша)

Черашняя Дора Израилевна — доцент Удмуртского гос. университета

Научное издание
ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ ЗАПИСКИ
Вестник литературоведения и языкознания
Выпуск 27

Электронная верстка *О. В. Нагаевой*
Корректор *Г. И. Старухина*

ЛР 070669 от 15.12.97. Подп. в печ. 26.10.2008
Форм. бум 84×108/32. Бумага офсетная. Офсетная печать
Усл. п. л. 15,9. Уч.-изд. л. 17,4. Тираж 500. Заказ 2143

Воронежский государственный университет
394000 Воронеж, Университетская пл., 1.
Отпечатано с готовых диапозитивов в ИПЦ ВГУ
394000 Воронеж, Пушкинская, 3